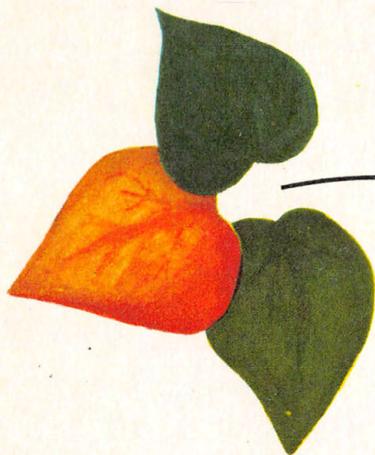


АЛЬМАНАХ ПОЭЗИЯ

51·1988



В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Поэзия. Т. Кузовлева, Я. Козловский, М. Анчаров, Н. Панченко, С. Кузнецова, М. Квливидзе, Л. Лавлинский, Н. Новиков, Е. Рейн, И. Лысов, А. Цветаева, А. Авакян, А. Арутюнян, О. Григорян, А. Парсамян, И. Мамян, А. Шекоян.

Публикации. Л. Мартынов, Н. Анциферов, А. Передеев, Ф. Сологуб, А. Ахматова, В. Нарбут, М. Волошин, Е. Венский.

Зарубежная поэзия. С. Малларме, Хулио Кортасар, итальянские эпиграммы, французские народные песни.

Юмор. А. Иванов, Ф. Ефимов, О. Дмитриев, П. Хмара, Н. Карпов, В. Прудовский, В. Завадский, А. Мурай, В. Туровский и др.

51

АЛЬМАНАХ
ПОЭЗИЯ

1988

ББК 84(0)6
П 67

РЕДАКТОР Николай СТАРШИНОВ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Зайцев Г. В., Куняев С. Ю., Олейник Б. И., Осетров Е. И., Старшинов Н. К., Фокина О. А.

П $\frac{4701000000-279}{078(02)-88}$ 202-88

© ИПО
«Молодая
гвардия»,
1988 г.

АЛЬМАНАХ
ПОЭЗИЯ
51·1988



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1988

СОДЕРЖАНИЕ

ВСЕГДА В ПУТИ

Татьяна Кузовлева	6
Герман Абрамов	8
Яков Козловский	9
Михаил Анчаров	12
Евгения Кунина	16
Николай Панченко	18
Светлана Кузнецова	22
Михаил Квливидзе	24
Леонард Лавлинский	27
Николай Новиков	29
Евгений Рейн	32
Иван Лысцов	35
Сергей Мушник	37
Виктор Косенков	38
Вера Погреб	40
Николай Година	42
Наталья Рябинина	44
Татьяна Батурина	46
Виктор Гаврилин	50

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Галина Сухова-Мартынова. Из воспоминаний о Леониде Мартынове	53
Леонид Мартынов	56

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Надежда Кондакова. В поисках автопортрета	59
Юрий Казарин	62
Нина Грачева	65
Владимир Морозов	67
Наталья Сидорова	70
Александр Леонтьев	72
Ольга Денисова	73
Сергей Чупаленков	75
Владимир Меньшиков	77
Галина Нерпина	80
Георгий Чхеидзе	82
Ольга Соколова	84
Ольга Куксинская	86
Николай Рендаков	87
Наталья Серегина	88
Татьяна Вольтская	90
Елена Колесникова	92
Ирина Беляева	93

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Валентин Кузнецов. Поэт в «Шахтерке»	95
Николай Анциферов	96

Сергей Агальцов. Стихи, адресованные душе	99
Анатолий Передреев	103

МАСТЕРСКАЯ

Анастасия Цветаева. О моих стихах...	106
Светлана Сырнева	108
Анатолий Жигулин. О стихотворениях Петра Катина	112
Петр Катин	112
Виталий Камышев. «Я такой же, как в детстве...»	115
Роман Хе	116

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Юрий Паркаев	118
Федор Сологуб	119
Григорий Нехорошев	120
Анна Ахматова	130
Владимир Нарбут	130

ВСЕГДА В ПУТИ

Юрий Каминский	135
Светлана Вишневская	138
Сергей Крыжановский	140
Нобаткули Реджепов	142
Татьяна Олейникова	145
Михаил Кралин	146
Татьяна Ровицкая	148
Александр Медведев	150
Анатолий Тепляшин	152
Александр Сенкевич	155
Сергей Каратов	158
Зинаида Палванова	160
Александр Гусев	161
Аркадий Тюрин	163
Анна Гедымин	165
Рифат Гумеров	167
Александр Жуков	168
Евгений Юшин	169

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Анатолий Марков. «...Мой дом раскрыт навстречу всех дорог»	171
Максимилиан Волошин	172
Анатолий Иванов. Веселый писарь земли русской	179
Евгений Венский	187

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

Виталий Зверев. «Примите все: мечты мои и слезы!»	192
Владимир Бенедиктов	205

У НАС В ГОСТЯХ

Поэты Армении

Петрос Демирчян. Быть или не быть новой армянской поэзии	209
Аревшат Авакян	218
Артем Арутюнян	221
Ованес Григорян	224
Анаит Парсамян	226
Игнат Мамян	229
Армен Шекоян	232

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Роман Дубровкин. От переводчика	236
Стефан Малларме	238
Виктор Андреев. Хулио Кортасар: «...Во имя поэзии, звучащей на улицах и в мироздании»	241
Хулио Кортасар	244

Владимир Васильев. Большая орбита маленького Пасквино	250
Итальянские эпиграммы	254
Из французских народных песен	259

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС...

Олег Дмитриев	262
Павел Хмара	264
Николай Карпов	264
Владимир Костров	265
Владимир Карпеко	266
Александр Бобров	267
Вадим Бомас	268
Николай Дмитриев	269
Геннадий Касмынин	270
Владимир Трепетцов	271
Борис Бобылев	271
Борис Замятин	272
Александр Иванов	274
Виктор Завадский	276
Феликс Ефимов	279
Андрей Мурай	281
Владлен Туровский	281
Александр Шаталов	281
Владимир Соловьев	282
Александр Егоров	283
Ефим Самоварщиков	283

ВСЕГДА В ПУТИ



Родилась в Москве. Училась в Московском государственном педагогическом институте имени В. И. Ленина на историческом факультете. Окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. Автор поэтических сборников «Волга», «Россия, береза, роса», «Две зари», «Тень яблони», «Веретено», «Избранное», «Час жаворонка», «Возраст женщины» и других.

ЦЕПЬ

Камешек в небо подбросит рука —
Канет он в сини ненайденно.
Дрогнут кругами
Крутые века —
Выйдут ко мне мои прадеды.

Встанут —
Белее заснеженных зим,
Сдвинуты плечи их грузные.
Среди поляков, татар и грузин —
Русские.

Связаны мною —
Их не разомкнуть,
Хоть за своими печальями
Я забывала порой, что мой путь
Выверен теми же далями.

Я забывала,
Что дней моих нить
Из тридесятого катится.
Мне —
За чужие ошибки платить.
А за мои —
Кто расплатится?

Долго спала,
Суетою жила,
Звезд за домами не видела.
Недодала
Самым близким тепла,
Дальних — неверьем обидела.

Жизнь моя —
Нечет она или чет?
То, что прошло, — не напрасно
ведь.

Если чужие победы —
Не в счет,
Кто же мои будет праздновать?
Мне не укрыться — люби,
не люби! —

Под невидимкою шапкою.
Быть мне назначено
В этой цепи
Правнучкою и прабабкою.

МАЛЬЧИК СВИСТИТ ВО ДВОРЕ

День растворен в янтаре.
Воздух подвижен и чист.
Мальчик свистит во дворе.
Льется серебряный свист.

Льется волна за волной,
Словно пульсирует свет,
Словно дрожащей струной
Мир ненароком задет.

Эта гармония дня
Так безыскусно проста,
Как на руке у меня
Тень кружевного листа.

Солнечной этой игре
Нет и не будет конца.
Мальчик свистит во дворе.
С липы слетает пыльца.

Как беззащитно раним
Весь этот солнечный день:
Мальчик — и небо над ним,
И на земле светотень.

Как беззащитно живуч
День этот —
К темной коре
Тянется солнечный луч.
Мальчик свистит во дворе.

ИЛЬИН ДЕНЬ

Всем приметам надо сбыться
к сроку.

Только в этот непонятный год
Почему-то на Илью-пророка
Слишком тих и ясен небосвод.

Я не знаю, что могло случиться,
Что тебя отвадило, Илья,
По небу греметь на колеснице,
Чтобы содрогалась вся земля,

Чтобы небо стало цвета стали —
Синей стали лучшего клейма,
Чтобы ливни белые хлестали,
Торопя веселые грома.

Чтоб твердили юному народу
Старожилы наших деревень:
— Грех купаться, потому что воду
На Илью переходил олень!

...Где вы, среднерусские олени,
Портящие реки на Илью?
Вот и днесь ни облака, ни тени
Землю не встревожили мою.

Только шепчут старики упреки,
Не дождавшись грома от Ильи:
— Что ж вы, стародавние пророки,
Бросили пророчества свои?

Или стали ныне вы спесивы —
Не в пример тому, как были встарь,
Или это
Ядерные взрывы
Спутали небесный календарь...

БАБКА

Рожала,
Охала по-бабьи,
Растила, подправляла дом,
И пальцы, гнутые по-крабьи,
С годами слушались с трудом.

И то:
Земля в них въелась прочно,
Они, считай, срослись с землей
И сами стали жесткой почвой,
Холодной — в стужу,
Теплой — в зной.

Срослись с морковью и картошкой,
С корнями яблонь, груш и слив,
С подсолнухом,
На толстой ножке
Стоящим, голову склонив.

Шли годы,
Как за грядкой грядка,
Печной присыпаны золой.
Так — до девятого десятка —
Жила, согнувшись над землей.

И в выходные вывозила,
Передник чистый повязав,
В коляске детской к магазину
Пучки редиса, лука, трав.

Стояла, не присев ни разу,
На самом солнышке, до двух,
В ряду таких же востроглазых,
Смешливых жилистых старух.

Потом походкою утиной
Довольная брела домой.
Когда же срок пришел уйти ей,
Ушла морозною зимой.

Ее отпели, помянули,
Беря щепотками кутью.
Потом чуланы отомкнули,
Прошлись ногами по тряпью.

Оно лежало ветхо, бедно...
И, бабу в хитрости вина,
Три дня в избе искала тщетно
Сберкнижки
Близкая родня.

ГЕРМАН АБРАМОВ

Родился в 1906 году. Автор поэтических книг «Высокая вода», «Наветренная сторона», «Листья, волны, облака...», переводов с языков народов СССР.

* * *

Хоть небо по-зимнему сизо,
Но изнемогает мороз,—
И падает влага с карниза
Каплями радостных слез.
Хоть зимняя стынет хвороба,
Хоть снегом вокруг замело,—
Столкнулись морозная злоба
И первый намек на тепло:
Не только в значенье погодном,
Но сыздавна сущностью всей,—
Так праведно, так первородно
Свободней душе и теплей.

* * *

Ручей журчит и не смолкает,
И так прозрачна глубина,
Что каждый камушек сверкает:
Сияющая светлина!
Ручей журчит и смотрит в небо
И шлет голубизне привет:
Такая у него потреба,
Наверное, миллионы лет...
Ручей журчит, ручей струится:
Вода его для всех — ничья,—
И стоит людям излечиться
От равнодушья у ручья.

* * *

Совесть — единственный
Хозяин поступков,
а кумиров не надо...

В. Г. Короленко

Перед кумиром гнутся шеи,
А руки вкрадчиво простерты.
Кликушествуют книгочеи —
Начетчики теорий мертвых.
Они «решают» все задачи,
Все предрешают наперед,

А жизнь?

У жизни все иначе.

Нередко — все наоборот.
Что толку нам от их дидактик,
А если вывод — напрямик
Скажу,
Что жизнь — великий практик:
Ей незачем чесать язык!

* * *

Освобожденный от тщеславья
пытков,
Незнаменитостью ты знаменит.
А то бы ты давненько был забыт:
Ведь знаменитостей такой
переизбыток!

* * *

Ты награждения не жди:
И не для злата и кумира
Играет музыка в груди —
И вместе с ней играет Лира.
С ней можно все перетерпеть:
В ней слышен отголосок мира.
Поэту легче умереть,
Когда не умирает Лира!

* * *

Обхожу углы укромные:
Весь, как есть,

я на виду,

Хоть я занял

место скромное

В поэтическом ряду —
И не гаснет пламя юное
В стариковской седине:
И призвание певунное
Все еще живет во мне!

ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ

Родился в 1921 году в Московской области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Участник Великой Отечественной войны.

Автор 25 книг, в том числе «Арена», «Вереск», «Вольница», «Избранное».

НА МИЛОСТЬ ДНЯ

На злобу дня

я, не скрывая злобы,
Стихи в окопе, помню, написал,
Не золотой, железной были пробы
Их строки, словно сам я — арсенал.

Да что стихи?

В ином смертельном деле
Моя определилась цена.

Как суждено,

ношу на грешном теле
С тех пор твои автографы, война.

Смог заплатить тебе с лихвою дань я
За то, чтоб право было у меня
В пылу любви,

тревог и упования
Писать стихи, но лишь на милость дня.

ЭЛЕГИЯ

Века сын и внук и правнук,
У годов в плену,
Я клянусь лишь только правду
Говорить одну.

Нет грозней с начала света
Мненья одного:
Лжесвидетельство поэта —
Это смерть его.

Среди праздников и буден
И честных людей
Каждый должен быть подсуден
Совести своей.

На горе и под горою,
Посреди ночей

Муки совести порою
Хуже палачей.

И клянусь, немало прока
В том, когда ты, брат,
Судишь сам себя жестоко,
Если виноват.

Ты суда других, пожалуй,
Избежишь,

когда
Был всегда, как честный малый,
Подданным стыда.

Нелегко дорогой длинной,
В скорбе и мольбе,
Человек идет с повинной
К самому себе.

* * *

Пели дяк с пономарем
Над рекой в подножье ивы:
«Живы будем — не помрем,
А помрем — не будем живы.

Слава яблочному древу
И тебе, заманщик змей.
Выгнал бог из рая Еву
И Адама вместе с ней.

А когда бы Еве юной
Был несладок уговор,
Оказался бы подлунный
Мир
 безлюдным до сих пор.

Заселяли бы химеры
Возлерайские места,
И не стало б новой эры,
Ибо не было б Христа».

МИХАИЛ АНЧАРОВ

Известный прозаик, драматург, автор многочисленных песен для театра и кино. Родился в 1923 году в Москве. Окончил Военный институт иностранных языков и Московский государственный художественный институт имени В. Сурикова. Участник Великой Отечественной войны. Наиболее известные книги «Теория невероятности», «Золотой дождь», «Этот синий апрель» и другие.

* * *

Говорят, что птицы — динозавры,
Ну а мы — потомки этих стай.
Остальные все исчезли.
То ли ад сгубил их, то ли рай.

В тех краях, где медно солнце
светит
Среди райских кущей и долин,
Жил небезызвестный теоретик,
С жиру окосевший гражданин.

Он считал, чтоб люди уважали,
Надо что-то выдумать свое.
И, чтоб процветали урожаи,
Надо уничтожить воробьев.

Добровольцы с медными тазами
Грохотали полтора часа.
И с недоуменными глазами
Птицы умирали в небесах.

Птичий плач — беспомощный и
тонкий,
Словно крик детей: «Вы что?
Вы что?»
Черные от ужаса глазенки.
В них один вопрос: «За что?
За что?»

От нездешней мертвенной печали,
Будто в этой жизни — чужаки...
Все метались стаи и кричали,
А потом попадали в мешки...

Их тогда мешками убирали,
Мертвых, полудохлых — всех
подряд.

Жгли в кострах и землю удобряли,
Пух и перья хорошо горят.

Трижды полчаса прошло на свете,
Словно перерывы на обед.
Отвопили взрослые и дети.
Ну а толку что? А толку нет.

Поустали люди, поустали,
Потеряли трупам вес и счет.
Медные тазы отгрохотали.
Ну а рис, однако, не растет.

Но на сэкономленные зерна
Был построен медный институт.
Медные цветы трубят, как горны.
Только почему-то не цветут.

Не цветут цветные паразиты!
И хоть угрожай, не угрожай,
Воробьи все честно перебиты,
Не растет проклятый урожай.

Спал народ с открытыми глазами,
Всхлипнут дети и уснут, скорбя.
Маленьких пушистых динозавров
Потеряли дети. И себя.

Ночь прошла. Печаль отголосила.
Дети не тазы — они растут.
Выросли, почувствовали силу
И пошли корезить институт.

Все со всем сравнивали. Утопали
Танками могилу Бо-Цзюй-и
Все чужие прочь поулетали,
А погибли верные, свои.

Не спасут ни кущи, ни аллеи,
Ни зола, ни золото в золе,
Никакое солнце не согреет,
Если стынет сердце на земле.

Не спасут ни ЭВМ, ни атом,
Ни дисплеи, ни ракет полет,
Хочешь жрать? — Не обижай
пернатых,
Без пернатых поле не живет.

Не спасут расчеты и трактаты...
У земли на все один ответ:
— Хочешь жить? — Не обижай
пернатых.
Без пернатых небо — пустоцвет.

Не спасут ни слуги, ни казармы,
Ни уран, ни чтоб уран затих,
Говорят: поэты — динозавры.
Что ж, тогда попробуйте без них...

...Лучше уж не пробуйте без них.

* * *

...Пришла однажды парочка в кино,
Где на войне кровавились народы.
Уютно было в зале и темно,
И парочка взялась за бутерброды.

В кино все проще выглядит война.
Она теперь уж не беда, а блюдо.
Трагедия планеты не видна,
В ряду конфетой чавкает ублюдо.

Ну а зачем вообще в кино война?
Чужой пожар. Немного
жутковато...

Уходят вдаль лихие времена,
И хроника поет про элеватор.

Как воевать — известно испокон.
Как жить в миру — не найдено
пока что.

Века твердили, что война — закон,
А человек случайная букашка.

Но жив душою малый человек
И на потеху Каину и стерве

Не хочет он встречать счастливый
век
Попевочкой про тот, про сорок
первый.

Все говорят, что молодость права.
У ней права — мечтанья и ученья.
Но на экране выжжена трава,
А в зале запах рыбы и печенья.

А скрипочка играет и поет,
И не сдаётся маленькая серна,
И банджо все лопочет о своем
И тарактит, как банка от консервов.

И музыканты выстроились в ряд
И, подчиняясь ритму и гобою,
Следят за тем, как, оттопырив зад,
Певича впилась в микрофон губою.

И дудки истерически блестят,
Органы воют, хрюкают, клокочут.
И слабость разливается в костях,
И скотский запах уходить не хочет.

Война и пляс. Заселена земля.
Еда, навоз, закон круговращения.
Навозом утучняются поля.
И вновь — еда. И так
до отращения.

Урчит желудок, челюсти скрипят,
Корма, корма и снова удобренья,
Простые умножители дерьма,
Мы все-таки желаем одобренья.

А парочка геройствует впотьмах,
А на экране гибнут, подбоченясь,
И на экране пляшет автомат,
А в зале кепкой утирают челюсть.

А пища-то все лучше и вкусней,
Телесная, духовная — любая.
А на душе все глуше и тесней,
И кто-то важный плачет, погибая.

Зачем же нам и разум и душа?
Краса для глаз и музыка для уха?—

Когда мы в том не смыслим
ни шиша.

Так неужели мир всего лишь
брюхо?

Поверить не могу и не хочу,
Что человек всего лишь царь
природы.

Долой царей! Нам крылья
по плечу!
...Но парочка взялась
за бутерброды.

МАЗ

Нет причин для тоски на свете,
Что ни баба, то — помело.
Мы пойдем с тобою в буфетик
И возьмем вина полкило,

Пару бубликов и лимончик,
Пару с паюсной и «Дукат».
Мы с тобой все это прикончим.
Видишь, крошка, сгорел закат.

Видишь, крошка, у самого неба
МАЗ трехосный застрял в грязи.
Я три года в отпуске не был,
Дай я выскажусь в этой связи...

Я — начальник автоколонны.
Можно выпить: я главный чин,
Не водитель я — все законно,
Нет причины — так без причин.

Что за мною? Доставка добычи,
Дебет, кредит да ордера,
Год тюрьмы, три года Всевобуча,
Пять войны... Но это вчера.

А сегодня Москву проходим.
Как ни еду — кирпич висит.
МАЗ для центра, видать, не годен,
Что ж, прокатимся на такси.

Два часа просто так теряю,
Два часа просто так стою,

Два разá караул меняют,
Два мальчика строевым дают.

Молодые. Застыли строго.
Тут я понял, что мне — хана.
Козырей в колоде немного —
Только лысина да ордена.

Что за мною? Все трасса, трасса
Да осенних дорог кисель,
Как мы гоним с Ростова мясо,
А из Риги завозим сельдь.

Что за мною? Автоколонны,
Бабий крик, паровозный крик,
Накладные, склады, вагоны...
Глянул в зеркальце — я старик.

Крошка, верь мне, я всюду первый,
И на горке и под горой,
Только нервы устали, стервы,
Да аорта бузит порой...

Слышь, бузит... Ты такого слова
Не слыжала — ушло словцо.
Будь здорова! Ну, будь здорова!
Дай я гляну в твое лицо.

Мужа жди по себе упрямого,
Чтоб на спусках не тормозил,
Кушай кильку посола пряного,
Кушай, детка, не егози.

Закрывают. Полкруга ливерной!
Все. Без сдачи. Мы шофера!
Я — полтинник, а ты —
двугривенный,
Я — герой, а ты — мошкара.

Ладно... Ладно. Иду по-быстрому.
Уважаю закон. Привет!
Эдик, ставь вторую канистру,
Левый скат откати в кювет.

Укатал резину до корда,
Не шофер ты, а скорпион.
Крошка, знаешь зачем я гордый? —
Позади большой перегон.

1960—62 г.

ЛЮБОВНИЦЫ

Слава богу, погода мгlistая.
На дворе — шаром покати.
Покупаю «Герлен» за триста я.
За семьсот пятьдесят — «Котй».
Приходи ко мне ночью, ночью,
Я нужна тебе, я нежна,
Ляжем ночью, закроем очи,
А жена? Подождет жена.

Эй, вдовец, собери овец!
Где ты бродишь, чугу́н луженый?
Где ты спишь, молодой вдовец?
Незамужние стонут жены.
Половинки бредут в ночи —
Половинки сердец, быть может.
Я юна, я смела, скачи,
Я смогу тебя растрезожить.

Приходи, приходи скорей!
А не то на слепом рассвете
Ты услышишь хрип батарей
И меня не успеешь встретить.
И опять миллионы жен,
Разгребая руками ветер,
Будут лезть с тоски на рожон.
И опять не родятся дети.

Ты не плачь, девчонка, не плачь,
Ты капрон свой стирай в лохани.
Год пройдет, как мимо палач,
Не горюй, не придет коханий.
Вот окончится новый год,
Новый год превратится в старый.
Возрастное. Это пройдет,
Как проходят вдали отары...

1959 г.

КОРОЛЬ ВЕЛОСИПЕДА

Лечу по серому шоссе.
А ветер листья носит,
А я от ветра окосел,
И я глотаю осень.
Я распрощался навсегда
Со школою постылой,
И в лужах квакает вода,
Как пробки от бутылок.

Я пролетаю над землей
И весело и льдисто,
И даже ветер изумлен
И велосипедисты.
Кукушка кличет: «Оглянись!»
Кукушка, перестаньте.
Кукушка, Вы ж — анахронизм,
Вы — клякса на диктанте.

И, содрогаясь до корней,
Мне роща просипела:
«Ты самый сладкий из парней,
Король велосипеда,
Ты по душе пришелся мне,
Веселый, словно пруттик,
И мне милее старых пней
Тот, кто педали крутит».

Храбрись, король! —
И я храбрюсь.

Свистит как розги хворост.
И я лечу по сентябрю
И сохраняю скорость.
Щекочат ветер мой висок...
Двенадцать лет всего мне...
.....
А дальше хуже было все.
И дальше я не помню...

1966 г.

Евгения КУНИНА

Родилась в Москве. Окончила Московский государственный университет и Высший литературно-художественный институт.

Известна как переводчик с английского, французского, итальянского. Автор сборника стихов.

ВЕРНУЛАСЬ С ПОЧТЫ

Войти. И, скинув отсыревший плащ,
Благодарить природу за доверье,
Оправданное. И сказать —

«Не плачь!»

Себе? Дождю? А он и не намерен...

А он и мне заплакать не велит.
И тучи, кажется, разгонит ветер,
И солнце, глянув, скажет: «Мир

велик

И даже, с помощью моею,—
светел».

РАЗДУМЧИВЫЕ ДНИ

Раздумчивые серенькие дни,
не темно-серые, а с голубинкой,
подобны тихой музыке, они
таят в своей гармонии глубинку.

И мысли наплывают чередой,
нежданною, таинственной,
как тучи,

то набегаая снежною грядой,
то порождая ритма дождь певучий.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЛЕСА

Под напевный леса шум,
Бережно качающий,
Спи-усни, усталый ум,
Дух, тревожно чающий.

Снизу, с берега реки,
Свежие, душистые
Луговые ветерки,
Сверху — сосны мгlistые.

Теплый аромат хвои,
Зноем обвивающий,

Леса шум, тебе свои
Дрёмы навевающий.

Леса летний легкий шум
Тишины спокойнее...
Спи-усни, усталый ум,
Сердце беспокойное.

ОКА

!

Хороша Ока, божье око!
И светла Ока, светлоока!

Разлилась она, широка,
И плывут по ней облака.

И округ нее — луг пахучий,
Да леса-краса, где покруче:
Лес душистый, да лес смистый,
Лес сквозистый, да лес —
 сумрак мгlistый...

Тихо зыблется, золотая,
То как лед замрет и не тает,
А не то — зашумят барашки,
Разыграются, что в пятнашки,
Волны резвые — как ребята,
Ветер дунь — и пойдет игра-то.

И опять, словно плат, гладка
В голубом серебре Ока.

||

Что ни день, ты прекрасней,
 милее,
Или глаз обострило разлукой?
И закат по-иному алеет
Вон над той золотою излукой.
И не льдом, а серебряной глыбой,
Неподвижная, вдруг засыпаешь
Иль огромной чешуйчатой рыбой
Солнца блестками все осыпаешь.
Как расстаться с тобою, Ока, мне,
С этой утренней гладью широкой!
Сердце бьется волною о камни,
Хороша ты, Ока, божье око!

ПЕРВЫЕ КЯСМИНСКИЕ СТИХИ

Где по-эстонски жалобятся чайки,
Друг друга кличут, ссорятся
 сердито,
Где море пахнет рыбой меж
 камней,
А камни — одинокие гиганты
И целые стада — словно коровы:
Купаться вышли — да и позабыли...
Да и лежат... а то стоят недвижно,
А море утешеньем небогато,
Пустынен берег,
И тоска пустынна.

У ЗАЛИВА

От светло-серого до голубого —
Едва блеснет волны кипящий лед,
И облака строения любого —
Волшебный переменчивый полет.

Хрустальных дней хрустальная
 мгновенность,
Непрочная, как облик облаков,
Неповторимая — как
 драгоценность,
Похищенная счастьем у веков.

* * *

Засыпает на зиму медведь,
Засыпает маленькая муха.
Вот и я засну. Навек.
Ведь смерть —
Это сон для тела, не для духа.

И никто слезами не вернет,
И никто словами не обидит,
А душа и глазом не моргнет,
Улетит и сверху все увидит.

В истинном сиянии любви,
В полном озарении небесном,
Там, куда любимые ушли
И уйдут, — там никому не тесно.

* * *

Пусть говорят вам розы —
 а я уж помолчу:
Сплетенья рифм и прозы,
устала, не хочу.
Пусть говорят вам ели,
 зубчатые верхи, —
А мне уж надоели
 влюбленные стихи.

Закат расскажет лучше,
 полнее моего:
Скользнет последний лучик,
А больше — ничего.

НИКОЛАЙ ПАНЧЕНКО

Родился в 1924 году в Калуге. Участник Великой Отечественной войны. Автор нескольких книг стихотворений «Обелиски в лесу», «Зеленая книга», «Уходит дерево», «Остылый уголь» и других.

Живет и работает в Москве.

ЕГО СОВРЕМЕННОКАМ

Неужто Пушкину ума,
Чтоб не погибнуть, недостало?
Ума и сердца ох как мало,
Чтоб не погибнуть —
Тут нужна
Из ста хотя б одна струна
Фальшивая,

 чтоб сладко пела,
Когда любовь едва жива,
И каменная голова,
И душу ржавчина разъела.

А эта пела бы и пела,
Лукавым тронута перстом...

Нет Пушкина,
 так что же в том?!
Он не жилец здесь —
 вот в чем дело...

В развороте каменейте смело
Под дулом страха
И кнутом.

1986

* * *

Ни Китайской стеной и ни
 русской —
Никакой рукотворной стеной...

Лишь расслабленный дернется
 мускул,
Словно вспомнит крыло за спиной.

Ни крыла, ни дорожной крылатки,
Ни веселых ушей башлыка...

Регулярно-стандартные кладки
Погребли под собою века.

И тогда, забывая о прошлом,
Под бетоном не чуешь земли.

Ускакала последняя лошадь.
И последний фрегат на мели.

Русла рек иссушают заводы,
Берега челюстями круша.

И в предчувствии близкой свободы
Ничего не желает душа.

1974

КОЛЫБЕЛЬНАЯ-86

Что нам делать? Что нам делать?
Может, крыльями махать?
Может, хвост задрать и бегать?
Может, всем благоухать?

Тесен мир к исходу века,
Жизнь опасна и пуста.
И притом у человека
Нет ни крыльев, ни хвоста.

Это, маленький, не шутка.
Очень славно — хвост трубой.
Не забудь же, незабудка,
Цвет печально-голубой.

Не забудь, как пахнет ландыш,
Как стрижет ножнями стриж.
Все запомнишь — все уладишь.
Баю-баюшки, малыш.

1986

ПОСЛЕ ОХОТЫ

В этом есть особая приятность —
Выйти из-под звезд под фонари...

(Из старых стихов)

Полночь.

Кровью дышит воздух,
Лес придвинулся стеной.
Тонут тысячами звезды
В черных топях подо мной.

Надо мной — миры,
а дальше —
Нечто смутное во мне.
Пестрый вальдшнеп,
Теплый вальдшнеп
Остывает на ремне.

Или я уже не в праве
Мять траву, топтать кусты?
Бедный Авель,
Пестрый Авель,
Кто же знал, что это ты?!

Кто так подло спутал нити,
Передернул буквари,
Что, как некогда,
не выйти

Из-под звезд —
Под фонари...

1987

* * *

Час отчаяния горек...

(Из старых стихов) 1981

Маленькая моя, круглая!
Я стою под созвездием Лебеда —
Смолит Лебеда на землю
Чернобыля
И на этот большак под Москвой.
Маленькая моя — как же так? —
Мы тебя технократам доверили?

Мы себя бюрократам доверили —
Ничего у нас больше нет.

Есть душа... Это так — утешение.
Это в будущем, если сбудется.
А пока она задыхается —
Нечем этой душе дышать.

Задохнется — и все окончится.
А пока от обиды корчится,
От последней обиды корчится —
Что не может им помешать.

1986

* * *

Не летайте на аэропланах —
Истинно вам, люди, говорю.
Не кладите идолам поклонов,
Не учитесь жить по букварю.

Но, освоив чтение, берите
Толстые, тяжелые тома.

Чем не верить,
лучше поборитесь

С богом,
Усомнитесь, как Фома,
В боге, как товарищ Достоевский,
Суйте палец в рану, как в ноздрю.

Уберите с окон занавески! —
Истинно вам, люди, говорю.

1981

* * *

Сегодня в дом проникла скука
Сквозь щель,
Сквозь пыльное стекло —
И нет машинок перестука,

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

Родилась в Иркутске. Живет в Москве. Автор книг стихов «Проталина», «Только о любви», «Гадание Светланы» и других.

* * *

Не туда нашу жизнь повернуло,
Где легко разминуться с бедой.
Дорогими духами пахнуло,
А запахло сырой лебедой.

Зашумело вокруг, загудело.
Даже зеркало вдруг — на куски.
И какое, подруга, нам дело
До великой вселенской тоски?

Что с того, что мыслители где-то
Мыслят в эти минуты о нас,
Если холодом сердце задето,
Если близок полунощный час?

Что с того, что великая воля
Веселится в осенних ночах,
Коль великая бабья недоля
Тяжким весом лежит на плечах?

Что нам проку в сужденьях и
толках,
Если в нашем последнем углу
Мир, разъятый в зеркальных
осколках,
Под ногами хрустит на полу?

* * *

Под осенним неласковым ветром,
Самым ласковым в этом краю,
Я, одета в добротное «ретро»,
В достижимые дали смотрю.

Скоро снег надо мной закружится,
Застилая заветный закат.
Потому-то на сердце ложится
Невозможно печальный загад:

Если только родимое лихо
Не сведет меня вовсе с ума,
Я пройду осторожно и тихо
По тебе, молодая зима.

По снегам, что еще не упруги,
По непрочному первому льду,
По следам непорочной подруги,
По ее волхованью пройду.

Неизбежна такая дорога,
И с нее никуда не свернуть,
Ибо пройден уже до итога,
До заката мой собственный путь.

* * *

Ах, подруга, вино по скатерти.
Спали с наших голов венцы.
Спят давно в земле наши матери
И заботливые отцы.

Ах, подруга, мы сами старые.
Мотыльками дни мельтешат.
Под ногами, сухие, палые,
Не они ли сейчас шуршат?

Постигая несоразмерность,
Замыкая устало круг,
Прячем мы за высокомерность
И растерянность и испуг.

И в тебя не веруя, боже,
Ибо слишком ты прям и прост,
Задаем мы один и тот же
Неизвестно кому вопрос:

Хорошо ль этот мир устроен,
Хорошо ли мир сотворен,
Если в зеркале он удвоен,
А в душе удесатерен?

* * *

Обреченность на узком лице,
И глаза отрешенны по-русски.
И так странно в медовом кольце
Расплаваются млечные сгустки.

Вспомнить цвет твоего янтаря,
Словно зимнего солнца коснуться.
...Я проснулась ни свет ни заря,
Ибо надо мне было проснуться.

Ибо надо мне было понять
Темный смысл потаенного пенья,
Ибо надо мне было отнять
И себя и тебя у забвенья.

Но опять предо мной — пелена,
Но опять — круговая порука,
И безумствует вновь белена,
И, как прежде, безвольна подруга.
Что с того, что не властна,
как встарь,

Я теперь покоряться разбою?
Видно, правит туманный янтарь
И моей и твоею судьбою.

* * *

От нас с тобой иная жизнь таится,
Где можно все — ограбить и убить.
Но маету, что в золоте томится,
Освободив, вовеки не избыть.

Но маету, что ластится и манит,
Не отогнать рукой, как мошкарку.

Она глаза желанием туманит
И завистью сжигает на пиру.

Она когтистой рыжею совою
Влетает вдруг в открытое окно,
Клубится желтым дымом
над травую
И отравляет горечью вино.
Совет случайный — малая услуга.
Наивны наши речи о добре.
...И поутру пришла ко мне
подруга
Не в мелком золоте,
а в крупном серебре.

* * *

Чем себя я сегодня потешу?
Повторяя: печали развей,—
Я сиреневый полог повешу
Над вчерашней постелью своей.

В этом крае, таком нелюбимом,
Повторяя: забудь про леса,—
Я утешусь сиреневым дымом,
Что идет из трубы в небеса.

Я утешусь сиреневой далью
У вчерашнего друга в очах.
Я утешусь сиреневой шалью
У подруги на полных плечах.

Вниз сходя и считая ступени,
Памятуя о прошлом тепле,
Я утешусь той веткой сирени,
Что цветет на вчерашней земле.

МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ

Родился в 1925 году в Тбилиси. Окончил Тбилисскую академию художеств. Автор более двадцати поэтических книг на грузинском и русском языках. Это книги — «Надпись на камне», «Продолжение следует», «До востребования» и другие.

* * *

Ноги ив

от стоянья в воде

покраснели.

Стадо — как пересохшее русло реки...

Лишь представляю себе эти камни и мели,

сразу слышу забытого детства шаги.

Эгей-гей! — окликает оно издалека,

из-за пасмурных гор, из-за шумной листвы.

Босоногий мальчишка волнует глубоко

и тревожит меня, пожилого, увы!

О, как воспоминания эти мне любы,

как шальной ветерок пробивает и льнет,

как мне хочется, господи, вымазать губы

ярким соком ореховым, терпким, как йод...

* * *

Сыну

Мальчик мой, маленький Гоги,
величиной с ноготок,
все твои тропы-дороги
я бы и вылизать мог,

сгладить все кочки и ямы,
чтоб не споткнуться вовек,
мальчик мой маленький, самый
мне дорогой человек.

Ты как глоток родниковой
чистой воды для меня.
В сумрачной жизни суровой
искра живого огня.

Все христианство, все братство
в этом огне, может быть...
Славы не надо, богатства,—
лишь бы в полет снарядить!

* * *

Как эта девушка прекрасна у киоска,
Она стоит в невыразимо милой позе,
Как бы танцую; легче пуха, мягче воска;
Вдруг улетит сейчас? Вдруг эту землю бросит?

Где научилась так стоять, в каком журнале
Картинку видела, быть может, в «Совет вумен»?
Ах нет, не думаю, она его едва ли
Читает, слишком скучен он, благоразумен.

Что ж, Скопас, может быть, поможет нам Пракситель,
Им женской пластики секреты все известны.
Античность милая — помощник наш, служитель,
Недолгой прелести земной знаток чудесный.

О, чудо! Друг мой, унывать нам нет резона:
На людной улице, нарядной, разодетой,
Средь эры атомной, пластмассы и нейлона
Сестра Аспазии, смотри, стоит с газетой...

У МОГИЛЫ ЕЛЕНА МАЧАБЕЛИ В КАНОБИЛЬСКОМ ЛЕСУ

Уж если кто и вправе «я любила»
сказать, то это вы; так безоглядно
любили вы, что, мнится, не остыла
любовь и после смерти; так громадна
была любовь, столь искреннего рода,
что с той поры, как веки вы сомкнули,
здесь, у могилы вашей, вся Природа
стоит, скорбя, в почетном карауле.

* * *

Разве время проходит? Оно не проходит, неправда!
То, что было, то есть и пребудет на свете вовеки.
И Крцаниси всегда будет с нами, и будет Марабда,
Благородство и подлость, враждую, живут в человеке.

Мы стареем — и только для времени старости нету.
Где все те, что прошли роковой чередой перед нами?
Что их страсть погасило, столкнуло их в темную Лету?
Где поток временной? — Гладь замерзшей реки под
ногами!

Мы скользим. Человек увлекается, спорит, смеется,
И надеждой живет, и, отчаявшись, тянется к чуду.
Эта жизнь, как китайская грамота, трудно дается,
И все кажется, лед может треснуть в любую минуту.

ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Хвала любителям поэм
И циклов; тем не менее
Какое счастье — написать
Одно стихотворение!
Одно прекрасное, одно
Живое, полнокровное,
Чтоб заменить могло оно
Топтанье многословное.

Я столько строк зарифмовал,
Их хвост за мной волочится,
А все еще не написал
Стихов таких, как хочется.
Собой довольная вполне,
Есть среди поэтов мафия
Своя... Пускай удастся мне
Хотя бы эпитафия!

СЛАВА

Вдруг слава выглянет, как солнце из-за тучки,
Случайно выделив кого-нибудь из тьмы.
Где справедливость? Шариковой ручки
Изобретателя не знаем имя мы!

*Переводы с грузинского
Александра КУШНЕРА*

* * *

Тоскую по тебе душою и строкою,
повсюду и всегда, во сне и наяву.
Нет ничего во мне, чтоб не было тоскою,—
тоскую по тебе, тоскую и зову.

Тоскую по тебе. Ты стала мне родною.
Ищу тебя, как пес — хозяина в толпе.
И даже в час, когда ты целиком со мною,
вся, с головы до пят,— тоскую по тебе.

Перевод Ю. МИХАЙЛИКА

ЛЕОНАРД ЛАВЛИНСКИЙ

Родился в 1930 году. Окончил историко-филологический факультет Ростовского государственного университета. Работал в комсомольской печати, в журналах «Дон», «Дружба народов», в Комитете по печати РСФСР. Автор книг «Сердца взрывная сила», «Не оставляя пинии огня», «Струги» и других.

ПЕРВАЯ БОМБА

Макароны, крупа —
У витрины с рисунками
Гомонила толпа,
Нагруженная сумками.
Горевала, судачила,
Вздорила, охала,
Похваляясь удачами —
Час назад или около.
Но из облачка пухлого
Капля черная выпала
Да осколками бухнула —
Разметала, засыпала...
На больничной траве —
Голова к голове —
Положили рядами,
Тишине передали...
Тут рассматривать нечего,
Но глазел неприкаянно,
Как тела изувечила
Взрывная окалина.
Что у смерти выпытывал?
И кого я разыскивал,
Словно друга забытого,
Но до странности близкого?

* * *

Сдвигался медленно рисунок
Вечерней тени во дворе,
И шелестел зеленый сумрак,
Что хватит панствовать жаре.

Что распускается в саду
Тугая лилия фонтана
И на людей, на резеду
Прохладой веет неустанно.

Что душит нежностью табак,
И кружит голову петунья.
Что у девчонок на губах —
Медовый привкус полнолуныя.

* * *

К. Рехо

Открою настезь тайное окошко:
Поговори о жизни, летний гром!
Тебя готовы слушать я да кошка.
Пусть лезет солнце в гости
напролом,
Шумит листва, умытая роскошно.
Земле дышать, а мне строчить
пером.
Играй, мечта, назло календарю.
Когда опять развоются метели
О том, что все деревья облетели,
Улыбку лета другу подарю.

* * *

Природа, от века слепая,
Цвела беспризорно,
Для всех рассыпая
Любви драгоценные зерна.
Но, цепко в слои пережня
Корнями вонзаясь,
Ветвилось и что-то дурное,
Как черная зависть...
Пикирует оводов туча
На старую клячу.
Разбойное семя живуче.
А как же иначе?
Извечны в земной карусели
Расцвет и упадок...
А впрочем, не оводы съели
Российских лошадок.

НИКОЛАЙ НОВИКОВ

Родился в 1930 году в Москве. Окончил Высшее военно-морское училище и факультет журналистики МГУ.

Автор поэтических книг «Внуковская осень», «Грань городá», «Московский говорок», «Старая дружба» и других.

* * *

Я все возвращаюсь в то лето военного года
И в ту электричку, набитую утренним людом,
Где в окнах привычные сочные краски природа
Слегка приглушила, как будто прижала под спудом.

Из тамбура слышался мат — толковали блатные,
И громом подшипников спящих тревожил калека.
О, кто б мне ответил, зачем вспоминается ныне
Все это — уже из другого двадцатого века?

Дымок самосада и чей-то рыдающий кашель,
И вся эта скудость, все мелочи жизни — другие,
В мешке — котелок с пригоревшею ячневой кашей
Зачем вспоминаю — по голоду, что ль, летаргия?

По голоду, холоду, страху, по бедам всеобщим...
Не счастливы ль были мы, их постепенно отринув?
Вот я вспоминаю и думаю: что же мы ропщем?
Хиреет душа — ей каких же еще витаминов?!

И все возвращаюсь в холодное, темное лето,
И что-то ищу в нем, и словно надеюсь согреться,
И все возвращаюсь — куда и возврата-то нету:
Другая дорога, иные давно уже рельсы...

ОШИБКА

От смешного великое, как говорится,
И всего-то в верхке.
Умирает великая императрица
Во дворце.
На горшке.

На посуде ночной умирает старуха.
Что сказать! Срамота.
И бессонный дворец затаился стоухо:
Глухота. Немота.

Седой циклон пускается в дорогу,
Клубятся беды, дыбится река.
Любимая, побудь еще немного —
Покой недолог, радость коротка.

* * *

Поселок писательских вдов,
Детей разведенных и внуков,
Заученных в школе стихов,
В кирпич обратившихся звуков.

«Хранит он...» — готов было я
Продолжить,
но нет, не хранит он
Достойных следов бытия,
Былого служенья Харитам.

Забыт недочитанный том —
Длиннота, зевота, истома...
Но полон потомками дом —
Тем племенем,
что — незнакомо...

Растет и ветвями шумит
И младостью благоухает.
А ночью не пишет, а спит...
Природа на нем отдыхает.

* * *

— Купи мне на память, любимый,
Колечко с осколком стекла —
Не стала твоей половиной
И четвертью стать не смогла...

Куплю с бирюзой голубою,
Что нашего неба светлей —
Не стала моею судьбою,
А сделалась болью моей.

* * *

Тьма — хоть выколи глаз —
в изголовье,
И в окне ни единой звезды.
Обложного дождя многословье —
Несмолкаемый шелест воды.
Тема лекции: сырость, простуда
И тяжелый гриппозный сквозняк.
Что ты хочешь поведать, зануда?
Что не можешь закончить никак?
Не захочется жить, коль на веру
Нам принять бормотанье твое.
Я-то знаю, что это химера.
Я-то знаю, что это вранье.

* * *

Время остудит меня —
И не вспомню
Взгляд неприятеля,
Злобою полный,
Не посчитаю обиды врагу...
Что с него взять...
Но как скользкой и липкой
Мне улыбался приятель
Улыбкой —
Время остудит —
Забуть не смогу.

* * *

Все, что будет, и все, что было,
С настоящим — заподлицо.
Эту маску свиного рыла
Не напялить мне на лицо.

Вопреки ухищреньям быта,
Слава богу, жива и честь.
Мне не есть из свиного корыта
И с ногами за стол не лезть.

Тем более оба мы знаем ответ, конечно же, «да», и все-таки	Пойми, что и сам я не в силах назвать,
«нет» —	скажи за меня, что не смог я
так тянется с давних пор.	сказать, целее душа у тебя.
И все-таки надо опять говорить, как будто бы надо опять открыть какую-то старую дверь.	Вглядись в эту дань ястребиным зрачком,
А если за нею и нет ничего?	ударь по железу мужским кулачком —
Кончается срок, и яснее всего — нет времени, только теперь.	кораблик подходит туда.

ПЯТЬ УГЛОВ

У Пяти углов я когда-то жил,
двадцать пять годков, двадцать пять могил.
Даже дом снесен, след и тот остыл,
и другой фасон тут велик и мил.
Вот и мост цепной, школа двести шесть,
я пришел домой, а беды не счесть.
Сам я жив-здоров, ни в одном глазу...
У Пяти углов я тебя прошу,
и к твоей руке припадаю я,
на своей реке пропадаю я!
Нет другой судьбы, нет другой страны,
только ты суди, убивай, кляни,
ты сама живешь, знаю, не путем.
Покатился грош за цепным мостом.
Если на орла — приходи ко мне,
ты сама сплела эту сеть во сне,
и плывет струя под мостом в Неву.
Помни, сколько я без тебя живу!
Перевенчаны этим чугуном...
Делать нечего — Пять углов наш дом!

КАТОК «СПАРТАК»

На памятном бульваре
прекрасный холодок —
зима опять в ударе,
опять открыт каток.

За полчаса стемнеет,
фонарики зажгут,

сильнее сатанеет
спартаковский лоскут.

На поле темно-красном
светла диагональ.
И было все напрасным —
но только это жаль!

КОТ НА ПРИЧАЛЕ ГАВАНИ В ЛЕНИНГРАДЕ

Швед «Королевский Одиссей»
прилип к заливу,
на что ленивый котофей
глядит брезгливо.
Он вылез нынче из таких
глухих подвалов,
что шведский флаг поник и стих,
как в девять баллов.
Выходят леди, буржуа,
посол Гвинеи.
Кот жаждет только барыша,
да поскорее.
Ему ни «Мальборо», ни джин,
ни героинчик,
и больше не смягчает сплин,
увы, графинчик.
Кусок заморской колбасы
иль отбивную
у пограничной полосы
стоит, взыскуя.
За что нам котю укорить
среди хворобы,
теперь его должна кормить
рука Европы.
Глядит на бело-голубой
всесветный лайнер,
кивает умной головой
на трап, на мрамор.
Потом опять во тьму, в подвал,
мышам на горе.
Он так доволен — побывал
в открытом море.

ЧЕТЫРЕ ЧАСА УТРА

В гостинице «Европейской»
заснул нетрезвый турист.
О город мой затрапезный,
ты пуст, просторен и чист.

В карман забита бутылка,
окурок в зубах зажат,
загадочная улыбка
приколота на фасад.
Тихи на флагштоках флаги,
в яхт-клубе мутны огни —
как бы водяные знаки,
видны на просвет они.
Скажи-ка, докуда стоит
добраться, достичь, успеть...
Не лучше ли, астероид,
в полете дотла сгореть?

РАЗГОВОР С ЯНУСОМ В ЛЕТНЕМ САДУ

Сияют воды, и мосты воздушны,
еще цела прозрачная листва.
Все позабыть и все припомнить
нужно
для этого всесильного родства.
Скажи мне, Янус, на примятой
клумбе
две правды и последнее словцо,
и то и се, сыграй, товарищ, крупно,
объедини разъятое лицо.
Пускай в дожде, что соберется
нынче,
в осенней ленинградской темноте,
ты будешь всех прямой и
необычайной,
ты подберешь и передернешь те
слова и клятвы, битвы и простои,
всю беготню, весь неподвижный
пыл,
ты мне напомнишь самое простое:
что думал, обещал и что любил.
Перед затмением наступает
ясность —
я не оспорю, не проговорюсь,
ведь и тебе, мой строгий, старый
Янус,
я больше не служу и не молюсь.

* Шведский лайнер в ленинградской гавани.

ИВАН ЛЫЦОВ

Родился в 1934 году. Детство прошло в деревне Волховке Липецкой области. Окончил Пермский нефтяной геологоразведочный техникум. Служил в Советской Армии. Автор нескольких поэтических книг, среди них «Золотена», «Сердолик», «Доля», «Узы» и другие.

ЗОЛКА

Жила станица Золка,
Не ведывала зол.
Да вот приспела только
Пора — менять прикол.

Где хат гурток обжитый,
Там будет моря дно,
Морской песок — где жито,
Где солнышко — темно.

Где плакала гармошка,
Там станет тишина,
То буйно, то сторожо,
Поплескивать волна.

Где гребень косы дивные
Разравнивал, шурша,
Там водоросли длинные
Приманят и ерша.

Продрогшая до нитки,
В окно не постучит.
Не скрипнет ни калитка,
Дитя не закричит...

А спросят: «Где родился?» —
«На дне, — скажи, — морском.
На дне морском крестился,
Морским играл песком...»

Была — и нету Золки,
Одной из Атлантид.
Лишь ветер против холки
Волною шебаршит.

Давай, дружок, о Золке
О нашей — погрустим.
На берег ступим желклый —
Как дома погостим.

ГРАЧИ

Человеку грачи надоели:
Тяжко слышать их радостный крик.
И сказал человек: «Неужели
Невозможно, чтоб не было их?!»

Невозможное стало возможным,
Черный замысел явью оброс.
Лез на дерево слесарь-отрошник
И ширял батожиной вразброс.

Прутья сыпались книзу и перья,
И пищали комочки грачат.
И топтал человечек их нервный —
Тот, чьи окна гляделися в сад.

И когда злодеянье свершилось,
Покружились над сквером грачи:
— Схверно, схверно! — И вон
удалилась
Птичья стая, — кричи не кричи.

Человек же, готовясь к докладу,
На верхушки взглянул тополей.
И начальную вывел тираду:
«Сохраним поголовье свиной!»

ЖИЗНЬ

Ни свистков тепловозов, ни гудков теплоходов.
На деревне всего лишь один магазин.
И живет здесь Василий Фомич Хороводов,
Мужичок-с-ноготок, семьянин.
У Василия — семеро малых по лавкам,
Хлопотунья-тихоня жена.
Вася медом торгует по божеским ставкам,
Для ребят закупает пшена.
Чуть заря — он уже запрягает лошадку,
Сено косит, собирает жуков...
Все идет у него чередом, по порядку:
Дюже много в семье едоков.
Всех обушь-ободеть, по доходу пристроить,
Обженить, довести до ума.
Ну а там и свою можно старость покоить,
Где не ждет тебя злая сума.
Отлежаться на печке да темною ночью
Долго слушать, как вьюги снуют.
Да вздыхать у окна, под которым три дочки
Колыбельные деткам поют...

ОДНА

Умер старик. И старухе одной
В милой деревне никак не уснет.
Все ей мерещится старец родной.
Вот он сейчас подойдет, улыбнется.
Вот он рубанок в сарае берет,
Ловко сворачивает самокрутку.
Доску строгает. Идет в огород.
Сбоку латает худую закутку.
Вывел корову на талый лужок.
Сел на лесину. Читает газету...
Ах, разлюбезный житейский дружок!
Видишься ясно, да рядышком нету.
Вышла во двор. Молодая луна
Всю молоком заливает округу.
Жизнь хороша, да, поди, не полна,
Если про то не поведаешь другу.
Будут ветринки ее обдувать,
Чистые дождики в поле умоют.
Будет печально она доживать
Век свой остатний над светлой водою...

СЕРГЕЙ МУШНИК

Участник Великой Отечественной войны. Автор нескольких поэтических книг на родном языке.

Живет в Харькове.

КАРТИНА

Горячий шлях,
В истоме знойной лето.
Через дорогу —
Хата в вишняке.
Прохлада в сенях,
Где крыльцо нагрето.
Эх, мне прилечь бы
В этом холодке.

Вот девушка с косою
Из колодца
Ведро достала.
Никакой беды.
Вода на сруб дубовый
Тихо льется.
Эх, мне б напиток
Этакой воды.

Вдруг все исчезло,
Словно растворилось.
В окопе я.
Вокруг свистит зима.
Картина дивная,
Ты мне приснилась
Меж выстрелами
Двумя.

ИШАК

Там, где профиль Перекопа,
Где крутой Турецкий вал,
Немцы замерли в окопах,
Фронт затих и отдыхал.
Вал накрыл весенний вечер,
У солдат немало дел.
В это время наш разведчик
В боевой бинокль глядел.

Поглядел и даже ухнул:
За росистой травой
Подъезжала с тыла кухня
К той чужой передовой.
Кашевар неторопливо
Погоняет ишака.
Смотрит эдак горделиво:
Мол, позиция близка!
А разведчик мчит к комбату:
— Поглядите: мочи нет!
Вот подкинуть бы, ребята,
Им снарядик на обед!
— Это можно! —
Свист, разрывы.
Повар деру, драпака.
Бросил кухню боязливо,
Оставляет ишака.
А ишак тот с перепугу
С диким криком вниз рванул,
Пролетел окопы вьюгой.
Крики, грохот. Смех и гул.
Кто ж за ним рванется следом?
С вала крики: — Век! Назад! —
И остались без обеда.
Вот досада из досад!
А ишак тот «ненормальный»
Все вопил, вопил, вопил,
Мимо полосы нейтральной
Вдруг помчал к нам в дальний тыл.
На валу всюду вздыхали:
— Вот ишак! Дурной осел! —
Проклинали и кричали:
— Добровольно в плен пошел! —
А бойцы-орлы тем часом
Не давали зевака,
Уминали кашу с мясом
И хвалили ишака.

Переводы с украинского
Вл. ФЕДОРОВА

ВИКТОР КОСЕНКОВ

Родился в 1926 году в Харькове. Служил в Советской Армии. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Работал в редакциях журналов и издательств. Печатался в журналах «Сельская молодежь», «Советский воин», в «Комсомольской правде».

* * *

А жизнь назвал дорогой кто-то...
Но был не прав, наверно, он.
Жизнь будто лента пулемета,
и каждый день в ней
как патрон.

Вот время круг свой замыкает,
и смерть дыхание сожмет.
Жизнь не уходит,
замолкает,
как без патронов пулемёт.

* * *

Чудеса — это память рисунков наскальных
и мечта о грядущем
грядущих людей.
Верю чуду, как небо — озерам зеркальным
и озерная гладь — красоте лебедей,
как ночная роса — самоцветным рассветам
и вечерним прохладам — полуденный зной,
как звезда во вселенской безбрежности где-то
верит встрече со мной,
в чудо встречи со мной!

* * *

Мы летим, и стал макетом город,
а потом и вовсе — чертежом.
И совсем из глаз исчезнет скоро
за плывущим в дымку рубежом.
Вот уже и облака сплошные
неземные вьюги намели.

И под Солнцем только мы
земные —
люди, улетевшие с Земли.
И стучится в сердце многократно
страх — не страх, а беспокойство
все ж
за любимых, ждущих нас обратно
в городе, похожем на чертеж.

* * *

Лошадиные силы загнали в мотор,
чтоб волчком закружить и проспекты, и площади.
И не знаю, с каких незапамятных пор
не встречал я на улицах города лошади.
Позабыл, как мотает она головой,
как поглаживать шею вспотевшую можно ей,
как подковы звенят на крутой мостовой,—
электронная память, конечно, надежнее.

* * *

Мне грустно было одному,
без матери родной.
Я подружился потому
с былинкою одной,
что зеленела под стеной
так много лет назад
на даче, пахнувшей сосной,
где жил наш детский сад.
И я украдкой от ребят
берег ее, как мог,
поил водой
и очень рад,
что был не одинок.

* * *

Жизнь собираю, как матрешку,—
за годом — год,
за годом — год.
Старею скупю, понемножку,
и вот...
Ах, если б можно слово в слово —
в чем был я прав и в чем не прав —
все повторить сначала, снова,
жизнь, как матрешку, разобрать.

* * *

Живешь, съедая годы, словно зубы.
И вдруг поймешь, и сам не будешь рад:
ах, как прекрасны розовые губы
и зубы между ними —
белый ряд!
И зеркало лицом к стене поставишь,
чтобы ослеп его пустой овал,
как будто бы себе ты — не товарищ,
как будто сам себя обворовал.

* * *

Уезжают жильцы, старый дом покидая.
Он дверями скрипит, он жует свой вопрос:
— Вы куда? Вы куда?
Вы скажите — куда я?
Неужели — на снос? Почему же на снос? —
Дом оглох и ослеп, лишь в окошке едином
свет неяркий горит, не сдается никак.
И грустит, уронив на ладони седины,
самый старый жилец, одинокий чужак.
Ни паркета не надо, ни кафеля ванной,
жизнь сначала начать — не дано,
не дано...
Загрустил человек, словно дом деревянный,
старый дом, покосившийся набок давно.

ВЕРА ПОГРЕБ

Родилась в городе Первомайске Одесской области. Окончила филологический факультет Харьковского государственного университета. Работает учительницей. Живет в Ялте. Стихи публиковались в журналах «Дружба народов», «Юность».

* * *

Как мы любили, как жалели
Тех первых мальчиков своих!
И, несчастливее иных,
Те чувства вправду не ржавели.

Мы были из единой плоти,
Еще тянулись и росли.
И вот они уже в пехоте —
На вздыбленном краю земли.

Одни и песни, и порывы.
Одним волнением души живы,
Одна родная сторона.
Губами мы к губам прижались,
Прощальным взглядом
обменялись
Да карточками поменялись...
А встречи не было. Война.

* * *

Суровый дом на Рымарской,
Где наш этаж шестой.
Он был, как замок рыцарский,
Приметен высотой.

Мы жили в узкой комнате,
Но — фонарем окно.
До трещин в подоконнике
Запомнилось оно.

Там стол под скатерть прячется,
И я под ним сама.
Как плачется! Как плачется!
Намокла бахрома.

Впервые там — по Оводу.
Река любви текла...
Пошла я к ней не по воду,
А за водой пошла.

Течет великая река.
Длиннее жизни. Сквозь века.

* * *

Знаю. Есть такое чудо,
Как ожившая душа.
Жизнь, вернувшись ниоткуда,
В новом роде хороша.

Потемнее, чем вначале.
Тон суровой. Штрих крупней.
И от многие печали
Стали губы солоней.

Но — не глухо. И — просторно.
Будто тридцать лет назад,
На ночной переговорной
Жду, что вот соединят.

Стыд — брюзжать на перекате,
Где по вспученному дну
Люди в будущее катят
Общей участи волну.

* * *

По кудрявым от зарослей склонам
Пробираются к морю дубы.
Надо мною простертая крона —
Как рука милосердной судьбы,

НИКОЛАЙ ГОДИНА

Родился в 1935 году на Полтавщине. После окончания горного техникума работал в Каракумах на серном руднике Дарваза. Четыре года лавал на военных кораблях Краснознаменного Балтфлота. Тринадцать лет работал машинистом мощного экскаватора. Автор книг «Белое, синее», «Дерево любви» и других. Лауреат премии Челябинского комсомола. Член Союза писателей.

СТАРЫЕ ИГРУШКИ

Алюминий, капрон, целлулоид, вискоза.
Конопляная грива от пластмассовой лошади.
Зеленеют, краснеют, пылятся бесхозно
Беспользные вещи на ползнейной жилплощади.

Заводные, смешные, в полосу, в горошек,
Безнадежно пустые, удачно непрочные,
Крокодилы из мирных, ослы из хороших,
Пистолеты, машины, обезьяны и прочие.

Отмываем, заводим, меняем пружины,
Покрываем любовно разноцветными лаками.
Пусть рычат, пусть строчат, пусть чудят беспричинно,
Чтоб мы чаще смеялись и пореже бы плакали.

УТРО

Дозревает снегирь на морозе,
Краснобоко висит за окном.
Запах лета от старой березы,
Будто где-нибудь в мире лесном.
У хозяйки забота другая:
Вымой чашки, теплом обеспечь...
Воспаленною глоткой пугая,
Вновь затемпературила печь.

* * *

Хочешь увидеть Москву?
За уши поднятый в небо,
Молча от боли реву,
Взгляд напрягаю нелепо.

Вот и увидел: вокзал,
Площадь, враскидку деревья...
Кто бы теперь показал
Мне ту степную деревню?

* * *

Однообразие зимы.
Берез однообразие.
Две борозды в снегу и мы
С тобой такие разные.

Покой земли тяжел и зрим.
Над ним звезда печальная.
Мы что-то резко говорим
На языке молчания.

У нас единые слова,
А мнение раздвоено.
Но ты по-своему права.
Я тоже прав. По-своему.

ВЕНИКИ

«Фирма веников не вяжет...»
Помню, мама тихо скажет:
— Сор откуда-то везде,
Надо подмести в избе.

Голубой дымок полыни.
Горький запах и поныне.
За оградой, невдали,
Густо веники росли.

Мы их парами вязали.
Про запас на жердь низали.
Угол отвели такой,
Чтоб все время — под рукой.

«Фирма веников не вяжет».
Жизнь за леность нас накажет —
Стали сор копить в себе.
Это хуже, чем в избе.

1941-й

Соседка щедро нагребла
Углей, спросила: «Писем нету?»
А писем не было — могла
Не бередить болячку эту.

Стояла намертво Москва.
Зима стояла у порога.

Я дул в подтопку, голова
Кружилась оттого немного.

Чурбак потрескивал сырой.
Сочились, набухая, рамы.
И долго ссорились с сестрой
Мы из-за места возле мамы.

СТЕКЛЯННАЯ ЖЕНЩИНА

*В Дрезденском музее
гигиены и санитарии
выставлена стеклянная женщина.*

Сознание вообразало.
Пристойно любопытство жгло.
В углу поблескивало шало
Одушевленное стекло.

Краснел холодный провод резко,
К естественности приближен.
И нерв, натянутый, как леска,
Был откровенно обнажен.

А женщина, кружась, парила
В каком-то непробудном сне.
И что-то странное творила
Чудесным образом во мне.

Раскинув руки, удивленно
Навстречу голосу плыла.
То, безнадежно отдаленна,
Игррой фантазии была.

Стреляли кнопки где-то сбоку,
Внизу поскрипывала ось.
И видел я, подобно богу,
Впервые женщину насквозь.

НАТАЛЬЯ РЯБИНИНА

Родилась в 1941 году. Жила и училась в Волгограде. Работала в Челябинском архитектурном управлении чертежницей. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Урал», «Волга», в альманахе «Поэзия», в коллективных сборниках.

ВЕЧНА СВЕТА

Ворона уворованный кусок
надежно держит клювом, как
пинцетом,
на дереве, облитом нежным
светом.
Невидной птички мирный голосок
звенит счастливо в воздухе
согретом.

Начало марта. Славная пора.
Наст сахарный, цветные пятна
теней,
и легче птичьего пера
сквозное кружево растений.

Обилье света. В каждый уголок
заглянет луч и ласково разбудит
всех спящих. В крепкий узелок
завяжет родственные судьбы.

Обилье света. Золотой стеной
парк отгорожен от Москвы
рабочей.
И розовый, лиловый, неземной
снег излучает свет до самой ночи.

* * *

Полиэтиленом первых утренников
Затянуло лужи и пруды.
Меленьким снежком трава
припудрена,
Алебастром залиты следы.

Утречок встревоженная стая
Зябко жметя в тесной полынье.
Жестяной листок, играя,
На ладонь планирует ко мне.

Толстяки бегут по пояс голыми.
Пар клубами, как от лошадей.
Утренник морозными уколами
Поторапливает людей,
Убегающих от скуки, от инфаркта,
В синеву и охру октября,
От мучительности факта —
Жизнь почти что прожита, да зря!

* * *

Женщина с глубокого похмелья,
улыбаясь гниловатым ртом,
самокрутку с ядовитым зельем
жадно курит над рябым прудом.

Небо осыпает мокрой пылью.
Пруд дымит, волнуется, дрожит...
Утка сонно расправляет крылья,
тяжело по берегу бежит.

Женщина поникла и намокла.
Мне идет навстречу не спеша.
И глядит сквозь слезы, как сквозь
стекла,
жизнью пренебрегшая душа.

* * *

Каменную ягоду рябины,
чуть подкрашенную с бочка,
надкусила. Горькой сердцевинной
заморила червячка.

Трудно голодаю по живому
будущему. Мучаюсь виной —

лишь стихов половину да солому
припасла для тяготы земной.

Мне не вылечить большую воду.
Сгубленных деревьев не воскресить.
Милую российскую природу,
как дитя под сердцем, не носить.

Приколю на ворот летней блузки
пеструю рябиновую гроздь.
Мне рябина горькая по-русски
перескажет боль свою и грусть.

* * *

Зацветшая зеленая вода,
Как зеркало в старинной паутине...
В ней гаснут отражения. Сюда
Заглянет луч, да и увязнет в тине.

Как книга сказок, что на чердаке
Под гнетом лет случайно
сохранилась
И в детском очарованном мире
Шкатулкою волшебною
открылась.

Но вязь старинную дитя
не разберет...
Поблекли краски сказочных
картинок...
И тронуть страшно ветхий
переплет
С гравюрой черных паутинок.

Так старые вода, и зеркало,
и книга —
Могила тайн. Попробуй угадай,
О чем они молчат! Невыносимо
иго
Времен, ушедших навсегда.

* * *

Ветер гроздью рябиновой машет...
В алых ягодах куст бузины...
Узорочьем осенним украшен
тротуар до ближайшей зимы.

Я родня этим гроздьям и листьям,
и дождю, что пластался всю ночь.
По рисунку прожилок на кисти
я сойду за кленовую дочь.

И в моей крови бродит отрава
загрязненных промышленных вод,
оседает в мозгу и суставах
канцерогенный налет.

И душа, раздираясь от боли,
хочет выносить, вынырнуть плод,
напитав его смертной любовью,
защитить от вселенских невзгод.

Адсорбирую в хрупких сосудах
мировые тревоги.
Душа
и поет, и горюет,
покуда
обольстительно жизнь хороша.

ТАТЬЯНА БАТУРИНА

Родилась в Волгограде. Окончила Волгоградский нефтяной техникум, педагогический институт, Высшую партийную школу. Работала мастером производственного обучения, в многотиражке, областной газете, на телевидении, методистом по фольклору Дома народного творчества, в драмтеатре.

Автор поэтических сборников «Полдень», «Колыбель», «Счастливая мета» и других.

МАМАНИН КУРГАН

В трамвае расхристанно-громком
Сутулилась в тесном ряду
Старуха с дитем и котомкой —
Чужие, видать, в городе.

Спросила старуха:
— Мамаев
Не скоро ль? Уж ты подмогни...—

Дитя повторило:
— Маманин! —
Я вышла, и следом — они.

Тихонечко двинулись рядом
По тяжким высоким кругам
Туда, где исплаканным взглядом
Встречает Маманин курган.

ВРЕМЯ

Отец и мать повестки получили
И утром потихоньку-полегоньку
В военкомат явились, на собранье
Почтенных стариков отвоевавших.
Они дивились, что их меньше стало
Со времени другой такой же встречи,
Поскольку знали: время милосердно
Должно быть к тем, кто не убит войною.
Пришли домой с подарками простыми:
Мать — с теплым шарфом, а отец — с часами
И с речью молодого военкома
Про ордена из мирного металла,
Но за свершение подвигов военных.
Мол, запоздали ордена ко сроку,
Не поступили к празднику Победы,
Но как придут — сам военком приедет
И вручит их в домашней обстановке,
Так будет человечней и почетней...
Отец повесил в шкаф пиджак немодный,
Завел часы и долго слушал время,
Потом сказал:
— А нас, видать, немало,
Коль ордена не всем успели сделать...—

Отец и мать давно не говорили
Между собой о лишнем — о войне,
Но тут сказали, как постановили:
— Подорожало времечко в цене.

* * *

А кто здесь бродил, кто бывал до меня,
Что видел при вспышках ночного огня?
Красуется рядом — велик, не велик! —
И просится к сердцу цветов-чаровник.

И просится в душу тоска — не тоска,
А то, что наречь помогают века:
И нежность, и жалость, и слезы тайком,
И благоговенье пред малым цветком.

Земля!
Ты всегда до предела моя,
От света рожденья до всякого дня,
Всегда накануне рассвета и мглы,
Едина до смерти, до красной золы.

РАЗГОВОР С БРАКОНЬЕРОМ

Ты снова здесь, согбенный тать реки,
С кривыми загребущими руками!
Тебе ль важны такие пустыки,
Как звезды под твоими сапогами!

Смеешься...
Ведь по звездам ты ходил
В глухом хмелю...
Ты просыпался тяжело,
Незримый камень грудь твою давил,
Душила тиной утлая рубашка.

Ты поднимался с мохом на лице
И брел к реке вразвалочку, неспоро.
И сам не знал, в каком кружил кольце
Магарыча и тайного разора.

Он щерится:
— Не знаю, что творю?
Врешь, знаю: что от бога, то и здорово!

— Побойся бога! — тихо говорю.
Он только усмехается лукаво.

Да и какой мне чудится ответ —
Раскаянный, похожий на рыданье?
Мол, мы земля, и нам спасенья нет,
Когда к земле утратим состраданье?

Но слышу:
— Знай же, баба, наперед,
Чтоб больше человека не пытала:
Уж коли бог порядка не блюдет,
Людям мудрить и вовсе не пристало.

— Молчи, старик! Выходит, у меня
Душа полна напрасным звездным зовом
И я слепа, судьбу твою кляня,
Обманываясь музыкой и словом?

Побойся бога! Ведь и жизнь — река,
Но страшно рядом с нищею рекою
Про будущее думать, про века
Земного живородного покоя
И песню вить!
Ее простая нить
Вся из воды, листвы и пережня...
Старик, как хорошо, как вечно жить!
Пусть звездный тать хохочет надо мною...

СЕСТРЫ

Чем больше живу — тем роднее объятья сестер.
Чем больше меняюсь — тем сестры мои неизменной.
Одна, с белым бантом, в игрушечный детский костер
Сгребают листву и глядит на огонь в изумленье.

Другая сестра, со смиренной зеленой косой,
Сидит на крыльце под звездой родимого крова,
В беспечном пути за живую водою-слезой
Еще не истерты девчоночьи ноги до крови.

А третья сестра для того размыкает уста,
Чтоб милым наречь унесенного ветром навеки...
Уже она знает, что вечность — и миг, и тщета,
И все благосклонней ее умудренные веки.

Чем пуще душа устрашается дивной игрой,
Где воля — все слаще, надежды — еще привередней,
Тем грустно-желаннее встреча с последней сестрой,
И чую: она всех родимее, всех милосердней.

НА ПЕРЕВАЛЕ

Твой голос, зари провозвестней,
У темного края притих,
Где бездна взывает о бездне
Огнем водопадов своих.

Взгляни, удалец несравненный,
На грозные эти труды,
Творящие пламень нетленный
Из мрака, земли и воды!

Не так ли в немереных безднах
Мятеется душа на веку?
В утратах ее невозможных
Навряд ли найдется пустяку...

КРАПИВА

Крапива, российское диво!
Не выбить, не выжечь дотла...
Как хлеб доставалась крапива,
И вправду ведь хлебом была.

О, как впопыхах попевала,
Была, словно жизнь, дорогой:
На самом краю ведь спасала,
Над самую страшную тоской.

Давно лихолетье пропало,
Ушло, и как будто навек,
Но глаже крапива не стала,
Совсем как живой человек,

Который забыть об утратах
Не сможет до смертных корней
И душу в голодных заплатах
Все мучит, все плачет над ней...

Крапива, российское диво,
Нарочно ли кажешься злой?
Будь золкой и зоркой, крапива,
Чтоб дикие люди, глумливо
Смертельною вея золой,
Навек не сровняли с землей!

* * *

Какая радостная рань!
Тьмутаракань, луна, герань,
Зима бессонная, безмерная...
«Ты первая моя, ты первая!»

Какая каменная тень!
И я — не я, сквозная тень
Твердит, как будто суеверная:
«Я первая твоя, я первая!»

В другой дали, в другом давно
Посмотришь в зимнее окно —
Больной рассвет, погода скверная...
«Ты первая моя, ты первая!»

Своей гордыней потайной
Легко ты счеты свел со мной,
Но мучит память изуверная:
«Я первая твоя, я первая!»

ВИКТОР ГАВРИЛИН

Родился в городе Бийске в 1948 году. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени М. Тореза. Живет в городе Солнечногорске Московской области. Автор двух книг стихотворений «Листобой» и «Август».

* * *

Дорогую печаль безнадежной любви, сны и ветер,
опьянение простуд и такую нестарую мать —
этот мир неусталый в отчетливом утреннем свете
только молодость помнит. О как ей легко вспоминать!

Пустьками житейства покуда запятнана совесть.
И не камни ворочать бывшее свое ворошить —
словно сеном пахнет... Что были склеротических
повесть,
если память умеет еще не по памяти жить?!

Как легко обозреть не бескрайнюю эту дорогу.
И рукою подать до любых закоулков в судьбе —
небогатая ноша, где все перечтешь, слава богу,
а о том, чего нету, ты сам нагадаешь себе.

И в насмешливом мире, среди повидавших и тертых,
вспоминай, моя радость, с улыбкой себя вспоминай,
и слова затаи там, где слов накопилось до черта.
Ты права, моя радость, но будет и этому край.

Сколько сору еще понаносит в любую проруху,
и прошедшего реку уже не просмотришь до дна.
Вспоминая о матери, вспомнишь больную старуху —
как ее позабыть, чтобы молодость стала видна?

Вот и тяжкая ноша бывалую даль заслонила.
И несущему крест выбирать не придется пути,
и тебе остается забвенья лукавая сила —
столько надо забыть, чтобы бедную мудрость нести!

* * *

Не запомнив мая середины,
соловьев полуночных проспав,
попадаешь в летние куртины,
в зной полыни и озноб купав.

Так возрастают путанные годы,
дорогое скопище утрат,
где всего невнятной переходы
из цветенья в тихий листопад.

Не разъять летучего избытка,
незаметных дат не отчеркнуть.
И тебе, как беглая улыбка,
остаётся пройденного суть.

И в горячке фактов неподробен
этот путь нечаянный земной —
этот гром, расслышанный в утробе
облаков, проплывших стороной.

* * *

Освещу огоньком сигареты
край постели, часы на руке...
Время вносит ночные сюжеты,
проплывая в свином витке.

Проницательность желтого ока
в голубой темноте бытия
различит дуновение рока
в занавесках простого шитья.

Лунный свет — как мерцанье
экрана
и родимые лики на нем.
И родства потаенная рана
обостряется в сердце ночном.

О горячка упреков облыжных!
О любовь в неумелых руках!
И душа исказнится о ближних
и о горьких своих стариках.
И увидятся скорые сроки
поздних слез и последних
«прости»,
и зажмурится дух одинокий
от прозрения в грешной груди.

* * *

Цена судьбы — растекшись
по рассрочкам,
она смутна, как жизни полный вес.
И мир нам явлен только
по кусочкам,
где свой клочок всевидящих небес.

Сквозь бытия разрозненные щели
познанья луч едва коснись чела,
и человечья дерзость обобщений
уже по свету белому пошла.

Так и пойдём по выкладкам
кричащим
и дальней, и недалёкой стороны,
хоть сами пьем из непохожей чаши
и мало кем на свете учтены.

И взвесим мир, а не крутую
местность
осенней грязи и родных осин.
Прогрезим жизнь, зато свою
безвестность
внесем в размах надуманных
картин.

С каких небес сошли мы и иссякли,
как та капель и желоб у окна,
где нашей жизни отмерялись капли
и набежала грустная цена?!

* * *

Остановись у горя на краю,
о мать моя, — ещё остался срок
дорассказать и молодость свою
и в снах сносить старушечий
платок!

Что приукрасишь, что забудешь,
мать,
я только начинаю понимать.

Я обернусь — из прошлого дойдет
то горький запах, то печальный
звук.
Но ничего мой взгляд не разберет,
и страшно мне — о как я близорук!

Там кони ржут, и там кизячный
дым
за утренним туманом луговым.

Сойдет ли звон, блеснут ли купола,
иль на мосту раздастся стук копыт,

не обнажит слезавшаяся мгла
тот мир, где век прадедовский
прожит.

И вот уж дым забвения прикрыл
и нашу бедность дедовских могил.

Но как тоскливый и несвязный сон,
где странно живы те, кто не
в живых,
еще колдует в сердце связь
времен
и бабки молятся, но мы не слышим
их.

Но небесам замолвилось за нас,
пока огонь лампадок не погас.

Не потому ль простятся нам вины
короткой памяти?! Но все грустней
болезную наивность старины
читать в глазах усталых матерей.

И все туманней общность языка,
и все прощальней бледная рука.

* * *

На темных снах, на пробужденьях зрячих,
судьба, судьба, крепка твоя печать,
но на лице, которое не спрячешь,
ты не смогла страданье написать.

И нет раба в твоей унылой пытке,
покуда воля тяжкая дана
все заслонить гордынею улыбки
и смуту жизни испивать до дна.

До пустоты, до губельного донца,
что почернее черной полосы...
Пуускай глаза наплачутся от солнца,
чтоб о себе не обронить слезы.

Пока искрят каменья дум тяжелых,
воскурим стих, пуская сладкий дым.
Пойдем туда, где любят нас веселых,
и за любовь весельем воздадим.

И если жизнь свою не переделать
земным усилием бедного творца,
пускай встает над сумрачным уделом
хотя бы вызов светлого лица.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ



Г. СУХОВА-МАРТЫНОВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЛЕОНИДЕ МАРТЫНОВЕ

...За те четверть века, что знала я Леонида Николаевича Мартынова, жизнь его не была богата внешними событиями, богат был его внутренний мир. Его жизнь отличалась простотой быта и строгостью в выборе друзей. Многолюдные компании в доме почти не бывали. Он предпочитал встречаться с близкими ему людьми в тиши кабинета. Общение с Леонидом Николаевичем вносило в мою жизнь много нового, интересного. О чем бы ни шел разговор: об истории русского или другого государства, об архитектуре, живописи, музыке, не говоря уж о литературе — все это открывало мне новый, часто ранее неизвестный мир. Слушать Леонида Николаевича нужно было научиться, не сразу мне это удалось, нужно было привыкнуть к его манере вести разговор.

Знания его были обширны и разносторонни, подход к тому или иному вопросу, казалось бы известному, необычен, своеобразен. Он был в курсе многих событий, открытий, новых исследований в разных областях науки. Обо всем, что с его точки зрения заслуживало внимания, старался прочитать.

В кабинете Леонида Николаевича прежде всего обращает внимание большое количество книг — все занято ими, каждый уголок. Думается, что человек любой специальности сумел бы найти для себя что-то интересное. На книжных полках в виде заставок много рисунков, от детских до рисунков художников-профессионалов.

Среди книг на полках, на подоконниках, на шкафу много камней. Это не какие-то драгоценные камни, нет, это камни, найденные им во время прогулок на Ленинских горах и вокруг деревни Степановское, близ Истры, где Леонид Николаевич жил летом последние полтора десятка лет.

На первый взгляд кажется, что камни просто положены как попало, но стоит приглядеться, и станет ясно — камни составляют определенные композиции, своеобразные и причудливые: здесь «стадо слонов» разных размеров, там «ежик» стоит рядом с «совой» и «медведем», а повернув голову, видите профиль Мефистофеля... Во всем этом вновь и вновь виден своеобразный художественный вкус и особенности образного видения хозяина кабинета...

Когдаходишь в кабинет, то сразу понимаешь, что это кабинет очень неординарного, нестандартного человека. Здесь поэзия витает в воздухе!

Камни, в которых Леонид Николаевич видел то окаменелый мозг, то голову льва, то головку девочки в русском платочке (есть такой камень, который он называл «русская мадонна»), не раз вдохновляли его на создание стихотворений, но, лишь часто общаясь с Леонидом Николаевичем, слушая его, следя за ходом его мысли, зная его способность к ассоциативному мышлению, можно было предполагать, что именно они, его камни, явились толчком к данному стихотворению, в котором о камнях-то и не говорилось.

Леонид Николаевич много читал. О широте его интересов свидетельствуют закладки и пометы в самых различных книгах. Его память и особенности восприятия — особая способность, присущая только незаурядным, одаренным личностям.

В своей библиотеке Леонид Николаевич прекрасно ориентировался. Если во время разговора возникал какой-нибудь спорный вопрос, то он шел в кабинет и через несколько минут возвращался с книгой в руках. «Вот здесь», — говорил он и быстро находил нужную страницу, разрешающую спор. Он обладал прекрасной памятью.

Библиотека Леонида Николаевича собиралась не для красоты, не в угоду моде, а как потребность в знании. Вот несколько слов из его записей: «...Во все времена, даже самые трудные в материальном отношении, не мог я ежедневно не бывать у букинистов и не приобрести по крайней мере две-три книги, заходя в лавки либо в Камергерском, либо на Арбате... Я покупал подряд все попадавшие мне в руки издания поэтов 20-х годов нашего века — футуристов, акмеистов, имажинистов, как известных, незабываемых поэтов, так и забытых, канувших в Лету... Кроме поэзии и художественной прозы, я приобретал немало книг по истории, не только русской, но и польской, и чешской, и болгарской, и венгерской, не говоря уж о французской и английской. Это было мне необходимо при переводах поэзии, ибо жили мы в данное сокольническое десятилетие именно переводами...»

В жизни Леонида Николаевича было много трудностей, а поэтическая судьба его знала не только чистое небо, но и черные грозовые тучи... Одно оставалось неизменным — работа, невзирая ни на что. Он часто повторял, что нужно уметь ограничивать свои желания: «Если хочешь чего-то добиться, нельзя разбрасываться, необходимо беречь время, человеку отпущено его так мало...» Он верил в себя, в свои возможности. Об этом писал еще в молодости:

...Да будет твой путь неспокоен,
Но знай: побеждает в борьбе
Ученый,
Художник
И воин,
Сумевшие верить себе.

В его архиве нет дневниковых записей изо дня в день. Все, о чем он думал, о чем размышлял, что его удивляло, вызывало интерес, он чаще выражал в форме рифмованных строк. Эти наброски в дальнейшем могли стать началом стихотворения, иногда через много лет, хотя порой от первоначально набросанных строк могло остаться немного. Все это становится очевидным, когда разбираешь его бумаги.

Творчество было его внутренней необходимостью:

Сколько раз я говорил себе,
Что стихи писать я перестану.
Но одумывался: как же стану
Разбираться в собственной судьбе,
В непрерывной внутренней борьбе,
Отличая правду от обмана?..

В последней им самим собранной книге «Золотой запас» он еще раз сказал:



Л. Н. Мартынов.

Свои виденья записать
Мне никогда не лень,
Поскольку надо запасть
Фонд грез на черный день...

А фонд грез Леонида Николаевича был неистощим... Даже в те годы, когда его не печатали, он продолжал писать, потому что не писать не мог.

Истоком произведений Леонида Николаевича были реальные факты, наблюдения, встречи, разговоры, словом — сама жизнь. Уже много позже, когда стихи, те или иные, были напечатаны, он иногда рассказы-

И розу с розгой путающий в грезах
Жан Жак Руссо, и хмурый Лев Толстой,
В яснополянских рывшийся навозах,
Велик в своей наивности святой,—
Сейчас о вас я думаю... «Послушай! —
Вы говорите.— Посох наш пастуший
Принять от нас хотя бы только помечтай,
Ты, в пышную рядящийся одежду,
Подпасок, только мечущийся между
Овечьих стад и человеческих стай!»

НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ

Я не могу
Сказать, что я не лгу,
Но не могу и утверждать, что лгу я,
Когда терплю, не пикнув ни гугу,
Несообразность ту или другую.

Я не хочу
Сказать, что я молчу,
Но, утомлен пустопорожней речью,
Я кулаками все же не стучу
И болтунам я как-то не перечу.

Я не решусь
Сказать, что я страшусь,
Но, над собой угрюмо потешаясь,
Я не таясь скажу, что не боюсь,
На многое я как-то не решаюсь.

ПРЕДКИ

Пленительная Анна Ярославна,
Княжна моя, французов королева,
Мне не однажды грезились во сне Вы
И, знаете, подумал я недавно,
Что генеалогическое древо
Ветвится в этом мире своенравно:
Был Поль Верлен, поэт, поющий славно,
И полюбились мне его напевы.
И он скорее похож не на Сократа,
А выглядит по-скифски бородато,
И думать я имею основанье,

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА



В ПОИСКАХ АВТОПОРТРЕТА

Итак, открывается дверь, и входят десять - двадцать новых поэтов. Как, сразу десять?! — воскликнет изумленный читатель и будет в своем удивлении бесконечно прав, ибо кому-кому, а уж ему-то, любителю стихов, известно, что не во всяком столетии столько поэтов наберется, а тут, нате вам, сразу — знакомьтесь, десять...

Что поделаешь, таково наше талантливое — по части массовости! — время. Пишут, как сказал поэт, все, печатают не всех...

Ну вот напечатали. Что дальше? А дальше, если говорить серьезно, и начинается самое трудное.

В искусстве, как известно, все места заняты. И бесполезно просить кого-либо подвинуться, и бессмысленно озираясь по сторонам в поисках свободного пьедестала. Можно только прийти и занять свое место. Независимо от пола, возраста, национальности, вероисповедания, жизненного опыта. Да, осмелюсь повторить, и жизненного опыта — тоже! Сам по себе — вне категории таланта — он еще ничего в творчестве не значит. А иногда может оказаться и преградой. Знаю пишущих вполне добротные, профессиональные стихи людей, которые, перешагнув определенный жизненно-возрастной барьер, «пускаться на дебют» уже не решаются. Так что блаженно неведение молодости, прекрасен хищный глазомер молодого стрелка, явившегося в мир, чтобы победить!

Впрочем, из представленных в подборке авторов только Нину Грачеву можно назвать молодой безусловно. И только в ней одной можно ошибиться. Как в ту, так и в другую сторону. Перед нами девятнадцатилетний человек. Еще не остывшая глина, не до конца сформировавшийся человеческий материал, который, случалось в истории, и не выдерживал космических перегрузок таланта... В стихах Нины Грачевой угадывается общая талантливость, отзывчивость, свойственный возрасту обаятельный поэтический ригоризм.

Холодное презрение небес
Дороже мне, чем лицемеров жалость.
Я говорю: «Пока еще я здесь,
Пока с землю тело не смешалось.
Пока глаза наивные глядят,
Сияя блеском неподкупным, серым,
И губы нежно впитывают яд
Моей последней сиротливой веры...»

Обрываю цитату и отсылаю читателя к подборке. Самое замечательное в ней то, что поэтесса интуитивно пытается писать себя, как бы стоя перед зеркалом, такую, как есть в жизни. Это гораздо труднее, чем собственный портрет, созданный по воображению, который не может быть ни достоверным, ни пронзительным.

Вот стихи Натальи Сидоровой. Искренние, чистые, вполне честные по чувству.



Рис. А. Пахомова.

Я живу! Что радости иные?
Где букет последний соберу?
Счастье в том, что голоса земные
Слышу, просыпаясь поутру.

Тишину аккордами нарушу.
Ни одной слезы своей не жаль!
Как струну, настраиваю душу
На любовь, на песню, на печаль.

Но читаешь их и видишь, что автор смотрит на себя как бы со стороны. Не внутренним взором схватывает сущность, а как бы вписывает себя в положительный контекст жизни, природы. Такая самоотстраненность, мо-

жет быть, помогает при создании образа другого человека (в данном случае — мужчины, который, несмотря на скупость линий, получился весьма живым: «За твою беспечную жестокость вымолю прощение тебе»), но автопортрета не получается.

И стихам Ольги Денисовой, на мой взгляд, не хватает личностного, безоголочно своего взгляда на мир. Она не ощущает мир внешний как продолжение или как противовес (или и то и другое вместе!) миру внутреннему. Единственное в подборке живое стихотворение — «Как изменился этот человек». Кстати, тоже портрет некогда любимого человека. Точно по рисунку, цвету, характеру. Особенно колоритная последняя строфа, последние две строки. Это уже живопись, поэзия.

Правда в искусстве — тема большая, отдельная. Дефицит правды наряду с дефицитом «вымысла», то есть вдохновения в современной поэзии — серьезный повод для беспокойства. Не случайно, что в наши дни, когда появилась реальная возможность сказать многое, выяснилось, что многим-то и сказать нечего. Как-то Иван Драч, размышляя вслух, горестно заметил: «Щадят себя наши поэты...» Я бы сказала жестче. Самолюбование, неколебимая уверенность в собственном «избранничестве» — вот что мешает многим из нас, даже талантливым, достичь такой степени искренности и обнаженности, при которой расстояние между читателем и писателем сокращается до нуля, когда стихи поэта становятся твоими собственными стихами. Вспомним хотя бы «Рыцаря на час» Некрасова или Блока «Молчите, проклятые книги»...

«Для меня поэзия — прежде всего искусство. В этом ее обаяние; неувядаемость ее славы и ее трагизм», — писал в конце девятнадцатого века Иннокентий Анненский. Так вот, искусства, вдохновения, свежести восприятия мира молодых поэтов становится все меньше и меньше. Искусство побеждается искусственностью, имитацией, постижение жизни — ее простым описанием.

Стихи Сергея Чупаленкова, Владимира Морозова, Александра Леонычева плохими не назовешь. У каждого — буквально! — есть строчки, свидетельствующие о возможностях поэтического характера, о плодотворности попыток отыскать поэзию в прозе, в ненарочитой заземленности или бытовизме. Но окружающий мир, как афоризм, описанию не поддается, его можно постичь только изнутри, из своего мира, из опыта создания автопортрета. И в этом одна из вечных загадок поэзии.

Не хочу быть Пифией, но единственным пока состоятельным, состоявшимся внутренне, а значит, могущим состояться в целом, вижу из всех авторов только Юрия Казарина. С его стихами врывается в душу мир. Свежесть открываемой заново жизни. Дыхание эпохи, среды, ветра. То, что называется словом «своеобразие».

На этом можно, пожалуй, и закончить. Но у меня про запас есть еще хорошая цитата. «Я могу Вам сказать лишь одно: в Ваших стихах своеобразие нет, но в них сокровенно и тихо намечается что-то свое... уйдите в себя, исследуйте те глубины, в которых Ваша жизнь берет свой исток, у этого истока Вы найдете ответ на вопрос, надо ли Вам творить. Быть может, окажется, что Вы призваны быть художником. Тогда примите на себя этот жребий, несите его груз и его величие, никогда не спрашивая о награде, которая может прийти извне. Творческий дух должен быть миром в себе и все находить в самом себе или в природе, с которой он заключил союз». Это — Рильке, «Письма к молодому поэту».

Надежда КОНДАКОВА

ЮРИЙ КАЗАРИН

Родился в 1955 году в Свердловске. Работал фрезеровщиком на Уралмашзаводе. Служил в Советской Армии. Окончил филологический факультет Уральского университета. Работал преподавателем кафедры современного русского языка. С 1984 по 1987 год преподавал русский язык в одном из университетов Индии.

В настоящее время работает старшим преподавателем в Уральском университете.

Стихи публиковались в журналах «Урал» и «Уральский следопыт».

* * *

На ветер засмотрюсь, на сад, бегущий скопом,
где осень в листопад оглаживает дом.
В эпоху между пеклом и потопом
мы хорошо, душа моя, живем.

С утра скрипит от инея фрамуга —
и дышит чернозем, подножный лед круша.
А ровно в полдень к нам погода с юга
придет — и улыбается душа.

И дочь моя легко поет и горько плачет.
И мать моя несет развешивать белье.
И в пять минут меня любовь переиначит
на времена безмерные ее.

Теперь не уступлю ни пеклу, ни потопу
моей души рабочий монастырь,
мой азиатский дом с воротами в Европу
и огород с простором на Сибирь.

МАЛЬЧИК УСНУЛ ПОД ОТЦОВСКОЙ ШИНЕЛЬЮ

Близится небо мое к непогоде:
ветрено. Звезды толкутся в аду —
как заблудившийся дом в огороде —
дом, утонувший в саду.

Все еще время зовется любовью —
прямо под яблоней будет постель:
противогаз положить в изголовье,
все остальное — шинель.

Псовая цепь прозвонит за капелью —
саду дожди убежать не дадут.
Мальчик уснул под отцовской шинелью.
Может, его не убьют.

Это погода доходит до крика:
знаешь, забыться, ей-богу, пора —
и, повернувшись во сне, как бруснику,
лбом раздавить комара.

Пусть прижимается утро сырое.
Держит собака росу на цепи.
Я тебя снова шинелью накрою —
прямо под яблоней спи.

Время растянуто медленной трелью —
так соловьи напоследок поют.
Мальчик уснул под отцовской шинелью —
может, его не убьют.

* * *

Бога нет. Вот и старую церковь снесли.
Уходилась кирпичный подранок.
И теперь за деревней хватает земли,
чтоб хороший открыть полустанок.

Белый мальчик большую корову пасет
и живые грибы собирает.
И под небо кричит, и под небом поет,
и на дудочке просто играет.

Рядом голые дачники ходят на крик,
уминают коровьи ухабы.
Одноногий профессор, веселый старик,
и его нерожавшие бабы.

Белый мальчик смеется — такая пора:
снова жизнь, только в самом начале.
Значит, этот пустырь непременно вчера
навсегда полустанком назвали.

И корова жует, и растет в высоту
золотая навозная кладка...

После ивовой дудочки горько во рту.
После ивовой музыки — сладко.

* * *

Ночью проснусь и заплачу.
Сладко, легко и тепло
лето прошло наудачу.
Может быть, счастье прошло.

Все перед снегом светлеет,
ширится, смотрит в окно.
Бабушка спит и болеет,
ей тяжело и темно.

Вытащу из-под подушки,
чтобы от слез не промок,
царский, как шкурка лягушки,
красный кленовый листок.

Знают ли твердые реки
детский зимующий страх:
как засыпают навеки,
как засыпают в слезах?

ПЕВЧАЯ ЖЕНЩИНА

Ночью не холодно. Просто темно.
Есть сигареты. Светает в четыре.
В небе моем, в незнакомой квартире,
певчая женщина моет окно.

Скоро уже прояснится оно —
так по ладони гадают цыганка.
А у окна городская изнанка:
небо, завод, стадион и кино.

Новая песенка слета давно.
Лампа настольная тени тасует.
Так высоко и поет, и танцует —
вечная женщина моет окно.

Скоро до неба протрется оно —
вот почему и светает в четыре,
в небе моем, в незнакомой квартире,
певчая женщина моет окно.

Родилась в 1969 году в Москве. Окончила школу рабочей молодежи.

Стихи публиковались в журналах «Юность», «Литературная учеба», в газете «Комсомольская правда», в альманахе «Истоки».

* * *

Холодное презрение небес
Дороже мне, чем лицемеров жалость.
Я говорю: «Пока еще я здесь.
Пока с землю тело не смешалось.
Пока глаза наивные глядят,
Сияя блеском неподкупным, серым,
И губы нежно впитывают яд
Моей последней сиротливой веры,
И руки гладят кошек и собак,
Цветы срывают, вышивают, пишут,
И голова склоняется во мрак,
Как будто только им безумцы дышат...»
Слабеют ноги. Голубой каблук
Вонзается в заждавшуюся землю.
И бабочки полет, и грома звук
Я, как единое, торжественно приемлю.

* * *

Как будто надо мной огромный купол
Смешных невзгод — так жизнь моя темна,
И племя смирное больных от ласки кукол,
И взгляд живой холодного окна —
Все непрерывно, ежечасно, хрупко...
Я жду снегов шальных и молодых,
И дрогнет вера, словно незабудка,
А жизнь светлеет на ветрах седых.
Я грусть ловлю усталым ртом все ночи,
Что родились на ветреной земле.
Со мной расстаться детство не захочет,
Пока ногами я на корабле,—
Воздушном, как измученный «Голландец»...
Мне хорошо, спокойно стало жить,
И на щеках волнуется румянец,
И можно миру ночью ворожить.

* * *

Горстями листья стала я ловить,
А раньше были — ветви молодые...
Кого мне перед сном благословить,
Кого отправить в сумерки седые?
Из сумерек не выточить рассвет.
Я понимаю в первый раз, поверьте,
Что неба нет, когда и крыльев нет,
Что одиночество — превыше смерти.

* * *

Я запою печали тише...
Да снизойдет на землю мрак,
Прохладой омывая крыши
И ласточки скрипачный фрак,
И розы — белые, как щеки
Младенца, и, как тополей
Веселый пух, прозрачный, легкий.
А ты не можешь быть белей,
Чем эти нежные созданья —
Младенцы, розы, тополя.
Тебе спою я: «До свиданья!»
И темная вздохнет земля.
А после будет сон о хлебе,
Сверчков торжественный хорал.
И ты не вспомнишь там, на небе,
Под чью ты песню умирал.

СТРАХ

Я боюсь чугунных лошадей,
Мертвых голубей и черных кошек,
Молчаливо-пристальных людей
И кладбища, где цветет горошек.
Там большие высятся кресты —
Белые, как снежные сугробы.
Я боюсь чугунной пустоты,
Мертвой красоты и черной злобы.
Теплится на столике свеча,
И заснуть мне не хватает мочи.
Я боюсь чугунного плеча,
Мертвого луча и черной ночи.
Да, бессонным — страх такой не нов.
Да, увижу утром — мир чудесен.
Я еще боюсь чугунных снов,
Мертвых слов твоих и черных песен.

* * *

Путник, заблудившийся в пути,
Должен обязательно идти.
Если страх и темень впереди,
Если сердце ласточкой в груди,
Если под ногами ночь до дна,
Если нет ни одного окна
и ни огонька...
Но все равно,
Пусть ему привидится окно.

ФАНТАЗИЯ

Чеканные профили древних владык,
Они предо мною усмешкой и блеском,
И женщины фото, графический лик
Обычен, как женские лица на Невском.
Обычен...

Металла холодная чернь
Глядит из ладони разводами крови.
Сквозь тысячелетья в сегодняшний день
Явилась прекрасная женщина Трои.

ИДИЛЛИЯ НА ТЕМУ ДЕРЕВНИ

Славилась коромыслами
Березовыми резными,
Наличниками смолистыми
И вышивками цветными.
Домами — все пятистенными,
Роднею на семь дворов,
И мужиками степенными,
И бабами — будь здоров.

* * *

Летопись славянской старины
Черные иконы вдоль стены.
Тлеющий лампадный уголек
Сквозь глаза иконные пролег.
И полосы света у дверей
Чертят красногрудых снегирей,
И часовню с контуром резьбы,
И деревню до моей избы.

* * *

Нынче окуни прямо с Ладоги
В ванной плавают. Плавники
От фонарика — цвета радуги
И таинственны.

От тоски

Утром выберу в банку, в сеточку
И автобусом до Невы.
Вам привиделось небо в клеточку.
Плавниками. И — таковы.

* * *

Собираю кленовые листья,
Словно бы прошлогодние мысли.

И от холода — только зримее
Угловатые лета линии.

Рыжей прелости очертания:
Не сложение — вычитание.

* * *

Вороны воли — не смертью живущие птицы,
Вовсе не птицы, а души в просторе предзимья —
Вон у околицы колетса лед половицей,
Черными ветками лапок истоптаны ершики инея.

Все изначальное.

Даже у черной смородины
Снежные варежки вязаны в тонкую нитку.
Белое небо

вливается за огородами

В белое поле —
И образует улыбку.

* * *

Пару карасей захомутал:
Золотых, похожих на металл,
Но живых... И детская рука
Отпускает запросто малька.
Вот он поскользнулся на воде,
Словно на литой сковороде.
Несмышленный, юркнул в зелень дна.
И легко вздохнула тишина.

НАТАЛЬЯ СИДОРОВА

Родилась в 1953 году в Вологодской области. Окончила среднюю школу. Участница VIII Всесоюзного совещания молодых писателей. Автор поэтического сборника «Слышу ветер». Стихи публиковались в журналах «Смена», «Север», в газетах «Комсомольская правда», «Советская Россия».

* * *

Пускай судьба опять обманет
За то, что верю в чудеса,
И песня петься перестанет.
Но неизменны небеса!
Среди вражды, житейской смуты,
Где только чудом не сгорю,
За безжеланные минуты,
За тишину благодарю,
За то, что в сердце уместилось,
Как сладкий вздох «благовослови!»,
Как утешение, как милость,
Пространство, полное любви.

* * *

Ни врагом, ни другом ты мне
не был.
Так зачем под грохот майских
гроз
Все, чем ликовало наше небо,
Ты, смеясь, в глазах своих унес?

Мечутся, отчаянно, печально
Ночи, потерявшие покой,
Словно крылья бабочки, случайно
Сломанные детской рукой...
Выстрадаю утра светлоокость,
Вытерплю, покорная судьбе.
За твою беспечную жестокость
Вымолю прощение тебе.

* * *

Любовь моя — белая птица —
Молчала, не пела давно,

Устала в темнице томиться,
И я отворила окно.

Взлетела, кружила, звенела,
Тонула в сиянии дня.
Все ближе быть к ней я хотела —
Все дальше она от меня.

Какие капканы и сети
В пути ожидали ее!..
О, знала б я горести эти,
Застыло бы сердце мое!

* * *

Где наша тропинка кочует,
Повсюду трава-лебеда.
Как зверь, чье-то счастье почует,
И около бродит беда.

И снова меня ты не встретил.
Коса развилась по плечам...
Вдруг плач мой подслушает ветер,
Не даст тебе спать по ночам?!

Будь стон мой заглушен грозою!
Пусть взгляд мой окутает мгла,
Но только б кипящей слезою
Я сердце твое не прожгла!

Объятая тайною мукой,
Цветы собираю, смеюсь...
Пусть плачут дожди над разлукой.
Любимый! Я плакать боюсь!

* * *

Из мглы безверья, ниоткуда
Что может счастье предвещать?
Как день без солнца, жизнь без чуда
Не может душу освещать.

Не потому ль среди разлада
С непостижимой высоты,
Как обещание награды,
Слетает властный зов мечты?

И если звезды угасают,
Шепча: «Судьбе не прекословь...»,
У края пропасти спасают
Надежда, вера и любовь.

* * *

Я живу! Что радости иные?
Где букет последний соберу?
Счастье в том, что голоса земные
Слышу, просыпаясь поутру.

Тишину аккордами нарушу.
Ни одной слезы своей не жаль!
Как струну, настраиваю душу
На любовь, на песню, на печаль.

Пусть же эта музыка живая
Плещется в груди моей, пока
Капелька росы дрожит, сверкая,
В чашечке прохладного цветка!

* * *

Дорога кроется во мгле,
Но в лужицу звезда глядится!
Зачем на солнечной земле
Мне было суждено родиться?

Я знаю свет, я знаю тень,
И сладость слез, и горечь меда,
И как порой бывает день,
Который значит больше года.

Я — капелька, но целый мир
Во мне умеет отразиться.
За жизнь, за этот горький пир
Смогу ль достойно расплатиться?..

АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ

Родился в 1946 году в Москве. Окончил Московский авиационный моторостроительный техникум, машиностроительный институт, Литературный институт имени А. М. Горького. Работал фрезеровщиком, конструктором, научным сотрудником, преподавателем техникума, служил в армии на Чукотке. В настоящее время — инженер-технолог. В 1975 году был участником Московского совещания молодых писателей. Публиковался в журналах «Юность», «Знамя», «Студенческий меридиан», в коллективных сборниках и газетах.

* * *

Этой ночью снова не усну
И увижу плечики худые,
И ремни, и лица молодые
Женщин, уходящих на войну.
И услышу, как товарняки
Каждой щелью втягивают дали...
И доскажет жжение строки
То, чего глаза не увидали.
В затемненных комнатках — огни...
Женщины ни в чем не виноваты!
Но беда приходит, и они —
Если не солдатки, то солдаты.

* * *

Старый дом с тополями, который
Наше скудное детство украл,
Старый дом, костылями подпорок
Навалившийся на тротуар,

Старый дом, что, покинутый
всеми,
Возле сквера стоял, недвижим,
Старый дом, чьи повыбиты семьи,
Старый дом возле Кировской —
жив.

Он приходит ночами. На бревнах,
На подпорках его — седина,
И живут в коридорах неровных
Одиночество,
Осень,
Война...

Для чего, мудрец, ты пишешь
Изречения на песке?
Ты детей своих не слышишь,
Что зовут тебя в тоске.

Ты жену коришь жестоко
И не слушаешь ответ.
Ты стоишь спиной к востоку
И твердишь, что солнца нет.

У тебя сухое сердце
И высокое чело.
Стань же мудрым — вспомни
детство

И сломай свое стило.

К МУЗЕ

Я искал тебя, гордая, всюду,
И судьбы разорвал я кольцо:
Раз увидев, уже не забуду
Освещенное сердцем лицо.

Ты глядишь из потемок былого,
Из нетленного «Слова» глядишь.
Ты со мной непреклонно-сурова,
И грозна твоя кроткая тишь.

Не простила ты мне суесловья,
Легковесных признаний в любви.
Ты сказала: «Пиши только

кровью»...
Погляди же — все сердце в крови!

ОЛЬГА ДЕНИСОВА

Родилась в 1958 году в Ижевске. Окончила биолого-химический факультет Удмуртского государственного университета и спецфакультет при Ленинградском технологическом институте. Работает инженером по охране окружающей среды ПО Удмуртлес.

ГОРОЖАНЕ

По новым и старым дорогам
в зеленых лучах фонарей,
к назначенным вовремя срокам,
сквозь бездну стеклянных дверей

бегут — и над ними дымится
полнеба, но их не пронять.
Им нравится вместе толпиться
и время наивно сверять.

* * *

На болоте — дикие утки,
под ногами — мшистые кочки.
А в руке моей — незабудки,
незатейливые цветочки.

Мне бы выбраться из трясины,
я бы сделалась легче пуха.
Дошагаю до той осины.
Там, наверное, дальше — сухо.

Там под солнцем — другие травы,
незабудки цветут дружно.
Там понятнее, проще нравы.
И собой дорожить не нужно.

* * *

Как изменился этот человек!
Как постарел, как шутит несуразно!
Как пристально из-под тяжелых
век
глядит и говорит однообразно.

То сигареты с шиком достает,
то прячет их в карманы суетливо.
То яростно кривит в усмешке рот,
то тянет окончания лениво.

Плюется, кашляет и пробует
закрыть
воротником небритый
подбородок.

И я не знаю, как мне оградить
его от этих жалких загородок.

МЕСЯЦ

Прекрасен, я вам говорю, прекрасен!
В ущербности своей он ликом ясен.
Он дарит свет, не требуя награды,
его не утомляют наши взгляды.

А он за тучку спрятаться бы мог —
не так уж много сбившихся с дорог.

СЕРГЕЙ ЧУПАЛЕНКОВ

Родился в 1950 году в Москве.

Работал слесарем, сборщиком, библиографом, выпускающим, редактором. В настоящее время работает в научно-исследовательском институте.

Окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

Печатался в альманахе «День поэзии».

* * *

Был мною задуман однажды
на глине замешенный день,
и прожит, и поднят отважно,
как будто горшок, на плетень.

Но злая соседская кошка
(костей и коварства мешок)
смахнула, конечно, нарочно
хвостом своим наглым горшок.

Вот так он и хлопнулся оземь!
Однако не будем грустить:
придет благодатная осень,
и примемся глину месить.

* * *

С моря Белого к морю Черному,
заблудившиеся во времени,
шли звериной тропой крученою
три бродяги без роду-племени.

Острова забыв Соловецкие,
затянул один молодецкую.
Засвистал другой — соловьем в кустах.
А как третий стал — всем врагам на страх.

Сухари со слезой соленую
запивали росой студеною.
Припеваючи версты мерили.
Кто их знает там, во что верили.

Долго, скоро ли — все кончается,—
вышли из лесу, как острожники.

Камень во поле возвышается,
а за камнем тем — три
дороженьки.

Пригорюнились. Табак вынули.
Помолчали, и — на три стороны.
И пропали все. Так и сгнули.
Прокричали вслед что-то вороны.

* * *

Большая Ордынка, положим.
Допустим, что атомный век.
О как дерзновенно по лужам
трехлетний идет человек!

Подвержены вечным заботам
в апреле, но в тысячный раз
искусство хождения по водам
смущает доступностью нас.

* * *

На дворе трава,
на траве — дрова.
Ты опять права:
все — слова, слова...
А метель мела,
как сирень цвела.
От любви — зола.
Все — дела, дела...

* * *

Как моя сума —
переметная.
А в суме — судьба
перелетная.

Вдоль судьбы — звезда,
хлеб да соль.
Да твоя слеза.
Вот и все.

* * *

Звезд насыпало — аж вот так! —
сквозь небесное решето.
— Как зовут тебя?
— А никак.
— Кто ты есть такой?
— Да никто.

В поле — сто дорог и одна.
И любовь одна не причуда.
— А куда же ты?
— В никуда.
— А откуда ты?
— Ниоткуда.

У костра присядь моего.
Подведен итог и черта.
— Что ты ищешь здесь?
— Ничего.
— Что оставил там?
— Ни черта.

На заре журавли, трубя,
в омут канули голубой.
— От кого бежишь?
— От себя.
— А за кем бежишь?
— За собой.

ОСЕНЬ ПОД МОЖАЙСКОМ

Я в мозолистые ладони
голубой воды набирал.
Я купался в реке Искона
и усталых коней купал.

Вдоль России текла Искона.
Вдоль России дожди текли.
Вдоль России скакали кони —
голубые кони мои.

ВЛАДИМИР МЕНЬШИКОВ

Родился в 1953 году в старинной деревне Кевроле Пинежского района Архангельской области. Служил в Советской Армии. Окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена, факультет истории. Преподавал историю и обществоведение в очно-заочной школе Волховского района Ленинградской области. Работает киномехаником. Участник 18-й региональной конференции молодых литераторов Северо-Запада. Стихи публиковались в сборнике «Уроки правды».

СТАРАЯ ЛАДОГА

Из скворечника крепости, как ненормальную,
Как не знавшую меры, морали и чистых высот,
Птицы русские выгнали птицу норманнскую,
Но она подлетает, кричит и тревожит народ.

Церкви скорбно-сутулые, вовсе не милые,
Тонко чувствуют время и знают Отчизны дела,
Гордо терпят, не просят миллионную милостыню,
Чтоб могли воссоздать поскорее кресты, купола.

Я не стар. Мои волосы темны и включенны,
Но когда их покроют года серебром седины,
Будут ли купола у церквей позолочены
Иль останутся нищенски ржавы, бесхозно-мрачны?

Есть трагичность, но сколько в округе невинного!
Непорочны, правдивы на фоне церквей мужики.
Вижу древний причал и курганы былинные,
Вижу женскую прелесть России в изгибе реки.

В ПРИГОРОДНОМ ПОЕЗДЕ

Из Волхова я направлялся в Тихвин.
Купе, как маленький читальный зал.
В уединенности, рассветной, тихой,
Брошюрку Лихачева я читал.

Писал он о России, об истоках,
Сердечно возвышал простой народ.
В купе ввалились голосисто тетки,
Высоких мыслей был нарушен ход.

Как будто поезд мысли остановлен
Налетом австралийской саранчи.
Заговорили тетки про обновы,
Про сено, про чернику и харчи.
Помыли в баньке разговора Шурку,
Хлестая вениками языков.
«Оставить, что ль, открытою брошюрку,
Направиться курить? И был таков?»
Сидел, молчал, привыкнул к слову «тама»,
На стыке рельсов — дрогнула душа.
«Детдомовец меня звал: «Мама, мама»,—
Всплакнула тетка, годы вороша.
Мне по брошюрке беленькой знакомо,
Что русская натура широка.
Бежали из небесного детдома
За поездом сироты — облака.

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сейчас работаю киномехаником.
(Мне нужно время, чтоб писать стихи)
На узкой пленочке, на маленьком экранике
Показываю крупные грехи.
Заказывают мне на предприятиях
Кино по дисциплине, по ГО.
Меня встречает гегемонов братия
Раскатистым, насмешливым: «Го, го».
Я покажу кино про алкоголиков
И о бескрайней русской пустоте.
А сам у аппарата, словно голенький,
Хотя стою почти что в темноте.
Стыжусь себя не за получку жалкую,
Противно то, что перед мужиком
Стих подменил кинокартинкой яркою,
Что выражаюсь киноязыком.
Пора бесстрашно «Украину» выключить,
К экрану выйти и читать стихи,
Чтобы в глазах мужицких ярко высветить
Все их простонародные грехи.
Где сил мужицких раздобыть привратнику,
Чтоб перед ним затрепетала ночь?
Как голенький, стою у аппарата.
Собрать манатки? Удалиться прочь?

СУББОТА

Природа примерила желтый платок,
Завязывать узел не стала.
Ну как с отложеньями лета, браток,
Припас ли картошки и сала?

Вопрос о запасах встает в полный рост,
Хотя в зимний холод не верю.
Прицеплен проблем удлинившийся хвост
Тугой перестроечной дверью.

Теперь с каждым днем ниже столб-пьедестал
Осеннего пышного солнца.
Вчера у продмага на цыпочки встал,
Глядел в смотровое оконце.

За мною стояло людей — сотни две,
Все ждали — картошки, картошки.
— Пойдите, товарищи, на голове
Немножко, немножко, немножко.

Так легче свои языки прикусить...
Опять на кого-то охота
По старой занудной привычке взвалить
Осенней субботы заботы.

В ДОЖДИ

На моторке из-под черного моста
Выскочить навстречу солнцу, ветру,
Воскликая: «Здравствуй, красота!
Отпустите, кляузы, наветы».

Дождь идет. И как в мешке большом,
Сером, беспросветном,—
тихий город.

Почему на кухню я пошел?
Знаю, что компот невкусен, горек.

В холодильнике у нас лежит
Снежная, торт-жественная книга,
В книге все написано про жизнь
До последнего земного мига.

Нет ни снежных и ни летних книг.
Нынче обвинила книжка книжку.
Заикнулся про «последний миг»,
Чтоб на кухне разжигать страстишки?

Кружит стрелка комнатных часов,
Словно тонкий палец у височка.
Дверь не закрываю на засов:
Громяхнет пускай весенней почкой.

Родилась в 1964 году в Москве. Окончила философский факультет МГУ, печаталась в журнале «Юность», «Октябрь», в альманахе «День поэзии».

* * *

...А жизнь приходит в эту жизнь
всего на время
Охапкой синего костра
большой сирени.
И лишь бы искренне пробыть
на этой грани,
Я принимаю беды все,
беру заранее.
Как трудно понимать слова,
хранить им верность.
Чуть-чуть наступишь — и уже
хрустит поверхность.
Я никогда не буду лгать,
не в этом дело.
Уже успела полюбить,
уже успела...

* * *

Хорошо, что в жизни так.
Только так — и не иначе.
Я об этом не заплачу
В более тугих летах!

И пускай мои друзья
С быстrokрылыми ногами
Все, чего забыть нельзя,
Режут острыми коньками.

Как веселое жулье,
Мы пируем и кочуем.
Наше прошлое — жилье.
Где мы изредка ночуем!

* * *

Снегопадом — этим бунтом! —
Утонув в его тени,

Обезглавлены как будто,
Будто страхом взметены.

Ты нажми дверную ручку —
Реку вечности даря.
Ветер,
ветер,

ветер скручен
В моего поводыря.
По изглоданному снегу
Пробираюсь, словно вор.
Между голодом и небом
Есть какой-то договор,
Между крутизной предметов —
Застигающих врасплох...
Канет, канет без ответа
Мой вопрос,

мой миг,
мой бог.

* * *

Боже! Что я говорю?
Брежу, плачу, внемлю.
Срыв,
 разрыв
 ударом в грудь
Повалил на землю.
Мне не нужно ничего.
Вместо сердца — деготь.
Отчего ж теперь его
Пальцем не потрогать!
Ты крошишься из века в век
Без разлада,
 боли.
Булькать кровью — человек
Ненормальный, что ли?
Кормчий сам себе
 и курс,
И пороки зорче.
Остальное будет пусть
Равносильно порче.
Грубошерстно облепясь,
Собираясь в крохи,
Не расходовать себя
На слепые вздохи!

* * *

Воздав восторгу
 и пороку,
И счастья синему грачу,
Еще до окончания срока
Назад,
 назад поворочу.
В гигантской слепоте метели —
Когда зима идет на спад —
Мы все любили, и хотели,
И хорошили в снегопад.
И словно от внезапной жажды,
Меня выраженья глаз,

Вдруг, из-под ног уйдет однажды,
Уйдет земля в последний раз.

Уже ни шороха, ни всхлипа,
Разглажена дорога в ад.
И здесь дрожит разгадка — либо...
Здесь начинается распад.

ГРОЗА

Ты в глубине ручья
Буксуешь по колено.
О, как ты горяча
И как обыкновенна!
Как в винных погребах —
Напор земли и влаги
В деревья нагребла —
Чтоб выбросили
Флаги!
Чтоб обнялись мы вновь,
Когда нас жизнь очертит
За бренность, за любовь —
И этим обессмертит.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТЕ

Камня битого уколы,
Жарко — что и говорить.
Это скоро,
 очень скоро
Можно будет повторить.

Кровопийца и ворюга,
Плачет, хрюкает волна.
Засоренность этой вьюги
Вся оплачена сполна.
И отечество — в сугробах,
Утепленное жилье.
И гуденье насекомых —
Чтобы жизнь брала свое.
Я не выношу проклятий,
Плохо их переносу,
Я могу тебе поклясться,
Что пока еще дышу.

ГЕОРГИЙ ЧХЕИДЗЕ

Родился в 1955 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор двух пьес. Стихи публикуются впервые.

СПОР

Ты встретил умирающих, я — новорожденных...
Ты судишь по ним о любви, о ненависти, о назначении
всего сущего, полагая, что тот, кто лишился страстей,
освобожден от балласта пристрастий
и кабалы заблуждений
и равен в своей осмотрительности Аргусу,
этой вечно бодрствующей системе надзора
за дерзновенными.
Ну что ж... Вечное бодрствование — это аргумент
посильнее вечной неиссякаемости жизни...
Но я оспариваю это. И ставлю младенческий крик
превыше знания
об исходе нашего соперничества,
превыше мысли о неизбежной расплате
за дар жизни и юношескую самонадеянность.
И свято верю в недостижимость
этой еще неизреченной боли,
огласившей твой беспристрастный мир
безрассудно-требовательным призывом.

ОТВЕТ

Забудь о совершенстве, недоступном тебе,
и тебя не будет беспокоить твое несовершенство,—
учит водоросль, пережившая всех.
Будь проще! Довольствуйся малым!
Не выкобенивайся! —
вторит устрица со дна своей винтообразной раковины.
Обогащайся, предварительно посадив язык на цепь,—
добавляет червь,— и тебе гарантирована
твердая будущность.
Сколько заповедей, пророчеств, назиданий
выслушано тобой, человек...
Сколько толкований и мертвописи, всегда дарующей
успех,
прошло перед твоими глазами...
А ты так и не избежал страданий.
Кто же ты — сатир или неукротимый слепец?
Начетчик или Самсон с остриженными волосами?
Искушенный стратег или пересмешник?

...Нет, ты из тех, кто не отвечает на вопросы,
но устремляется ввысь,
словно ангел, затосковавший по родине.

ГОРДИЕВ УЗЕЛ

Он его не рубил. Не рассекал. Не превращал в крошку.
Доверившись не мечу, но разуму, полководец,
как утверждает Плутарх, его ловко распутал.
Кому же были нужны химеры о рассечении?

Кто и почему
вздумал врать о превосходстве дикой силы
над изобретательностью,
ортодоксии над загадками жизни?
Что воодушевляло лжеца? Вздорность,

тоска по насилию?..
О, мозг посредственности, уткнувшийся

в неразрешимость,
ты не так прост! Ты — мастер поэтической метафоры.
Недаром твои легенды, гуляя по свету, до сих пор
вербуют сторонников.

Твои принципы, обретая плоть, ложатся, словно
булыжники
в лапу охотнорядца, в основу лаконичнейшей
философии,

гласящей: «Найди и уничтожь несогласного!»

Радикальность — символ твоей веры.

Ты прав везде и всегда.

...Но и тебе не избежать горькой участи
тобою рассеченного узла.

О, непререкаемый гордиев узел!..

ИСКУПЛЕНИЕ

Итак, распродажа недвижимости — антиквариата

духа, в обиходе именуемого зверством.

Уникальнейшая операция!

Аукцион, на котором цены не повышаются,

а падают в зависимости от количества претендентов
на искупаемый товар.

Процесс над мертвецами, уже понесшими высшую
меру,—

ненависть и восхищение современников.

Кого же больше?

Приговоренных к жизни или к забвению?

Раскаявшихся или закупивших старый реквизит?

Истцов или ответчиков, вечно меняющихся ролями?

Не знаю. Но уношу свои обиды с собой,

не требуя за это вознаграждения.

ОЛЬГА СОКОЛОВА

Родилась в 1952 году. Окончила Московский полиграфический институт, факультет журналистики. Работает редактором в институте. Публикуется впервые.

* * *

Лев принимает позу сфинкса,
но он не сфинкс,
всего лишь лев...
И этим интересен он для дев,
и мог бы сильным быть врагом,
но есть черта чужая в нем —
на кончике его хвоста
смешная кисточка случайно
завита!

Он так же уязвим, как все мы,
и нет предела этой теме...
Но чем писать тетрадку за
тетрадкой,
я выскажусь предельно кратко:
«Ты присмотришь внимательней к
врагу,
пока еще не сделал из него
рагу!..»

* * *

Один портной рубашку изобрел,
другой — манишку,
и так по-разному, бывает,
пишут книжку...

Так все у нас по-разному бывает...
Кто знает отчего, быть может,
кто-то знает?

И чередуются замедленно,
с тоской
и чистый зимний снег,
и грязный снег весной.

Так жизнь идет —
все грустно и знакомо,
как песни первые любви,
не знавшей дома.

Как очищает боль!
Как освежает снег!
Но души детские срываются
от самых первых бед!

И мальчики по улицам идут,
идут навстречу, губы сжав заране,
и вместо боли — злость,
и грязи горсть в кармане!

Но не всегда находит зло приют
для нег,
ведь все по-разному читают и
мечтают,
одежду, кстати, тоже выбирают
и убирают в марте грязный снег...

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Мне дали чужого ребенка,
четыре билета в кино,
шепнули: «Продашь два у входа
и купишь воды с эскимо».

И я согласилась, подумав,
мне денег хватало в обрез —
на сладкую воду с сиропом,
пломбир и еще на проезд!

А после сеанса, гуляя,
сама и не знаю, за что,
внезапно купила мальчишке
совсем неплохое пальто.

По лестничным гулким клеткам
потом пронесла и сдала
и то и другое соседкам
и мирно домой побрела...

Пришла и стояла под душем,
ну чем не тепло, не житье?
Звонок телефонный нарушил
зачем-то мое забытье!

«Ну, как ты, уже отдыхаешь?
Подарки нам стала дарить!
У нас замечательный мальчик!
Пора бы своих заводить...»

Наверно, тебе одиноко,
ну, ладно, не плачь, не грусти,
ты можешь в субботу на елку
его отвести к 10-ти!..»

* * *

Жить вредно,
курить — нельзя,
пить тоже...
Нужно дышать по системе

сложной!

Рот — не разевать
налево-направо,
а то в него налезет
отрава!
Фильтры поставлены только
в носу —
я воздух носом сосу.
Так и живу вопреки интересам —
борюсь со стрессом,
слежу за весом.
Только из кровати —
сразу за зарядку!
Зато все в полном порядке...
Бодрость и легкость,
чуть не летаю,
так и витаю под облаками!
Земля дорогая держит, конечно,
но в целом
я развиваюсь успешно!

* * *

Чаще ешь салаты,
реже жуй конфеты,
не дыми нахально
в небо сигаретой!

Для народа нет природы,
есть земля родная...
Вспоминай всегда об этом,
даже отдыхая!

Вот сидишь ты важно,
водку попиваешь,
выпьешь одну рюмку,
два раза икаешь.

Для тебя и воздух,
и леса густые —
не сори бумагой,
банками пустыми!

Стыдно человеку
быть должно и страшно,
что ландшафт волшебный
мусором украшен.

Стыдно и обидно,
если он уходит,
а в полях жестянки
грудами восходят...

Вы сидите рядом,
девушка — с конфетой,
ты дымишь нахально
в небо сигаретой!

Биоробот земных высот,
тебе посвящаю стих этот!
Вспомни, что ты сотворен
по высшим, небесным проектам...

* * *

Как живет она на свете,
как она не устает? —
Телевизор каждый вечер,
каждый месяц, каждый год!

Не читает, не мечтает,
не танцует, не поет —
как придет, экран засветит
и жует, жует, жует...

ОЛЬГА КУКСИНСКАЯ

Родилась в 1957 году. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Работает редактором в научно-исследовательском институте. Печатается впервые.

СЕНТЯБРЬСКИЕ ХОЛОДА

Осенний лес, туманный лес,
прохладный, мрачный, до небес.
Он, как печальный сенбернар,
прекрасен в сентябре и стар.

* * *

Как тяжелы слова любви,
немыслимы и перевозданны.
Так вдруг забившие фонтаны
рискуют землю затопить.
Так безмятежный небосвод,
вдруг разразившись снегопадом,
возьмет и мир перевернет.
Молчи, прошу тебя, не надо.
Не надо их произносить.
Светает за окном. Усни.

* * *

Зима. И все — в снегу:
и чувства, и река,
туманные дома
на дальнем берегу.
И если нарекать,
забвеньем нареку.
Зима. И все — в снегу.

* * *

Осторожно, листопад.
Листья по ветру летят.
Это — предостереженье,
это — осень, это — спад,
это — речи не попад,
это — встречи наугад,
настроенья.

Верно знаю, наизусть,
все равно не отрекусь.
Будь, что будет.

Будет долгая зима,
будет кто-то, но игра
изощренного ума
все погубит.

* * *

Подует ветер перемен
и принесет с собою праздник,
омоет, освежит, раздразнит
и разорвет привычный плен.
Подует ветер перемен.

Дрожь телефонного звонка
меня охватит ненапрасно,
предвосхищая голос страстный,
охрипший от весны слегка.
Дрожь телефонного звонка.

И жизнь окажется проста,
как яблоко, как откровенье,
словно ребенка пробужденье,
прекрасна и на вкус — остра.
Вдруг жизнь окажется проста.

ДЕКАБРЬ

В полпятого уже темно.
В тяжелых сумерках окно,
притягивая, охлаждает
мой лоб, мою ладонь, увы! —
не охлаждает головы,
не облегчает, не спасает.

Вот снег пошел — все отбелил.
Зима как чистая страница:
жизнь может сбыться иль
не сбыться.

На взлете лестничных перил,
безумно шатких, кружевных,
останется моя перчатка.
Бог даст — все обойдется

гладко,—
была зима, и нет зимы.

НИКОЛАЙ РЕНДАКОВ

Родился в 1956 году в Карелии. Окончил Псковский индустриальный техникум. Служил в рядах Советской Армии. В настоящее время работает электриком и учится заочно на филологическом факультете Северо-Осетинского государственного университета.

ОТВЕТ

Жнивье, осока, черные кусты,
Последние засохшие цветы,
С небес течет осенний ровный
свет,
И голос из полей: «Дороги нет».

Уходят люди по сырой стерне,
И недруги с друзьями наравне
Не слышат голос и уходят вдаль.
В следах вода застыла, будто сталь.

И ты недавно горизонт дерзал,
Но этот вечный призрак
ускользал —

Ты думу думал о Добре и Зле —
Ответ звучал по всей твоей земле:
Земля проста, и ничего в ней нет,
Что этот ровный не приемлет свет.

СОН

Спала. Движеньем тонких губ,
Почти невидимым, капризным,
Ты говорила будто: сон
Есть только продолженье жизни.

Спала. Но даже чья-то тень
Тебя тревожила реально.
И волос легкий на виске,
Не зная сна, дрожал печально.

НА ОЗЕРЕ

В бесформенных бликах вечерних
За тонкой стеной тростника
То сосны видны, то видны облака,
То их величавые тени.

Так все здесь спокойно и чисто,
И взгляда ничто не тревожит.
Всплывает туман осторожный
Над берегом низким и мшистым.

И что самолета рожденье?
Его одинокий полет
Лишь точка в движении вод,
Лишь тихое в небе гуденье.

Но дрогнет секундная стрелка,
И времени ход возрастает,
И в сердце опять проникает
Дыханье последнего века.

НАТАЛЬЯ СЕРЕГИНА

Родилась в Москве. Окончила Московский государственный университет. Работает научным сотрудником в МГУ.

Печатается впервые.

* * *

Не срывая, упав на колени,
Долго нюхать пушистые травы.
Не от лени, мой друг, не от лени,
Не от скупости, не для забавы.

И рассматривать долго фиалку,
И поправить мышинный горошек,
И спасти неразумную галку
От худых и прожорливых кошек.

И погладить цветочек кудрявый,
И проникнуться волей и песней,
Что считает наш бор синеглавый
Самой вечной из жизни окрестной.

Попытаться играть со шмелями
И отдернуть испуганно руку.
Нам бы жить здесь с тобою годами,
Постигая лесную науку.

МАЛЬЧИКУ, ПИШУЩЕМУ НА ПАРТЕ

Кричат коты,
Кричат из марта,
Когда исписанная парта
Не находила нужных слов.
И потому мы вырезали
Те строчки, что вдруг вылезали

Из самых девственных основ.
Вот и пример — «парад ослов».
Мы умножали так богатство
Нешкольных слов.
Святое братство —
Святое творческое братство —
Писателей-учеников!

* * *

В. Д.

Не знала радостей. Увы,
Жила я в формульном футляре.
Но вам спасибо! — Быстро вы
Меня среди формул отыскиали.

Надели фартук и халат
И в руки дали поварешку.
И вдохновенней во сто крат
Я воспеваю просто... ложку!

БУДУ ЛИ?

Буду ли на рынке, Черемушкинском рынке,
Сидеть я за прилавком, платочек по старинке?

«Луковичку, луковку! Покупайте луковку!
Луковку нарцисса. Не найдете лучше!

Дай-то, бог, хоть луковку мне продать.
Будет что сыночку передать.

А продам все луковки — заведу собачку —
Желтую копилочку, новую собачку.
Сыну — на машину дам большую пачку.

Не пройди, миленок, милый мой сыночек!
Купишь мою луковку — бог пошлет вам дочек,

Добрых и заботливых, милых и красивых.
А не купишь луковку — будешь сиротливо,

Будешь ты на рынке, Черемушкинском рынке,
Сидеть за прилавком, трубка по старинке».

* * *

Не успели мы заметить,
Как каштаны отцвели.
Заклинанием о лете
Мягкий пар сырой земли.

Лете будущем. Немного
Ждать нам и тужить:
Холод минет. Вот дорога —
Надо просто жить..

Шорох крыльев тише, тише.
Королька косящий глаз.
Еще раз хочу услышать
Песню. Только раз!

Застит окна усатым плющом
Прежним девкам — солдаткам
и вдовам,—
Что остался один оболыщен
И улыбками их околдован.

* * *

Смеркается. Холодно. Ломит
Запястья. А там, где обрыв,
Темнеет и крутится омут,
Солому и сор утащив.

Так солнечно было, так много
Тепла на лугу и в лесу.
Но вышел туман на дорогу
И держит дома на весу.

Что ж сердце не хочет мириться
И маяться ночь напролет?..—
В кустах запоздалая птица
Дневные песни поет.

СТАРУХА

Языки подорожников сухи,
Неподвижный овес еле жив.
Среди бревен присела старуха,
Узел рук на колени сложив.

В деревенском платке конопатом,
В черном платье — уже
городском.
Заслезившийся глаз —
необъятным,
Древним горем куда-то влеком.

И одета она, и обута,
Не грозит ей сума. Но, свою
Ощущая вину почему-то,
Перед этой старухой стою.

Сколько было неправды, разрухи
(Кто в родне ее сгинул? убит?),
Столько брали всего у старухи,
Столько ей возвращали обид!

И душа моя, словно пустыня,
И не петь ей, и не расцветать,
Если боль, одинокую ныне,
Как свою, не сумеет впитать,

Если только не связана кровно
С колеей в розоватой пыли,
Со старухой на бронзовых
бревнах —
С этой вечной печалью земли.

Потому что душе невозможно
Не касаться ушедших тревог.
Так зализывает подорожник
Пересохшие струпья дорог.

* * *

Ты, светило ромашки строгой,
Предназначенной только любви,
На любовь меня — на дорогу
Бесконечную — благослови.

Защитите меня
в неизвестный
День мой черный пропаж и
растрав —
Поля щит, окруженный лесом,
И блестящие лезвия трав.

Ель нарядная — сельская церковь,
Без пилы сложена, без гвоздя,—
Приюти меня, если померкнет
Жизнь моя за стеной дождя.

ЕЛЕНА КОЛЕСНИКОВА

Родилась в 1958 году. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Работает в МИСИ имени В. В. Куйбышева. Участница VIII Всесоюзного совещания молодых писателей. Стихи публиковались в альманахе «Истоки», в журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент», в газете «Московский комсомолец».

ГРУСТНОЕ

И снова — разочарованье,
и мысли отделила грусть,
и неизбежно привыканье
к тому, о чем забыть стремлюсь.
Потом уж и пережитое,
морщинкою оставив след,
подарит месяцы покоя
и даст когда-нибудь совет...

* * *

Эскалатор едет все быстрее,
и мелькают блики фонарей,
и людей мелькает вереница —
то знакомые, а то чужие лица...
Мне в движении неясно лишь
одно:
подниматься или падать суждено?

ФЕВРАЛЬ

Ах, февраль — короткий месяц
на краю зимы.
Месяц самых скользких лестниц,
снежной кутерьмы.
Он раскрыл мешок ветров,
покружил — и был таков!
Наш февраль плясал в бокале
на большом столе —
все у нас в семье играли
свадьбы в феврале...

УСТАЛОСТЬ

Уставшие люди, усталые лица...
Мы в транспорте дремлем,
а дома не спится.

И город ругаем мы наш
необъятный.
Его покидая, мы рвемся обратно.
А возвращаясь, мы вновь
одиноким...
О, город огромный, какой ты
жестокий!

* * *

Осенние краски —
из детской сказки:
разноцветные куртки,
телефонные будки,
в листьях скамьи —
яркими мазками,
а листья пестрые —
карандашами острыми,
солнце не жжется —
акварелью солнце,
и на небо — краску голубую
густо...
Отчего же осенью людям
грустно!

* * *

Окончен новогодний маскарад,
и во дворе в костре сжигают елку.
Январская слепая мошкара
летит без дела, падает без толку.

Так думала я раньше. Только смысл
великий был в обильном
снегопаде:
он копать послепраздничную
смыл,
шел ради будней, новых будней
ради...

ИРИНА БЕЛЯЕВА

Окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Живет в Москве. Публикуется впервые.

ЖИЛИ-БЫЛИ

Не успею и не тороплюсь
Я задать последнего вопроса.
Снова долгим взором засмотрюсь.
Как идет с вечернего покоса.

И опять последнего стога
Те косцы, как прежде, не сложили.
И опять последняя строка
У меня сложилась:

«Жили-были».

ТЕРНОВНИК

У дедушки в саду — терновник.
Оскомины моей виновник,
Плоды его всегда несладки,
Зачем теснит клубники грядки?

Зачем и в огороде, и в отчизне
Терновник лишь мешает
сладкой жизни?

Зачем чуть отдохнув,
хочу я снова,
Чтоб жизнь была
терниста и тернова?

ВЕТКА

С упавшего дерева
ветку взяла осторожно,
Домой принесла,
опустила в граненую вазу.
И каждая грань
отзывалась вопросом тревожным,
А я не нашлась,
что ответить всем граням сразу.

РОДНИК

В лесу, среди густой осоки,
Поет родник.
И песни звук его высокий
Весь лес роднит.

Зовет скорее продолжаться
Среди дорог.
И на обрыв не обижаться,
И на песок.

ВЕСНА

Приходите все, кто может, —
Люди, птицы, корабли.
Хватит вилок, хватит ложек,
Лишь хватило бы земли.

Будем петь и веселиться.
Хватит солнечных чудес
Ветрам, липам, мыслям, птицам,
Лишь хватило бы небес.

Приходите, дети, кошки,
Я сегодня так добра:
Увезли на «неотложке»
Снег из нашего двора.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ



ПОЭТ В «ШАХТЕРКЕ»

Раскрываю папку, переданную мне вдовой Николая Анциферова. Архив! Желтые, в пятнах, ломкие листочки, страницы, обрывки из школьной тетради. Перебираю, вчитываюсь. Фельетон, статьи, очерки, стихи. По этим пожухлым страницам видно, как начиналась творческая жизнь поэта. Как и многие наши известные писатели, особенно фронтового поколения, он начинал с газеты. Короткие фельетоны на бытовые темы, написанные еще не окрепшим пером, но уже пересыпанные искорками анциферовского юмора, большого впечатления не производят, это поденная работа, черный хлеб газетчика. И еще. Десятки чужих стихов и отзывы на них. Откуда только он их не получал, работая в отделе поэзии журнала «Москва»? Из всех городов нашей страны. Писали, да и сейчас пишут почти все. Тактично, убедительно, с профессиональным разбором отвечал поэт даже самому закоренелому графоману! А в ответ получал возмущенные письма, оскорбления, обвинения в личной бездарности и еще бог знает что! «Знаешь, — говорил он мне, — в забое легче, чем здесь, в журнале. Там ты один на один с отбойным молотком и пластом угля. Руби! Чем больше, тем лучше. А тут: я — пласт, меня рубят сотни «молотков». И чем больше, тем тяжелее. А сердце-то у меня все в угольной пыли. Надолго ли хватит?..»

Он не жаловался. Говорил правду. И вот эти творения канувших в Лету «молотков» передо мной. Надо было иметь лошадиное здоровье, чтобы изо дня в день перемалывать большим сердцем эту бесконечную, чаще всего никому не нужную писанину.

И вот я читаю стихи самого Николая. Поначалу подумал: не устарели ли? Не поросли травой забвения? Ведь почти четверть века прошло со дня смерти поэта. Выдержали экзамен на безжалостное Время?

Нет. Не устарели. Свежи, оригинальны, своеобразны. У Николая Анциферова свой особый, «анциферовский» почерк, голос, своя походка и своя одежда — «шахтерка». Без ложного пафоса, без крикливости, он рисует быт шахтеров, их повседневную жизнь: как они встречают праздники, гуляют на свадьбах, как любят — и все это с юмором, с безобидной «подковыркой» и улыбкой. Ну, кто не знает ставших хрестоматийными строк: «Я работаю как вельможа, я работаю только лежа. Не для каждого эта честь». А перечитайте его цикл «Оккупация» о тяжелейшем, драматическом, бесхлебном детстве в годы войны! Наглядный пример тому стихи из архива — «Пацаны».

Самая главная черта поэта — самостоятельность! Анциферов в полной мере обладал ею. Об этом ему не раз говорил такой большой мастер стиха, как Н. Асеев. Я был свидетелем разговора по телефону Анциферова с Н. Асеевым. Вернее, с его последствием. Зашел как-то в журнал «Москва» и застал Колю в каком-то возбужденном состоянии. У него дрожали руки. Я подумал: не с похмелья ли? Чего греха таить — и такое бывало. Сказал ему об этом. «Не с похмелья, а хуже! — сказал мне он. — За минуту до твоего прихода звонил мне сам Асеев! Николай Николаевич. Я с перепугу чуть со стула не грохнулся. Но самое страшное то, что он хва-

Слушал получасовую речь.
Секретарь — (не этот, другой) —
Говорил, как надо беречь
Комсомольский билет дорогой.
Мы с билетом пересекли
Самых разных дорог немало.
По затопленным штрекам шли,
Выползали из-под завала.
Мы с билетом в шестнадцать лет
Потеряли житейский уют.
А сегодня я сдал билет,
Сдал...

как в жизни ничто не сдают.

* * *

Спокон веков в донецкий край
Брели на заработки люди,
Хотя и знали — здесь не рай,
Не подают рубли на блюде.
Но все же: «Боже, помоги!» —
Молясь, тащились работающие.
Сбить капитал на сапоги,
Как воз намазанный, скрипящие.
По вечерам, кляня забой,
Артелью брали самогона,
Напившись, пели вразнобой
Про молодого коногона.
Переходила песня в шум,
Затем — угрозы и расплата:
Шел с топором на кума кум,
С киркой бросался брат на брата.
Алели маком топоры,

Трещали древние бараки...
И порешили с той поры:
Шахтер не может жить без драки.

ЕЩЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ТАК СПОСОБНЫ НА ЛЮБОВЬ

Как хороши, как свежи были
брюки,
Пока я к вам не вышел под
дождем.
Слились в одном объёме наши
руки.
Я вам шепнул: — Вы постирайте
брюки.—
Вы отвечали скромно: —
Подождем.
Вы помните, вы все, конечно,
помните,
Как я в своей одиночной
комнате
Стирал свои единственные
брюки.
И спрашивал себя: — Не баба ль я?
Ах, если б ваши розовые руки
Занялись стиркой моего белья!
Вы обратите на сей факт вниманье,
Я говорю, секретов не тая:
— Еще одно последнее стиранье,
И вся любовь окончится моя.

СТИХИ, АДРЕСОВАННЫЕ ДУШЕ

...«Нас всех подстерегает случай»... Еще вчера он был весел, полон надежд и планов, говорил о предполагаемой новой работе в одном из московских издательств, а сегодня его уже нет... В это до сих пор не хочется верить.

Анатолий Передреев был истинным рыцарем Поэзии. О стихах он мог ярко, неподражаемо, свободно цитируя любимых поэтов, говорить часами — в домашней беседе, по телефону, днем и ночью — когда и где угодно. Его отношение к Поэзии было чисто и свято.

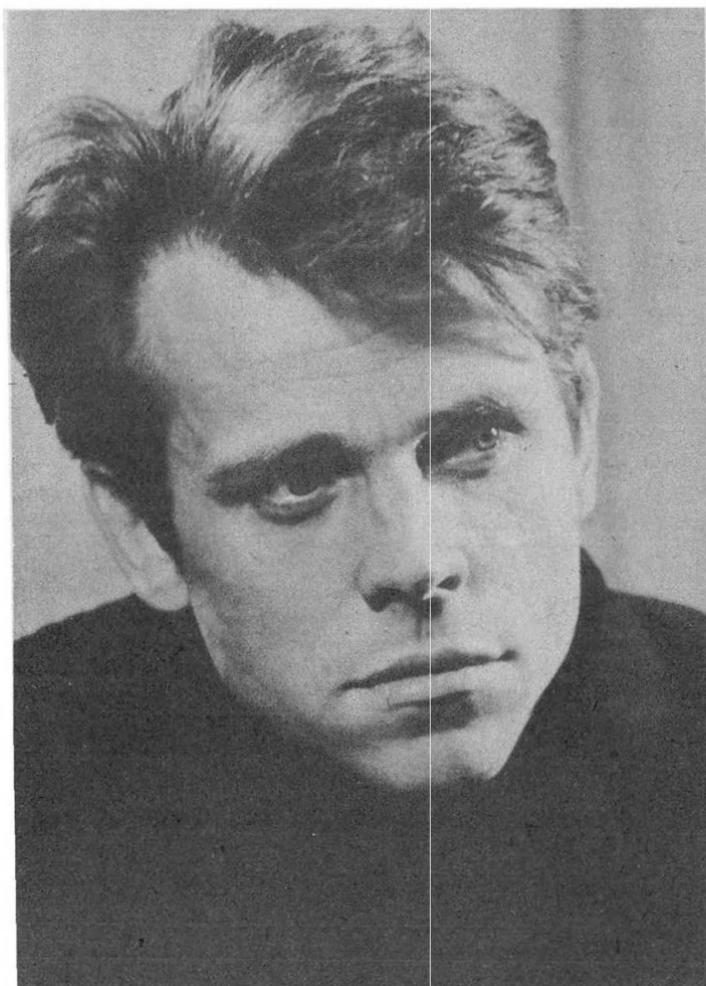
Требовательный к себе, к своим стихам, он мог простить другому слабую, проходную строчку, не мог простить одного — душевной неискренности, фальши. «В стихах имярека нет души!» — было самым суровым его приговором.

Он был общителен или, как теперь говорят, коммуникабелен, удивительно доступен и не напяливал на себя холодную и неприступную личину Литератора, держащего всех на дистанции, а самого себя ставящего уже при жизни на некий пьедестал, «наводящего хрестоматийный глянец» и требующего благоговейного почтения к себе — как к ходячему памятнику. К Анатолию Передрееву тянулись душой и сердцем, любя в нем его самого и его стихи. В искренности этого влечения к нему можно было бы усомниться, занимая он какой-либо высокий пост, будь он генералом от литературы или обладателем лауреатских званий, которых он, безусловно, заслуживал и которых, увы, у него не было. Для добывания их он и пальцем не шевельнул (да такое просто и не вяжется с его образом), хотя иные собратья по перу на его глазах действовали без зазрения совести, вымогая лавры.

«Так хочется написать что-нибудь хорошее», — любил он повторять. Дальше этого его «притязания» не простирались. По меткому замечанию одного критика, Анатолий Передреев не написал ничего лишнего. Почему? Может быть, потому, что не брался за перо, «пока не требовал поэта...» и обостренно чувствовал, что «служенье муз не терпит суеты»? Если собрать все созданное им: стихи, статьи, эссе — то и тогда это будет небольшая по объему книга...

«Толя, перебейте ноги ритму!» — в начале творческого пути поэта советовал ему один из наставников. Передреев ни разу: ни тогда, ни после — не сделал ничего, что не отвечало бы органической природе стиха. Слово он ощущал как естественный жест и свободное движение души, а ритм — как музыку ее. В совете известного своей словесной виртуозностью версификатора Передреев видел не органический, не естественный, а формальный, имеющий множество разновидностей и, к сожалению, донныне процветающий и наносящий немалый урон поэзии подход к творчеству. Против такого подхода восставало все его существо...

Анатолий Передреев и родственные ему по духу поэты в годы расцвета формальных критериев и оценок пошли по принципиально другому пути. Неудивительно, что на этом пути они потеряли тогда определенные круги читателей, недобрали популярности и известности, но зато не утратили главного — поэтической и гражданской честности. Как грустно, что читатели, воспитанные на шумной поэзии, часто с равнодушием и нечут-



Анатолий Передреев.

костью переворачивают страницы книг, отмеченных знаком истинной поэзии. И немудрено: ведь, взяв в руки книгу того же А. Передреева, они не найдут под ее обложкой высушенных математически-сухим взглядом версификатора листьев мать-и-мачехи, рифмующейся с математикой, или, более того, треугольных груш с декоративного поэтического дерева.

От стихов, бьющих по глазам нарочитой броскостью строк, активно воздействующих на слух, то есть рассчитанных на поверхностное зрительное или слуховое восприятие, стихи А. Передреева отличаются тем, что они адресованы душе и сердцу.



Анатолий Передреев в годы службы в армии.

Кавказ вошел в жизнь и творчество А. Передреева, как входил он до этого в жизнь и творчество любимых им Пушкина, Лермонтова, Есенина. Кавказу Передреев посвятил многие свои строки, а любя вместе с Кавказом и его поэтов, много, возможно, слишком много сил отдал переводу на русский язык их поэзии, став незаурядным мастером поэтического перевода. Его переводы не были зарифмованным подстрочником, лучшие из них обретали вторую жизнь и поэтическое бытие на русском языке, становясь фактом поэзии самого Анатолия Передреева, а значит, и современной русской поэзии, как это случалось прежде с лучшими переводами поэтов XIX века:

Ветер уговаривает розу,
Шепчет ей: «Пойдем в мои края...»
А земля удерживает розу,
Говорит: «Красавица моя!
Он бродяга, он влюблен в дорогу,
Он заманит в жаркие пески,
У него ни племени, ни роду —
Растеряешь только лепестки...»

...В свое время после разбора В. Кожинным ныне широко известного стихотворения «Окраина» оно в глазах любителей поэзии едва ли не превратило Передреева в автора одного стихотворения, что, конечно же, несправедливо. Поэт, как правило, долго вынашивал свои стихи, особенно в последние годы жизни. «Нет на свете мук сильнее муки слова» — было сказано когда-то. Можно предположить, что поэт испытывал в эти дни, а то и месяцы молчания... И все же «К истории войн», «Беспощадна суть познанья...», «К Отчизне», «Ностальгия», да и опубликованная теперь и уже получившая известность «Баня Белова» с несвойственными прежнему Передрееву элементами открытой публицистичности, эпической наполненности и широты, напряженной описательности и некрасовскими акцентами достойно венчали творческую работу поэта последних лет.

В предлагаемой посмертной подборке А. Передреева, где в основном представлены стихи, написанные в начале 60-х годов, хочется обратить внимание читателей на отрывок из оставшейся незавершенной поэмы «Ива у подъезда». Ее замысел он вынашивал много лет. В последние месяцы своей жизни поэт не раз говорил, что поэма уже созрела, обрела реальные очертания в его душе: надо только сесть и записать ее. Записать он успел только начало первой главы.

Впервые полностью публикуется поэтический цикл о матери. У Анатолия Передреева, отличавшегося, как уже говорилось ранее, высокой требовательностью к себе, видимо, были основания не публиковать предлагаемые стихи ранее. Однако, на мой взгляд, они не только не портят общей картины его творчества, но и в определенной степени расширяют наше представление о его поэзии.

АНАТОЛИЙ ПЕРЕДРЕЕВ

ИВА У ПОДЪЕЗДА

В поле чистом под ракитой
Богатырь лежит убитый...

А. С. Пушкин

* * *

Кто построил тебя, дом,
Не гордясь своим трудом?
На моем пути земном
Кто поставил тебя, дом?..
Плод бездушного проекта,
Современности стандарт!
У ревущего проспекта,
Где не слышен месяц Март...
Заглушая песню ветра
И раскаты вешних сил,
Чем ты в каменные недра
Мою душу заманил?!
Крупноблочный мир комфорта
Между небом и землей,

Где ни Бога нет,
Ни черта,
Где не ходит домовой.

1987

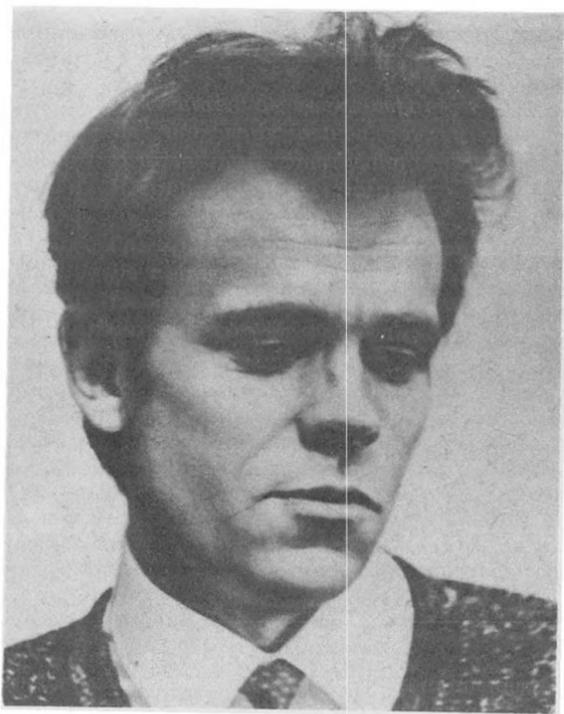
* * *

Всю ночь про жизнь свою
Я сочинял стихи...
И наступал рассвет,
И пели петухи...

А жизнь моя идет,
Всю ночь не гаснет свет,
И где-то ждет меня
Моя глухая смерть.

Она взмахнет косой...
И понесут меня...
И будет длиться ночь,
И не наступит дня...

Пускай зароят труп,
Пускай уходят прочь,



Анатолий Передреев.

Я знал про эту смерть,
Предвидел эту ночь.

Я прожил жизнь свою.
Я сочинял стихи...
И наступал рассвет,
И пели петухи...

* * *

Верните
Мои детские года,
И отберите
Взрослости приметы,
Чтоб смог прижать я к сердцу
насегда
Друзей, каких светлей и чище
нету,

Верните
Невозвратные года...

Доверчив я и простодушен был...
Теперь душа
В рассудке закоснела...
Верните мне
Ребяческий мой пыл,
Чтоб все, что на душе,
Открыть мне смело.

СТИХИ

о городе Сан-Франциско
и острове Рождества

Романтичный город

Сан-Франциско,

С детских лет закутанный в туман,
Я тебя не видывал и близко,
Мне мешает Тихий океан!

Впрочем, дело разве в океане?
Переплыть его, как дважды два...

МАСТЕРСКАЯ



О МОИХ СТИХАХ...

Как и когда я начала писать стихи, будучи прочно прозаиком? На этот вопрос я отвечаю так: ...начала — и кончила. Так не бывает, но так со мною было.

С детства живя рядом с моей сестрой Мариной, и обе среди поэтов: Эллис, Бальмонт, Брюсов, Чурилин, Мандельштам, Парнок — я никогда сама не пробовала писать стихи (без них не представляя себе жизни — в молодости).

На 41-м году жизни я, погрузившись в английский язык (преподавая его и глубоко его изучая), — стала писать английские стихи: первое — нерифмованное, один ритм, его похвалили англичане. Затем рифмы полетели ко мне в изобилии, и так возникли уже рифмованные стихи, числом, должно быть, около двенадцати. И тогда, незаметно и радостно, я перешла на русский язык, и писала я стихи до 1943 года, до того, как в заключении на Дальнем Востоке узнала — два года от меня скрывали — о гибели Марины. Сам собою иссяк источник стихов.

В 1974 году, в Коктебеле, у моря, ища камушки, я написала стихотворение «Мне 80 лет». Оно существует. В 90 лет, готовя еду и моя посуду, я промурлыкала в воздух стихи «Мне 90 лет». Радуюсь, что они несколько не хуже тех, 10 лет назад. Но — телефоны, дела, люди, день до вечера без возможности записать стихи... А когда в поздний час я захотела их воплотить — они растворились в воздухе — память не удержала их. Вот «история» моего стихотворства. Самое любопытное то, что в моих стихах — никакого сходства с Мариной. Марина — гений, я — просто талантливый человек, каких много.

Свои стихи публикую впервые.

Анастасия ЦВЕТАЕВА, на 94-м году жизни.

МУХА

Правнукам Оле, Андрюше и Грише

Когда муха жужжит — мне всегда
вспоминается детство:
За кустом бузины — ослепительно
жаркий июль,
И зацветшая кадка с жасминным
кустом по соседству,
А за веткою — окская тишь,
неподвижный на ялике руль.
Сколько мух отжужжало с тех пор,
Сколько солнечных дней отгорело —
Все я вижу широких шуршащих
шершавых орешников тень,
Словно птице легко моему шестилетнему телу,
Как ступням от песка горячо,

Как уютно поникнул плетень...
Жизнь пройдет как тот час
и ко правнукам по наследству
Перейдут и жара, и июль, и
замшелый, как я, плетень
— Отчего, когда муха жужжит,
мне всегда вспоминается детство?
Скажут правнуки в им еще будущий,
мне уж небывший день.

Дальний-Восток, 1940 г.

ДАМА ПИК

А когда покончено с любовью — наступает новая беда,
Прозорливость матерински-вдовья,
Проницательность уже колдовья,
Прорицания пифийские года.
И когда любовник свой прощальный
Взор отвел от стынущих плечей,
Еще гаснет звук музыки бальной,
А уже в обряде погребальном
Он к ней вновь возносит оный огонь очей.
Это — шаг своей судьбы слыша —
Германн — в карт гадательный удел
Мимо Лизы — руку тверже, выше —
Даме Пик так сладко в сердце дышит
Германна целительный прицел.

Дальний Восток, 1941 г.

МНЕ 80 ЛЕТ

Мне 80 лет. Еще легка походка.
Еще упруг мой шаг по ступеням,
Но что-то уж во мне внимает кротко
Предчувствиям и предсказаньям, снам.
Мне 80 лет? Сие понять легко ли?
Когда еще избегаю по холму
И никогда еще сердечной сильной боли,
Ни головной,— но сердцу моему
Уж ведомо предвестие томления,
Тоска веселья, трезвость на пиру,
Молчания прикосновение
К замедлившему, на строке, перу.

Лето 1974 г. Коктебель

В наш довольно прагматический, «головной век» даже тонким материям стараются найти технократическое определение.

То, что испытываю я, читая стихи Светланы Сырневой из Кирова в такой стилистике, можно было бы назвать явлением лирического резонанса. А если говорить просто: мое сердце отзывается на эти стихи. Они излучают правду чувства и искренность мысли, которых не заменит техническая оснащенность.

Они простодушны в хорошем смысле.

С легкой руки критики чувствительность, сентиментальность долгое время изгонялись из текущей поэзии.

Ведь чего проще: свести суть стиха к простой игре социальных смыслов, из него самое таинственное, но и самое влекущее — тонкую структуру переживания.

Как уже понял пронизательный читатель, я написал комплимент стихам Светланы.

Есть у меня и претензии к ним. Все-таки по лексике они должны быть богаче, может быть, даже диалектнее.

Мало еще использует автор фонетическую аллитерацию и игру ритма, столь характерные для северных песен и частушек.

Словом, работать есть над чем.

Но слышен, слышен тот колокольчик, который звонит о сердечном волнении, об искреннем чувстве.

А значит, и о способности, а может быть, и о таланте.

Не так ли?

Владимир КОСТРОВ

СВЕТЛАНА СЫРНЕВА

Родилась в 1957 году в деревне Русско-Тимкино Уржумского района Кировской области. Окончила Кировский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина. Работала учителем в Уржумском районе Кировской области, корреспондентом, затем редактором районной газеты (г. Уржум), корреспондентом областной молодежной газеты «Комсомольское племя» (г. Киров).

Печаталась в журналах «Литературная учеба», «Волга», «Родник» (Рига), коллективном сборнике «Встречи» Волго-Вятского издательства, в областных газетах «Кировская правда» и «Комсомольское племя».

ПРОПИСИ

Помню: осень стоит неминуемая,
восемь лет мне, и за руку — мама:
«Наша Родина — самая лучшая
и богатая самая».

В пешех далях — деревья корявые, и опустится небо мутное
 дождь то в щеку, то в спину, к нам в дощатый гремучий кузов.
 и в мои сапожки дырявые И споет во все хилые ребра
 заливается глина. октябратский мой класс

Образ детства навеки — бритолобий:
 как мы входим в село на болоте. «Наша Родина самая вольная,
 Вот и церковь с разрушенным нашом верхом наша Родина самая добрая».
 вся в грачином помете. Из чего я росла-прозревала,
 Лавка низкая керосинная Скажут: обворовала
 на минуту укроет от ветра. безрассудная вера!
 «Наша Родина самая сильная, Ты горька, как осина,
 наша Родина самая светлая». но превыше и лести, и срама
 Нас возьмет грузовик попутный, моя Родина, самая сильная
 по дороге ползущий юзом, и богатая самая.

НОЧНОЙ ГРУЗОВИК

В ночной тишине грузовик прогрохочет
 по улице мокрой, холодной и темной.
 Куда он, зачем он — по грязи, по ночи
 безлюдной — бессонный, безродный, бездомный?
 Но светом своим он ударит по стеклам,
 и в спальнях означатся окон квадраты,
 пройдясь по коврам, по обоям поблеклым,
 по душным от тел одеялам из ваты.
 На миг осветивший заборы, засовы,
 убогий ларек, обложившийся тарой,
 умчится за город в заботе суровой,
 считая ухабы окраины старой.
 Насквозь эту ночь в полюса разведитель
 За «дворником», капли срезающим косо,
 вцепился в баранку усталый водитель
 с погасшей в зубах до утра папиросой.
 О полюс, покою противоположный,
 твои мне сигналият надсадные фары.
 С тобой я. Возьми и меня — еще можно —
 с окраины спящей, с окраины старой.

* * *

Когда уже темно
 и холодно уже,
 распахнуто окно

на первом этаже.
 И струи бледных штор,
 как водоросль в реке,
 бессмысленный повтор
 затеют в сквозняке.

Кто, руки заломив,
во глубине молчит,
чьей комнаты нарыв
на улицу открыт

и чей, стенами сжат,
покой стремится прочь,
когда окно и ночь
уста свои смежат?

* * *

Образумишься, когда затопит,
запоздало вперисься в окно,
но из мрака выдвинется тополь
исполином, канувшим на дно.
Он с повадкой водоросли темной,
с этой вечной ощупью больной.
Долгой переправую паромной
тучи проплывают под луной.
О глухая полночь донной жизни,
тинной жизни, вставшей по углам!
И пока глядишь в окно, осклизнет
под рукой переплетенье рам.
И морочит, и гнетет, и давит
медленное тленье глубины,
и бессильно в тучах пропадает
посланный на землю свет луны.

ЦИКОРИЙ

Опять появляется в летнем узоре
цветок неудобиц, канав придорожных,
цветок узловатый и горький — цикорий,
цветущий, как небо в решетках острожных.
Ни с ветром не споря, ни с ливнем не споря,
таится под мягким листом земляника,
но по́верх полян голубеет цикорий,
когда пред грозой природа поникла.
Холодные версты, дождливые зори.
Сорвешься с обрыва на глинистом склоне —
и тонкую руку протянет цикорий,
звездой голубую уткнувшись в ладони.
Возможно, достоин он участи лучшей,
но русской земли это наве́к услада —
на стебле из проволоки колючей
расцвеств лепестками небесного склада.
А вам бы в букет это синее море,
что душу задаром ласкает и нежит!
Но вцепится в землю упрямый цикорий
и жилистой плетью ладони обрежет.

АВГУСТ

Мой городишко спокойный, застойно-зеленый,
медленным, приторным августом густо наполнен;
зыблется зной в куполах четырех колоколен,
вечером в речке струится мосток обновленный;
время томатов и яблок, базарное время,
сытое время, для сердца усталого отдых.
Чистую воду несут в успокоенных ведрах,
полные ведра усталому сердцу не бремя.
И зацветают в калитках шары золотые —
пленники города, узники местной морали;
вот надломилась — но лишь за ограды упали
и доцветают в пыли полугрешные, полусвятые.

* * *

Проживу, как поляна в бору,
или как муравейник в овраге —
с их невидимой на миру
малой толикой тихой отваги.
Им сегодня труднее всего

в диктатуре дымов и мазутов
соблюдать и хранить естество
без расчета потрафить кому-то.
Пусть кричат, что поляна не та,
против прежнего мал
муравейник —
не отнимут на шее креста,
даже если наденут ошейник.

ДЕРЕВЕНСКИЕ НАРЯДЫ

Пестрая юбка, цветастый платок
в обществе грубых немодных сапог —
нравятся, пусть и смешны, и нелепы.
Желтое с красным, лиловое с красным,
ваше соседство считаю прекрасным,
в ваших хозяек влюбленная слепо.
Вот они, эти нескладные женщины,
провинциалочки и деревенщины.
Праздник — они и надели наряды,
факту наивной нарядности рады.
Рады тому, что сегодня не в ватнике
и не в извечном рабочем халатике —
в платье: лежало в комоде лет семь
и не надевано даже совсем.
Господи, пусть оно с модой не вяжется,
долго лежало — и роскошью кажется.

В день, о котором я долго мечтала,
счастье дешевым платком расцветало.
В истинном счастье изящного мало:
лишь бы светилося, лишь бы сияло!

О СТИХОТВОРЕНИЯХ ПЕТРА КАТИНА

Со стихами Петра Катина я впервые познакомился несколько лет назад на наших семинарских занятиях в литературно-художественной студии при МГК ВЛКСМ и Московской писательской организации.

Петр Катин пишет немного, но всегда интересно. Стихи его чисты, исповедалыны. Сильные, горькие строфы о последних днях войны, покинутой деревне, разлуке живут и трогают сердце. А это самое главное для поэта.

Петр Катин уже великолепно владеет техникой стиха. **«Жесткий шелест камыша»** — очень хороший эпитет. В стихотворении «В вязком воздухе стрижи» — ни одной корявости, ни единой ошибки — ни в рифме, ни в музыке, ни в состоянии. Поэтизация, казалось бы, самых **прозаических** предметов (последняя строфа), которые вдруг становятся **поэзией**.

Ни утраты. Ни борьбы.
Перелески. Пашни. Склоны.
Пролетающие кроны,
Провода, кусты, столбы...

Но, разумеется, на последние строки **работает все предыдущее**. Это особый вид стихотворения. Его надо читать и внимать ему целиком. При отрывочном цитировании **оно проигрывает**. Его нужно цитировать целиком.

«И острой полнились тревогой «Короткие скупые дни» — точные болевые строки (из стихотворения «Подмосковье, 40 лет спустя»).

Встречается много назывных предложений. Это не беда...

Следует избегать перебросов грамматического предложения в другую строфу. Да, так и у классиков бывало. Но — это худо. В идеале грамматическая строка должна совпадать со стихотворной, поэтической.

Стихи хорошие. Но надо избавляться от чужих влияний. Идти по тем тропам, по той дороге, где есть не заемное, а свое.

Думаю, публикация подборки стихотворений Петра Катина в альманахе «ПОЭЗИЯ» поможет автору в дальнейшей работе и окажется небезытересной для читателей.

Анатолий ЖИГУЛИН

ПЕТР КАТИН

Родился в 1955 году. Окончил Московский архитектурный институт. Служил в армии.

Работал плотником, чертежником, художником-оформителем.

Участник XII Всесоюзного фестиваля молодой поэзии братских республик, V Общемагковского, VIII Всесоюзного совещания молодых писателей.

Стихи публиковались в журналах «Октябрь», «Молодая гвардия», «Смена», «Сельская молодежь», в альманахах «День поэзии-83», «Поэзия», «Истоки»; в коллективных сборниках «Молодые поэты Москвы», «Багильник».

* * *

Крепнет наледь меж оконных
створок;

Вдоль стены сугробы намело...
На дворе мороз давно за сорок;
В эту пору
Хрупки, как стекло —

Стрелы кранов, шестерни, опоры...
На закат ползет дороги нить...
День и ночь работают моторы
Вхолостую,
Чтобы не застыть...

Дробный гул
Висит, упруг и ровен;
Неподвижна ельника кайма...
Черные, из просмоленных бревен,
В белизне разбросаны дома...

Голубой туман окутал крыши,
Перемен к рассвету не суля.
В инее — заборы и афиши,
Стылых труб крутые штабеля...

Неуютно,
Жутко в поле голом...
Липнет к пальцам зажигалки
сталь...

И дымы
Прозрачным частоколом
До рассвета
Выстолбили
Даль...

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ (из военной кинохроники)

Дымятся серые руины,
Летит шальной автомобиль;
И рвутся мины, рвутся мины,
Взметая столбиками пыль;
Желтеет высохшая глина,
И солнце яростно печет,
Весна в окрестностях Берлина
В разгаре... Сорок пятый год...

Запомнилось:
Окопов бровки,

Цепь затаившихся бугров;
Свист, грохот, вой артподготовки
И хищный свет прожекторов;
И тот рассвет, и перебежки
Среди истоптанных полей...
Дворы, оставленные в спешке,
Повозки, трупы лошадей...
Гарь. Покореженные пушки.
Мычанье брошенных коров...
И той названье деревушки,
Где ночевали, — Арьенсдорф...
И полуночное мерцанье
Ракет над кирхой у пруда...

...И ожиданье, о ж и д а н ь е,
Которым каждый жил тогда...

* * *

А в снах — отец воюет до сих пор:
Дрожит стальное тело пулемета;
Разбит снарядом каменный забор,
И залегла, окапываясь, рота;

А за дорогой — фольварк, тополя;
И дым густой чернеет, наползая;
А под ногами — голая земля:
Тяжелая, весенняя, чужая...

И неизвестно, что там — на роду;
А за спиной взвивается ракета...
...Проснувшись, долго смотрит

в темноту,
Сидит один на кухне до рассвета

И видит вновь: зияющий пролом,
Застывший танк — вдали,
у поворота...

А в частом стуке капель за окном
Все слышатся раскаты артналета...

ПУСТАЯ ПЛАТФОРМА

Немых полей седые скаты,
Зари померкшей полоса.
Мглой цепенящею объята
За логом жидкие леса.

И маленький город Советская
Гавань
В открытой лощине белеет внизу.

На миг цепенеют прибрежные
кручи;
Нигде — ни движения, ни ветерка...
И лишь с океана холодные тучи
Все так же несутся в глубину
материка,—

Туда, где в смятении стонут
просторы,
Где древние кряжи до лета в снегу;
Где гулко трещат, надрываясь,
моторы,
Железные стройки таранят тайгу;

Где глухо рокочут покорные громы
И свежих карьеров дымятся края;
Где яростно мчатся, срывая
паромы,
Строптивые сестры — Амгунь,
Бурья;

Где трасса стальная — от плеса до
плеса —
Победно змеится, теряясь вдали...

И нежно белеют у края откоса
Кусты голубики в цементной
пыли...

* * *

Треск цикадный стеною стоял
вдоль покоса,
Обреченные травы сгибались в
дугу...
Дождь прошел. Мы сидели у края
откоса;

Сохли камни внизу, на пустом
берегу.
Зазывала тропинка, бегущая
мимо...
Утомленно сверкала упругая
глядь...

И к щеке моей льнула едва
ощутимо
Твоих мокрых волос отдаленная
прядь...

Трепетало, дышало бескрайнее
лето;
Под висячим мостом шелестела
вода...

И не верилось в то, что
когда-нибудь это
Так внезапно и просто уйдет
навсегда...

«Я ТАКОЙ ЖЕ, КАК В ДЕТСТВЕ...»

...Как объяснить, отчего западают в душу стихи Романа Хе? Не так-то это и легко. Ну вот, например: как читать эти стихи вслух? Мы ведь привыкли к поэзии произносимой, звуочной. А Хе не повышает голоса. Но кто сказал, что чтение стихов вслух и есть жизнь стиха? Стихи мы принижаем в себя, а потом... ходим, едим, спим, и когда-то наступает пробуждение в нас поэзии — поэтический образ настаивает на нас. Пробуждение стиха происходит в самой разной форме, порой болезненно. Это так. Но пробуждение все-таки всегда целительно.

Поэзия космогонична — это ее глубинное свойство. Из поэтического образа, как из зерна, способна развиться целая новая вселенная, новое мироздание — отсюда естественно вытекает такое понятие, как от-

ветственность поэзии. Поэзия предполагает ч и с т о т у исходного импульса, чистоту чувства. И эта чистота свойственна поэзии Романа Хе.

Я такой же, как в детстве.
Во мне
колодец слез удивления, восхищения, любви!..
Только на дне —
камни.

Когда размышляешь о его стихах, вспоминается имя Ксении Некрасовой. Казалось бы, так далеко это все... от сахалинского поселка, стоящего на берегу Тихого океана, от дома, в котором смешалась русская и корейская речь и в котором вырос Роман Хе, прочитавший строки Ксении Некрасовой лишь тогда, когда было ему за тридцать и был он уже сложившимся поэтом...

И все же только э т о имя могу назвать я, пытаюсь определить м е с т о Романа Хе в современной русской поэзии. Станный образ приходит в голову, когда пытаешься уяснить себе с у т ь т а к о й поэзии. Веками поэты пытаются постигнуть самые тонкие душевные движения человеческие — это словно бы команда профессионалов-«акустиков», вооруженных изощреннейшим инструментарием, напряженно прислушивается к дыханию души — ну что там? что с л ы ш н о? — и «переводит» услышанное на «общепонятный» язык. А душа вдруг возьми да и заговори сама — да так ошеломляюще просто, без таинственных шифров,— прямой речью...

Я мечтаю о рифме,
о г л а в н о й рифме,—
когда

биение моего сердца
созвучно
с биением твоего сердца.

Хочется, чтобы и сердце читателя откликнулось на эту речь.

Виталий КАМЫШЕВ

РОМАН ХЕ

Живет и работает в поселке Томари Сахалинской области.

Стихи публиковались в журналах «Аврора» и «Дальний Восток».

НЕУЛОВИМОЕ

Скажите,
разве можно заметить,
как
созревают плоды?
Скажите,
разве можно заметить,
как
томится земля,
когда из мерзлого грунта,
который и киркой не пробьешь,
вдруг

вырываются
нежные травы?..

* * *

Хлопья морской пены
летят по улице.
Бросив сумку с хлебом,
мы с тобою ловим
тающие лепестки...

* * *

Птица на миг забыла, что я —
человек.
Я на миг забыл, что она — птица:
встретились взглядом.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

Здесь каждое слово объяснено.
Но
мне необходимо дорасти, понять,
пережить. Пусть
жизни, что дана мне, на это
не хватит,
постигну, сколько смогу.
Слова, слова, огромные,
как ящеры!
Надо
смеяться,
плакать, ошибаться, удивляться,
чтобы
взлетели они
птицами!

ТВОРЧЕСТВО

Тепло человеческих чувств
разлито, как солнечные лучи.
Поэт — мальчик с увеличительным
стеклом,
собирает тепло в одну
ослепительную точку
и зажигает дымящиеся слова.

КУБИК РУБИКА

Кручу, верчу я кубик Рубика,
словно Кай — ледяные фигурки.
А рядом — в горшочке сохнет
цветок,
за стеною — кто-то горько
плачет...

А я все верчу, и сердце
становится
ледяным.

О ПАМЯТИ

Тело
забыло
свое предназначение
— и стало распутным.

Сын
забыл
о родителях
— и стал безродным.
Каин
забыл,
с кем клубился во чреве матери,
— и стал убийцей.

* * *

Зачерпнул голубую воду —
стала она бесцветной.
Отпустил —
ожила,
как насекомое, притворившееся
мертвым.
...И жизнь —
голубая вода:
хочешь разглядеть — бесцветная,
отпустишь —
голубая.

ГРЕБЕШОК

У мамы моей были
густые смоляные волосы —
до пят!
По утрам
она их старательно расчесывала
белым гребешком,
который
ярким месяцем
блуждал в волосах!..
...Когда же
белый гребешок
стал незаметен в седине?

ЧТО МНЕ НЕВЫНОСИМО

Видеть
пианино, превращенное то ли
в стол, то ли в комод,
малыша со следами пощечин
на лице
и Землю нашу заложником
у ядерных маньяков.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ



ЮРИЙ ПАРКАЕВ

* * *

Имя Федора Сологуба (1863–1927) связано с эпохой русского символизма. Поэт и прозаик, драматург, переводчик и публицист, он оставил после себя огромное литературное наследие, до сих пор в полной мере не изученное. Между тем без этих материалов невозможно создать объективное представление о путях русской литературы конца XIX—начала XX века. Н. Гумилев справедливо заметил о его стихах, что «для историка литературы они явятся бесценным пособием, так полно, так ярко отразились в них все смены приемов, настроений и тем русской поэзии. Тут и несколько слащавая просветленность восьмидесятых годов, и засенчивый эстетизм девяностых, потом оправдание зла, политика, богоискательство, проблемы пола и, наконец, мягкая ирония мудреца мира сего».

Современники: Александр Блок, Валерий Брюсов, Иннокентий Анненский — высоко ценили лирику Сологуба; Горький рекомендовал его, как мастера стиха, поэтической молодежи. И сам поэт внимательно следил за творческими исканиями молодых: он написал предисловие к сборнику Игоря Северянина «Громокипящий кубок», одобрительно отнесся к стихам молодого Сергея Есенина. Влияние Сологуба испытали на себе ранний Мандельштам, Ахматова, Городецкий.

Принявший восторженно февральскую революцию — как «дни великой радости», поэт поначалу не понял Октябрьской. Видя вокруг себя только «разрушение и отнятие», ощущая крушение всего уклада жизни, он выступил с требованием «свободы» и независимости искусства от государства.

Материальные и бытовые невзгоды, а главное — самоубийство жены, поэтессы Ан. Чеботаревской — единственного друга и соратника, — усугубили состояние глубочайшего духовного кризиса Ф. Сологуба. Годы спустя К. Федин в своей книге «Горький среди нас» вспоминал: «Некуда ему было идти. Его никто не знал. Его нигде не ждали... Жизнь отвергала его».

Со временем, уйдя с головой в дела литературных организаций, поэт изменил и свою политическую позицию.

11 февраля 1924 года в Государственном академическом драмтеатре литературная общественность торжественно отметила 40-летие литературной деятельности Сологуба. Его избирают почетным членом Всероссийского союза поэтов, членом редколлегии издательства «Всемирная литература». В начале 1926 года он становится председателем правления Союза ленинградских писателей. Однако душевные страдания и страдания физические делали свое дело: дни поэта были сочтены. Андрей Белый писал: «Его интересы расширились; он перед смертью силился вобрать все в себя и на все отзываться».

В феврале 1926 года Ф. Сологуб получил из Москвы приглашение правления Всероссийского союза поэтов — на вечер, организованный в

его честь в большой аудитории Политехнического музея. Вечеру этому не суждено было состояться по причине, объясненной самим поэтом в письме, хранящемся в моем собрании:

«10 февраля
Правление Всероссийского Союза Поэтов

Уважаемые и дорогие товарищи,

Я очень польщен Вашим желанием устроить мой вечер. К сожалению моему, я в ближайшее время не буду иметь возможности приехать в Москву: состояние моего здоровья заставляет меня в это холодное время почти постоянно оставаться дома; кроме того, в большом помещении мне было бы очень трудно читать: даже когда я пытаюсь читать стихи домашним порядком для очень малого числа слушателей, у меня делается одышка, так что и мне трудно читать, и другим тягостно меня слушать.

Приношу Вам мою искреннюю благодарность за Ваше дорогое для меня внимание и память обо мне.

С приветом

Федор Сологуб».

Скончался поэт 5 декабря 1927 года после продолжительной болезни, в Ленинграде. Его могила находится на Смоленском кладбище, неподалеку от того места, где был похоронен Александр Блок.

«Нет сомнения,— писал в 1910 году В. Брюсов,— что Сологуб — поэт крайне субъективный, хотя он далеко не всегда говорит от первого лица. В конце концов единственная задача его поэзии — раскрытие своеобразного мирозерцания поэта. И рисуя картины природы, и рассказывая свои странные баллады, и повторяя античные мифы, Сологуб занят лишь собой, своим отношением к миру».

Брюсов утверждал, что «многие стихотворения Сологуба — не более как эскизы, случайно набросанные строки, не дающие целостного впечатления». «Впрочем,— размышлял он,— не действительно ли это — отдельные строфы той единой, стройной поэмы, которую образует вся поэзия Сологуба?»

Хранящееся в моем собрании неизвестное стихотворение Ф. Сологуба написано поэтом в последние годы жизни. Свидетельством тому — использование автором новой орфографии в рукописи. Даты, к сожалению, стихотворение не имеет.

ФЕДОР СОЛОГУБ

ГРУМАНТ *

Грумант покрыт стеклянной шапкой.
Под этой шапкой так тепло,
Что у девицы, очень зябкой,
Давно смущение прошло.

Что ей громады ледяные
И внешний ветер и мороз!

* Грумант — старое русское название острова Шпицберген.

Ведь стекла отразят сплошные
Разгул неистовых угроз.

Искусственное здесь сияет
Светило, грея дивный сад,
И роза здесь благоухает,
И зреет сочный виноград.

Где мирт вознесся горделиво
На берегу прозрачных вод,
Нагие девы нестыдливо
Ведут веселый хоровод.

Грохочут бубны и тимпаны
В руках у отроков нагих.
Но вот вином полны стаканы,
И шум веселия затих.

Настало время пожеланий.
Чего ж, однако, им желать,
Когда и льдины в океане
Уж начали истаявать!

Межатомное разложенье
Постигло только грамм один,—
И началось передвиженье
И таянье последних льдин.

ГРИГОРИЙ НЕХОРОШЕВ

* * *

Читавших «Алмазный мой венец» Валентина Катаева непременно поражает колоритная и во многом трагичная фигура Колченогого. «Вылепена» она настолько рельефно, что как-то сразу возникает желание узнать о прообразе больше и поскорее прочитать его книги. Вот как входит Колченогий в повествование: «...Как бы расталкивая воздух высоко поднятым плечом, прошел в дверь человек в новом костюме и в соломенной шляпе-канотье — высокий, с ногой, двигающейся как на шарнирах.

Это был Колченогий — так я буду его называть в дальнейшем — одна из самых удивительных и, может быть, даже зловещих фигур, вдруг появившихся среди нас, странное порождение этой эпохи.

...Самое удивительное заключалось в том, что он был поэт, причем не какой-нибудь провинциальный дилетант, графоман, а настоящий, известный еще до революции столичный поэт из группы акмеистов, друг Ахматовой, Гумилева и прочих, автор нашумевшей книги стихов «Аллилуйя», которая при старом режиме была сожжена как кощунственная по решению Святейшего Синода» *.

Когда в 1978 году повесть Катаева появилась в «Новом мире» и на некоторое время стала своеобразным бестселлером, вместе с номером журнала часто ходил и небольшой списочек: так сказать, «кто есть кто». Против Колченогого стояло — Нарбут. Большинству фамилия ни о чем не говорила: ни книг его, ни реальной судьбы почти никто не знал. И Нарбут, переименованный Катаевым в Колченогого, стал в преддверии любителей поэзии таким, каким предстал в «Алмазном венце».

Видимо, есть особый тип людей, чья жизнь дает повод к возникновению легенд. В сознании тех, кто занимался литературой профессиональ-

* Катаев В. П. Алмазный мой венец. М., 1980.

но, уже существовал к тому времени еще один Нарбут. В 1928 году поэт Георгий Иванов выпустил в Нью-Йорке книгу воспоминаний «Петербургские зимы». Одна из ее глав была посвящена Нарбуту.

Почти сразу же с появлением воспоминаний Иванова их автора стали критиковать за множество неточностей и даже домыслов. Не верить «Петербургским зимам» призывали одна из их героинь, Анна Ахматова, и вдова другого их героя, Надежда Мандельштам. Но цитаты из ивановского труда, выдержавшего сегодня за рубежом почти с десяток изданий, стали-таки мало-помалу попадать в литературоведческие работы, «Зимы» стали формировать отчасти представление об атмосфере литературной жизни начала века.

В отличие от Катаева, оговорившего специально, что его произведение — художественное и не дает достоверных фактов, Георгий Иванов этого не сделал. А мемуарам привыкли верить. Так возникла в русской литературе еще одна мистификация. Пришло время стереть ее с «лица» Нарбута, поэта и человека большого и своеобразного и в мистификациях не нуждающегося.

Делать это специально вряд ли стоит. Стоит рассказать о его реальной судьбе, а по ходу рассказа сравнить факты с легендой.

В 1909—1910 годах в Петербурге начала стремительно восходить звезда молодого «мирискусника», рисовальщика и графика Георгия Нарбута. Жил он в то время в просторной и открытой всем ветрам квартирке известного живописца Ивана Библина. Любезно принял Библин и двадцатилетнего брата Нарбута Володю, поступившего на историко-филологический факультет Петербургского университета. В бурную компанию столичных декадентов молодой студент вошел без труда, благо характер имел неробкий. При случае с удовольствием читал свои стихи, с гордостью носил «пушкинский» темно-зеленый, с большими отворотами и «упрямой талией» сюртук Александра Блока, подаренный поэтом Библину.

Хождения В. Нарбута по редакциям были поначалу вполне тщетными. Впервые стихи согласились опубликовать лишь в «Студенческом сборнике», вышедшем в 1909 году в богом забытом Вышнем Волочке. А стихов уже накопилось на книжку. В 1910 году он ее и выпустил в издательстве «Дракон». Разослал по редакциям. Подарил друзьям. По начинающейся дружбе, да еще из желания прочно связать молодого поэта со своим кругом, на сборник откликнулся в «Аполлоне» Николай Гумилев. Основоположник акмеизма вынес приговор: да, неплохо порой по форме, звукописи, но нет оригинальности, своего особого видения мира.

Все было справедливо. Составившие книгу стихи о природе действительно были похожи скорее не на акварельные пейзажные зарисовки, а на их журнальные репродукции. Модные эпигоны символизма Дмитрий Цензор и Владимир Пяст штамповали такие стихи сотнями. Стихотворцев этих, кстати, и хотел пригласить В. Нарбут в число сотрудников организованного его друзьями студенческого журнала «Гаудеамус». Но, посланный редакцией к Блоку, чтобы привлечь его к сотрудничеству, он рассказал о своих планах. «Не делайте этого,— сказал Блок.— Они совсем не поэты».

Роскошно оформленный, отпечатанный на меловой бумаге, «Гаудеамус», собравший в основном молодые поэтические силы — Анну Ахматову, Георгия Иванова, Сергея Городецкого,— тем не менее «плыл по морю символизма на полных парусах», и, к одиннадцатому номеру сев

на мель непопулярности, благополучно скончался. Нарбут же решил к тому времени примкнуть к организованному Гумилевым «Цеху поэтов».

Здесь, как хорошо известно, и возникло вскоре новое, противопоставившее себя символизму литературное течение — акмеизм. В выпускавшемся «Цехом» журнальчике «Гиперборей» стихи Нарбута — почти в каждом номере. Когда же в № 1 за 1913 год журнала «Аполлон» статьи Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» и С. Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии» акмеизм был объявлен «городу и миру», поэзия Нарбута уже упоминалась одним из авторов в качестве яркого воплощения нового направления.

А годом раньше литературный Петербург облетела весть: по постановлению суда сожжена книга молодого поэта Влад. Нарбута «Аллилуйя». Немногие счастливицы, получившие «Аллилуйю» от самого автора еще из типографии, с интересом читали отпечатанный на серой, плотной, под старину, бумаге сборник. В выходных данных значилось, что контуры букв заимствованы из Псалтири, относящейся по времени к началу XVIII века, и что клише для обложки выполнены по набору, сделанному Синодальной типографией. Но при первом же взгляде на обложку вся эта православная официозность начинает дрожать, искривляться и... хихикать. Художник книги Георгий Нарбут сумел очень точно передать мысль брата-поэта. Стилизованные церковнославянские буквы живут отнюдь не праведной, скорее кощунственной жизнью. Заглавное слово «Аллилуйя» как бы звучит — так, как его поют в церкви: буквы «а» и «у» уменьшены. А вот в подзаголовке «стихи», наоборот, выделен слог «хи». В названии издательства — «Цех поэтов» — слово «цех» явно кусается и будто колючками колется.

Все это ерничанье — в полном соответствии с содержанием. Из «Аллилуйи» в русскую поэзию вошли «разухабистые жеребцы», что «рушатся на крупы самок», лесовик в вонючих онучах, который у бабы «лапой груди выжимает», заплывшая жиром свинья, крысы, гниль украинских болот. Сатирический эффект книги был ошеломляющ. В № 6 «Аполлона» за 1912 год Гумилев писал следующее: «Первое поколение русских модернистов увлекалось, между прочим, и эстетизмом. Их стихи пестрели красивыми, часто бессодержательными словами, названиями. В них действительно, по словам Бальмонта, «звуки, краски и цветы, ароматы и мечты, все сошлись в согласный хор, все сплелись в один узор». Реакция появилась во втором поколении (у Белого и Блока), но какая нерешительная, скоро кончившаяся. Третье поколение пошло в этом направлении до конца. М. Зенкевич и еще больше Владимир Нарбут возненавидели не только шаблонное изящество, но и всякое вообще. Их внимание привлекло все подлинно отверженное, слизь, грязь и копыт мира. Но там, где Зенкевич смягчает бесстыдную реальность своих образов дымкой отдаленных времен или отдаленных стран, Владимир Нарбут последователен до конца, хотя, может быть, и не без озорства».

С нескрываемой гордостью «Гиперборей» из номера в номер помещал в списке изданий «Цеха поэтов» против описания книги «Аллилуйя» пожирнее набранное «наложен арест», а затем — «уничтожена по постановлению суда»...

В воспоминаниях о писательнице Нине Петровской Владислав Ходасевич писал, что символизм в России был не просто литературным течением. Символисты пытались создать особую философию жизни, в которой каждый шаг должен быть актом символистского творчества, в чем бы это ни выражалось — в художественном произведении или личной судьбе.

Нина Петровская — одна из самых ярких «творителей» жизни как символистского произведения, чуть ли не наравне с Брюсовым и Белым. Но в отличие от последних ее символистский талант воплотился не в литературу, а лишь в судьбу*.

Русский акмеизм, пришедший на смену символизму, не мог не претендовать на роль такой же жизненной философии. Критикуя «кабинетных искателей тайн мироздания», он хотел возвращения к жизни. Но просто живой жизни им было мало. Хотелось жизни в превосходной степени живой — дикой порфиры, страстей конквистадоров, родео и сафари.

Став акмеистом, Владимир Нарбут, как и Н. Петровская, во многом творил «акмеистическую» судьбу. С той, однако, оговоркой, что талант Нарбута раскрывался в поэзии не меньше, чем в жизни.

У Нарбута всегда было непреодолимое стремление руководить каким-либо изданием: организовывать, направлять, полемизировать.

Вклад Нарбута в русскую и особенно советскую журналистику значителен и ждет своего исследователя.

Одно из первых его редакторских начинаний приходится на начало 1913 года. Именно об этом и «повествует» в «Петербургских зимах» Георгий Иванов:

«...Нарбут решил издавать журнал.

Но хлопотать над устройством журнала ему было лень, и вряд ли из этой затеи что-нибудь вышло бы, если бы не подвернулся случай. Дела дешевого ежемесячника — «Новый журнал для всех» — после смены нескольких издателей и редакторов стали совсем плохи. Последний из издателей этого, ставшего убыточным, предприятия предложил его Нарбуту. Тот долго не раздумывал. Дело было для него самое подходящее. Ни о чем не нужно хлопотать, все готово: и контора, и контракт с типографией, и бумага, и название. Было это, кажется, в марте. Апрельский номер вышел уже под редакцией нового владельца.

Вероятно, подписчики «Нового журнала для всех» были озадачены, прочтя эту апрельскую книжку. Журнал был с «направлением», выписывали его сельские учителя, фельдшерицы, то, что называется «сельской интеллигенцией». Нарбут поднес этим читателям, привыкшим к Чирикову и Муйжелю, собственные стихи во вкусе «Аллилуйя», прозу Ивана Руквишеникова, а отделы статей от политического до сельскохозяйственного «занял» под диспут об акмеизме, с собственным пространственным и сумбурным докладом во главе. Тут же объявлялось, что обещанная прежним издателем премия — два тома современной беллетристики — заменяется новой: сочинения украинского философа Сквороды и стихи Бодлера в переводе Владимира Нарбута.

Подписчики были, понятно, возмущены. В редакцию посыпались письма недоумевающие и просто ругательные. В ответ на них новая редакция сделала «смелый жест». Она объявила, что «Журнал для всех» вовсе не означает «для всех тупиц и пошляков». Последним, т. е. требующим Чирикова вместо Сквороды и Бодлера, подписка будет прекращена, а удовлетворены они будут «макулатурой по выбору» — книжками «Вестника Европы», сочинениями «Надсона или Иванова-Разумника».

* Х о д а с е в и ч В. Некрополь. Воспоминания. Брюссель, 1939, с. 3—15.

Тут уж по адресу Нарбута пошли не упреки, а вопль. В печати послышалось «позор», «хулиганство» и т. п. Более всего Нарбут был удивлен, что и его литературные друзья, явно предпочитавшие Бодлера Чирикову и знавшие, кто такой Скворода, говорили почти то же самое. Этого Нарбут не ожидал — он рассчитывал на одобрение и поддержку. И получив вместо ожидавшихся лавров одни неприятности, решил бросить журнал. Но легко сказать — бросить. Закрыть? Тогда не только пропадут уплаченные деньги, но придется еще возвращать подписку довольно многочисленным «пошлякам и тупицам». Этого Нарбуту не хотелось. Продать? Но кто же купит?

Покупатель нашелся. Нарбут где-то кутил, с кем-то случайно познакомился, кому-то рассказал о своем желании продать журнал. Тут же в дыму и чаду кутежа (после неудачи с редакторством Нарбут «загулял всю») подвернулся и сам покупатель — благообразный полный господин купеческой складки, складно говорящий и не особенно прижимистый. Ночью в каком-то кабаке, под цыганский рев и хлопанье пробок ударили по рукам, выпив заодно и на ты. А утром невыспавшийся и всклокоченный Нарбут был уже у нотариуса, чтобы оформить сделку — покупатель очень торопился.

Гром грянул недели через две — когда вдруг как-то сразу узнали, что «декадент Нарбут» продал как-никак «идейный и демократический» журнал Гарязину — члену союза русского народа и другу Дубровина.

* * *

После истории с Гарязиным Нарбут исчез из Петербурга. Куда? Надолго ли? Никто не знал. Прошло месяца три, пока он объявился.

Объявился же он так. Во все петербургские редакции пришла краткая, но эффектная телеграмма:

«Абиссиния. Джибутти. Поэт Владимир Нарбут помолвлен с дочерью повелителя Абиссинии Менелика».

Вскоре пришло письмо с абиссинскими штемпелями и марками, в центре которых красовался герб Нарбутов, оттиснутый на лиловом сургуче с золотой искрой. На подзаголовке под штемпелем «Джибутти. Гранд-Отель» стояло:

«Дорогие друзья (если вы мне еще друзья), шлю привет из Джибутти и завидую вам, потому что в Петербурге лучше. Приехал сюда стрелять львов и скрываться от позора. Но львов нет, и позора, я теперь раскусил, тоже нет: почему я знал, что он черносотенец? Я не Венгеров, чтобы все знать. Здесь тощища. Какой черт сюда занес? Впрочем, скоро приеду и сам все расскажу.

...Брак мой с дочкой Менелика расстроился, потому что она не его дочка. Да и о самом Менелике есть слух, что он семь лет тому назад умер...»

Приехал Нарбут из Африки какой-то желтый, заморенный. На «приеме», тотчас же им устроенном, — он охотно отвечал на вопросы любопытных об Абиссинии, — но из рассказов его выходило, что «страна титанов золотая Африка» — что-то вроде русского захолюстья: грязь, скука, пьянство. Кто-то даже усомнился, да был ли он там на самом деле?

Нарбут презрительно оглядел сомневавшегося.

— А вот приедет Гумилев, пусть меня проэкзаменует.

«... — Как же я тебя экзаменовывать буду, — задумался Гумилев. — Язы-

ков ты не знаешь, ничем не интересуешься... Хорошо,— что такое «те-кели»?

— Третью рома, третью коньяку, содовая и лимон,— быстро ответил Нарбут. — Только я пил без лимона.

— А... — Гумилев сказал еще какое-то туземное слово.

— Жареный поросенок.

— Не поросенок, а вообще свинина. Ну ладно, скажи мне теперь, если пойдешь в Джибутти от вокзала направо, что будет?

— Сад.

— Верно. А за садом?

— Каланча.

— Не каланча, а остатки древней башни. А если повернуть еще направо, за башню, за угол?

Рябое, безбровое лицо Нарбута расплылось в масляную улыбку:

— При дамах неудобно.

— Не врет,— хлопнул его по плечу Гумилев.— Был в Джибутти. Удо-стоверяю»*.

Не правда ли, бойко написано. Другое дело, что истины здесь лишь с полслова.

Нарбут приобретает права на издание «Нового журнала для всех» действительно в феврале 1913 года. Он немного обновляет поэтический отдел. Более живо ведется и раздел «Новые книги». Проза же и публицистика остаются в журнале прежними, о чем, кстати, и сообщил издатель своим подписчикам на обложке майского номера журнала: «Новое издательство, приняв на себя ведение дела, выполнит все обязательства прежнего издателя перед подписчиками. Программа журнала и состав его сотрудников остаются теми же и на будущее время».

Пригрезились «мемуаристу» и номер, наполненный акмеистическими манифестами, и грубая перебранка с подписчиками. Так обстоит дело с журналом. Что же касается поездки Нарбута в Африку, то состоялась она отнюдь не после продажи издания другому владельцу, а уже в декабре 1912 года. Кстати, в № 5 редактируемого им журнала Нарбут помещает стихотворение «Прокаженные», под которым значилось место написания: г. Харар (Абиссиния).

По возвращении поэт публикует в крупнейшей русской газете «Речь» и обстоятельный этнографический очерк «Город раса Маконена».

Поездка Нарбута в Эфиопию — это во многом «конструирование» судьбы в акмеистическом жанре. За несколько лет до него такое путешествие предпринял будущий метр «Цеха поэтов» Николай Гумилев. «Главный» акмеист охотился на львов и вообще стремился зачерпнуть экзотики полными пригоршнями. Нарбута меньше привлекала экзотика, в его стихах и очерке о поездке он пишет о быте, нравах, культуре черных христиан. Пишет сочно, натуралистично, по свойству своего мирозерцания сосредоточившись на плоти сохранившегося, по его мнению, почти в первозданном хаосе мира Эфиопии.

Так неужели Георгий Иванов, поэт, близкий к кругу акмеистов, забыл реальные факты? Нет. Сыграла антипатия к тем, кто не покинул Россию. Довольно изящная, но отнюдь не безобидная ивановская легенда заканчивается так: «...В 1920 году в книжном магазине я увидел тощую книжку, выпущенную каким-то из провинциальных отделов «Госиздата»: «Вл. Нарбут. Красный звон» или что-то в этом роде. Я развернул ее. Рифмы

* И в а н о в Г. Петербургские зимы. N-Y., 1952, с. 152—161.

«капитал» и «восстал» сразу же попались мне на глаза. Я бросил книжку обратно на прилавок...»

В конце 1918 года в Воронеже, провинциальном по тем временам городе, в тысяче километров от обеих столиц, — а расстояния удесят�ерялись тогда разрухой, голодом, неразберихой, — вышел журнал, «пролетарский двухнедельник» «Сирена». Оформленный с большим вкусом знаменитым графиком дореволюционной России Сергеем Чехониным, журнал удивлял все-таки прежде всего авторами: Александр Блок, Анна Ахматова, Алексей Ремизов, Осип Мандельштам. В первом номере на вклейке с фотографией А. В. Луначарского факсимильно воспроизводилось приветствие наркома: «Желаю успеха журналу дорогих Воронежских товарищей. 9.X.18».

На фоне доносящихся уже из центров шумных заявлений Пролеткульта о категоричном отказе от всего культурного наследия прошлого программа «Сирены» выглядела подкупающе трезвой и обдуманной: «Мы не стоим на той точке зрения, что расцвету пролетарской культуры вообще и пролетарского искусства в частности должен предшествовать полный разрыв со всеми богатствами старого мира... Было бы преступлением вырвать из рук рабочих масс наследство, оставленное ему художниками слова, только на том основании, что эти последние — из среды буржуазной интеллигенции...»

Для тех, кто следил за поэзией предреволюционных лет, «неожиданность» «Сирены» была объяснимее: ее редактором был Владимир Иванович Нарбут.

Он воспринял революцию как стихийную месть, сметающую на своем пути всю нечисть, вековую грязь духовного рабства, затхлость салонов и гнильцу усадеб. Во многом, как и Блок, он видел ее в символах полумистических:

Щедроты сердца не разменяны,
И хлеб, все те же пять хлебов.
Россия Разина и Ленина,
Россия огненных столбов.

(«Россия»)

Но символика Нарбута сложнее блоковской. В небольшой поэме «Большевик», например, революционер у него — Иуда, предающий Христа. Воскресение духа России Нарбут видел сквозь жестокую смерть мученика. Тысячи мучеников.

В начале 1919 года, уже член Коммунистической партии, Нарбут воюет в рядах Красной Армии на Дону и Украине. Видит тысячи смертей. По еще одной легенде, он сам был расстрелян и, чудом спасшись, вылез из-под груды тел. Как бы там ни было, гражданская отрубила ему кисть левой руки и в тяжелый, полумертвый груз превратила ногу.

В 1921 году он писал по поводу годовщины взятия красными Одессы, в котором сам принимал участие:

О, город Ришелье и Дерибаса,
Забудь себя, умри и стань другим...

Старый мир должен умереть, ведь даже в своих лучших представителях он полутруп. В двадцатом Нарбут общался в Севастополе с маститым фельетонистом дореволюционной России Власом Дорошевичем.

В небольшой статье об этой встрече он, явно обобщая, писал, что дух Дорошевича мертв, а «плоть... уже превратилась в протоплазму для размножающихся клеточек тления» *.

1920 год для Нарбута-поэта — стремительный взлет. В газетах, журналах и альманахах многих городов страны появляются его стихотворения. Выходят две книги. Одна из них, «Плоть», была воспринята как программная. Друг Нарбута, молодой поэт, а впоследствии известный стиховед и переводчик Георгий Шенгели назвал статью о его творчестве «Мир как плоть». Не знаю, увидела ли статья свет, — как найти ее в тысячах газет тех лет, — извлек ее из архива **. Шенгели сравнивает Нарбута с Бодлером и, полемизируя с вымышленным противником-эстетом, заявляет, что такая поэзия «ничуть не хуже откровенностей фламандских живописцев». А переходя к формальному анализу, делает вывод: «Каждое его слово занимает строго определенное место, имеет строго определенное значение и столь же определенно соотносится с другими словами. От этого пустых мест, «заставок» в стихах Нарбута нет вовсе, и от этого, быть может, они несколько трудны для чтения: слишком насыщены».

Стихи поэта сложны для чтения еще и по другой причине. Она во многом в поэтике акмеизма. Как и его соратник по «Цеху поэтов» Осип Мандельштам, Нарбут считал самоценными для творчества глубоко личные ассоциации. Очень показателен для его творческой философии следующий случай. В 1923 году харьковский журнал «Календарь искусств» опубликовал стихотворение Нарбута «Белье»:

В эмалированном тазу
Полощет, мраморное ищет,
И мыло синью — в стрекозу
Затюпивает голенищи.
Выкручивает и — на стол,
И сохнет соль и сода пены,
Как и подтыканный подол
В рассыпанных цветах вербены.
Обрюзгший флигель, канитель
Гербов и флаги — панталоны;
И треугольник капитель
Поперла, навалясь колонной.
Проплешины не штукатур
Замазывает, — кистью плесень,
И селезень он — самодур! —
Глупей от перьев и от песен...
Взошло, взошло на небеса

Гремуче феодализма
И в пузыре, что поднялся,
В той радуге, — мигает клизма.
Лишь тут — плечист и мускулист,
Поджарый, ловкий от сноровки, —
И вешает белье на лист,
Чуть взбалтываются веревки.
А ночью, на ветру, белье,
Такой же призрак и не вспомнит!
И ставшая другой рука
На радугу стрекоз и мыла,
И селезня из тупика
Под флигелем — жгутами взмыла.
И глянцевет емкий таз,
И погребальный весел мрамор,
Чья сеть — мыслете выкрутас
Камаринский вождей карамор.

А в следующем номере журнала был опубликован такой комментарий:

«Редакцией было получено несколько писем от читателей с просьбой

* Король в тени (Из встреч с писателями). «Художественная мысль». Харьков, 1922, № 3, с. 6—7.

** ЦГАЛИ, ф. 2861, оп. 1, ед. хр. 247.

«разъяснить непонятные стихи В. Нарбута, помещенные во 2-м №-ре Календаря Искусств».

Считая, что «комментарий» к стихотворению даже «непонятному» вещь более чем странная и скорее может иметь интерес и оправдание не как таковой, а для понимания процесса творчества и путей его (ассоциации, восприятия и т. п.), редакция направила полученные письма автору.

Ниже мы помещаем его ответ. Полагаем, что фраза о «более, чем понятности и примитивности», сопоставленная с фактом присылки писем, не лишена интереса.

1) Распотрошенное помещичье гнездо — теперь совхоз.

2) Призрак феодализма — глупый селезень.

3) Батрачка стирает белье у крыльца, где раньше разбиты были клумбы с вербенами.

4) Рабочий, муж ее, развешивает перемытое.

5) Через таз, мраморное мыло, пузыри, стрекозину радугу, выкрутасы комаров — карамор — к мускулам, чистоте, труду.

Такова диалектика этого стихотворения. Оно — более, чем понятно и, пожалуй, даже примитивно».

Но тот, кто потрудится, чтобы преодолеть это «высокое косноязычье», уже не пожалее потраченных сил, поскольку творчество Нарбута — одна из самобытнейших и оригинальнейших страниц русскоязычной поэзии. Как никто другой, он не только слышал и видел мир — ощущал его «нутром», всем телом.

В его стихах 20-х годов есть что-то языческое, в смысле включенности в бытие, осознания естественности всего цикла жизни, вплоть до смерти. В эту поэзию как бы воплотилась философская идея К. Э. Циолковского о монизме, единстве Вселенной. Как и калужский мыслитель, Нарбут, видимо, верил, что клеткам человеческого тела после его физиологической смерти будет возвращена вся гамма чувств и ощущений через перерождение в листве деревьев, траве, плоти животных. Такой взгляд выводит и на уровень социальный: человек должен бороться за счастье естественности, гармоничности общественной, духовной, телесной. Все, что нарушает гармоничный цикл жизни, Нарбут ненавидит, высмеивает, разрушает.

В Одессе Нарбут возглавляет отделение Российского телеграфного агентства «ЮГРОСТА». Вскоре он был назначен заведующим Всеукраинским бюро РОСТА в Харькове. Но издателю «по крови» Нарбуту хотелось деятельности еще более широкой, более захватывающей. «А что, кабы затеять еженедельную литературную (по понедельникам) газету, а?» * — писал он в конце 1921 года в Москву Э. Я. Кроткому.

И вот в конце 1922 года Нарбут перебирается в Москву. Работает в отделе печати ЦК ВКП (б), организует и возглавляет издательство «ЗиФ» («Земля и фабрика»), редактирует несколько выходящих в нем журналов. Он больше не пишет стихов. Его знакомец К. Зеленский вспоминал много лет спустя: «Владимир Нарбут, вступив в партию большевиков, почему-то почти оставил поэзию. Став редактором газет, организатором первых радиопередач, он словно запер в себе, как краску в тюбике, крутое, почти физиологически ощутимое тесто слов» **.

* Зелинский К. На рубеже двух эпох. Литературные встречи. 1917—1920. М., 1962, с. 20.

** ЦГАЛИ, ф. 2566, оп. 1, ед. хр. 158.

Похоже, Нарбут считал, что нужнее в данный момент — публицистика. По статьям, рецензиям, заметкам, во множестве появлявшимся в журнале «Журналист», можно только удивляться широте его интересов, разнообразию тем, к каждой из которых он подходил серьезно и вдумчиво.

В рецензии на работы о языке Ленина, показывая солидную лингвистическую подготовку, он подсказывает методологию анализа ленинского стиля функциональным путем; в отзыве об очерке история рабочей печати подправляет периодизацию; в заметке о труде библиографа подчеркивает жизненную необходимость научно-вспомогательной библиографии в работе литератора. Пафосом просветительства, резким неприятием групповых литературных распрей отличаются многочисленные его статьи по вопросам пролетарской и крестьянской литературы.

Близкий его друг, поэт-акмеист Михаил Зенкевич написал в те годы стихотворение «Отходная из стихов», которое заканчивалось так:

Свершу самоубийство, если я
На миг поверю, что с тобой
Расстаться можно так, поэзия,
Как сделал Нарбут и Рембо*.

Зенкевич будто бы знал, что рано или поздно поэзия к Нарбуту вернется.

В 1928 году, исключенный из партии за дворянское происхождение, Нарбут был отброшен от «ЗиФа» и всего водоворота журнально-издательских дел. Тщетно стучался он в редакции журналов. Все тяжелевшая атмосфера культа личности затрудняла дыхание. Как всегда деятельный и энергичный, он пытается прорваться к «истокам» событий, чтобы разобратся в них не по газетам, а самостоятельно. «Нельзя ли так устроить,— писал он в те годы редактору «Крестьянского журнала» Федору Панферову,— чтобы я и Мандельштам смогли бы побывать в одном из совхозов (предпочтительно — животноводческий, технических культур и т. п.)? Примерный срок — декады две... Если это возможно, посодействуйте»**.

Он вернулся к стихам. Они стали иными в большинстве своем — лишенными эмоций, сухими, рационалистически осмысленными. Делалось это сознательно. Нарбут решил внедрить в родную словесность научную поэзию француза Рене Гиля, разрабатывавшего в художественном творчестве философские концепции позитивизма. Научные стихи появились в начале 30-х в «Новом мире», в «Красной нови», «Молодой гвардии». Они не стали событием — это нечасто случается с первыми опытами. Успел он собрать и выпустить сборник воспоминаний и статей о своем младшем друге Эдуарде Багрицком, вместе с вдовой поэта готовил его собрание сочинений. Воспоминания вышли в самом конце 1936-го. Через полгода Нарбут был арестован. Еще через полгода из библиотек исчезли все его книги.

Всерьез юношеской дружбе, Зенкевич в небольшой заметке, предвещающей в «Дне юозии. 1967» стихотворение Нарбута «Россия», писал: «Поэзия Нарбута оказала влияние на многих современных поэтов. Его считал одним из своих главных учителей Э. Багрицкий. К сожалению, широкому читателю из-за отсутствия переизданий творчество этого самобытного большого поэта мало известно».

* Зенкевич М. Избранное. М., 1973, с. 75.

** ЦГАЛИ, ф. 1128, оп. 2, ед. хр. 228.

АННА АХМАТОВА

ПРО СТИХИ

Владимиру Нарбуту

Это — выжимки бессонниц,
Это — свеч кривых нагар,
Это — сотен белых звонниц
Первый утренний удар...

Это — теплый подоконник
Под черниговской луной,
Это — пчелы, это — донник,
Это — пыль, и мрак, и зной.

ВЛАДИМИР НАРБУТ

{1888—44(?)}

ЧЕТА

Блаженство сельское!
Попить чайку
с лимоном, приобретенным
в лавчонке,
где продавец, как аист, начеку,—
сухой, предупредительный
и звонкий;
прихлебывая с блюдечка, на дне
которого кресты выводит лавра,
о мельнице подумать, о коне
хромящем: его бы в кузню
завтра...
И, мысли-жернова вращая, вдруг
спросить у распотевшейся супруги:
— А не отдать ли, Машенька,
на круг
с четвертой Тимофеевку в яруге? —
И баба в пестром плисовом чепце,
похлопав веками
(совсем по-совьи),
морщинки глубже пустит на лице,
питающемся вылинявшей кровью,
обдернет скатерть и —
промолвит: «Ну»...
И это «ну» дохнет годами теми,
когда земля баюкала весну,
как Евы и Адама сны в Эдеме.
О, время, время!
Скользкое, как уж,
свернулось ты в душе и — где же
ропот?
— В дежу побольше насолить бы
груш,

надрать бы пуху с гусаков...—
И копит
твое бессменное веретено
и нитки стройные, и ключья пакли.
Но вот запнулось, гулкое, оно:
ослабли руки, и глаза' иссякли
И что́ с того, что хлопотливый поп

ВЕДЬМА

Луна, как голова, с которой
кровавый скальп содрал закат,
вохрой окрасила просторы
и замутила окна хат.
Потом, расталкивая тучи,
стирая кровь о их бока,
взошла и — желтый и тягучий
погнала луч издалека.
И в хате мшистой, кривобокой
закопшилось, поползло
и — скоро пристальное око
во двор вперилось, сквозь стекло.
И в тишине сторожкой можно
расслышать было, как рука
нащупывала осторожно
задвижку возле косяка.
Без скрипа, шелеста и стука
горбунья вылезла и — вдруг
в худую, жилистую суку
оборотилась и — на луг.
Цепляясь крепкими когтями,
перескочила через тын
и — вот прыжки несут уж сами
туда, где лег кротом овин.
А за овином, в землю вросшим,—

похряскивает над тобой кадилом,
что в венчике бумажном стынет
лоб,
когда ты жил таким ленивцем
милым,
когда и ты наесть успела зоб!..

коровье стойло: жвачка, сап...
Подкрадывается к гороже,
зажавши хвост меж задних лап.
Один, другой, совсем нетвердый,
прозрачно-легкий, легкий шаг
и — острая собачья морда
нырнула внутрь, в полупутьмах.
В углы шарахнулась скотина...
Не помышляя о грехе,
во сне подпасок долгоспинный
раскинулся на кожухе.
И от кого-то заскорузлой
отмахивается рукой...
А утром розовое сусло
(не молоко!) пошлет удой.
А если б и очнулся пастырь,
не сцапал бабы б все равно:
прикинется метлой вихрастой,
валяется бревном-бревно.
И только первого помета
опасен ведьмам всем щенки!
Зачует — ох! — и огороды
гребет ногами: наутек!
И после, в хате, мелкой дрожью
исходит, корчась на печи,
как будто смерть по придорожью
несли в щенке луны лучи!

САМОУБИЙЦА

В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!

А. Пушкин

Ну, застрелюсь. И это очень просто:
нажать курок, и выстрел прогремит.
И пуля виноградиной-наростом
застрянет там, где позвонки торчат,
поддерживая плечи — для хламид.
А дальше — что?
Поволокут меня

в плетущемся над головами гробе
и, молотком отрывисто звеня,
придавят крышку, чтоб в сырой утробе
великого я дожидался дня.
И не заметят, что, быть может, гвозди
концами в сонную вопьются плоть:
ведь скоро, все равно, под череп грозди
червей забудутся и — начнут полоть
то, чем я мыслил, что мне дал господь.
Но в светопреставленье, в Страшный Суд —
язычник! — я не верю: есть же радий.
Почию и услышу разве зуд
в лиловой, прогнивающей громаде,
чьи соки жесткие жуки сосут?
А если вдруг распорет чрево врач,
вскрывая кучу (цвета кофе) слизи,—
как вымокший заматерелый грач,
я (я — не я!), мечтая о сюрпризе,
разбухший вывалю кишок калач.
И, чуя приступ тошноты и вони,
свивающей дыхание в спираль,
мой эскулап едва-едва затронет
пинцетом, выскобленным, как хрусталь,
зубов необлупившихся эмаль.
И вновь,— теперь уже, как падаль,— вновь
распотрошенного и с липкой течкой
бруснично-бурой сукровицы, бровь
задравшего разорванной уздечкой,
швырнет меня...
Обиду стерла кровь.
И ты, ты думаешь, по нем вздыхая,
что я приставлю дуло (я!) к виску!
...О, безвозвратная! О, дорогая!
Часы спешат, диктуя жизнь: «ку-ку»,
а пальцы, корчась, тянутся к курку...

В СКЛЕПЕ

Позеленела каждая кость,
Выветрилась, как память, известка.
Было и будет так: только горсть
Пепла, тумана, холода, воска.
Где же теперь ты, нега моя?
Где? И не все ли в мире едино:
Волос и шерсть, перо, чешуя —
Глина жужжащая господина?
Где же искать мне губ твоих пух,

Иней, что мы и летом растили,
Если собачье ухо в лопух
Жизнь развернула, воя в могиле?
Слушать тебя, тобою дышать
И, задохнувшись душным помолом,
Ноздри раздув, кобылой проржать,
Мчась через гати, по суходолам.
В этом ли ты меня не поймешь?
Взоров не знать бы мне синеглазым!
Сам на себя отточенный нож
(Черт-полумесяц) грею за пазухой.

* * *

Одно влечение: слышать гам,
чуть прорывающий застой,
бродя всю жизнь по хуторам
Григорием Сквородой.
Не хаты и не антресоль
прельстят, а груши у межи,
где крупной зернью ляжет соль
на ломоть выпеченной ржи.
Сверчат кузнечики.
И высь —
сверкающая кисея.
Земля-праматерь!
Мы слились:
твое — мое, я — ты, ты — я.
Мешает ветер пятачки,
тень к древу пятится сама;
перекрестились ремешки,
и на плечах опять сума.
Опять долбит клюка тропу,
и сердце, что поет, журча,—
проклюнувшее скорлупу,
баюкаемое курча.

* * *

Лавина, сонная от груза,
Дохнула холодом на шлях,
И град — не град, а кукуруза,
Что в синих вызрела полях.
Сыпнуло мутным и каленым
По косогорам и низам,—
И, как павлин, хвостом зеленым

Играет день по небесам.
Взмордованный ройбою улей,
Шумит и гаснет темный гром.
И красноперою зозулей
Кукует сердце под ребром.
И вновь по жилам, что стеблями
Вросли в меня, ползет вино,—
И в златосолнечном Адаме
Яйцо грозой опылено.

* * *

России синяя роса,
крупитчатый, железный порох,
и тонких сабель полоса,
сквозь вихрь свистящая
в просторах,—
кочуйте, Мор, Огонь и Глад —
бичующее Лихолетье:
отяжелевших век огляд
на борозды години третьей.
Но каждый час, как вол, упрямя,
ярмо гнетет крутую шею;
дубовый поросли грубее,
рубцуются рубяки шрам;
и, желтолицый печенег,
сыпняк, иззябнувший в шинели,
ворочает белками еле
и еле правит жизни бег...
Взрывайся, пороха крупа!
Свисти, разящий полумесяц!
Россия — дочь!
Жена!

Ступай —
и мертвому скажи: — «Воскресе».
Ты наклонилась, и ладонь
моя твое биенье чувствует,
и конь, крылатый, молодой,
тебя выносит — вон, из тучи...

Харьков, 1919 г.

* * *

Зачем ты говоришь раной,
алеющей так тревожно?
Искусственные румяна
и локон неосторожный.
Мы разно поем о чуде,
но голосом человеческим
и, если дано нам будет,
себя мы увековечим.
Протянешь полную чашу,
а я — не руку, а лапу.
Увидим: ангелы пашут,

и в бочках вынуты кляпы.
Слезами и черной кровью
сквозь пальцы брызжут на глыбы;
тужеет вымя коровье,
плодятся птицы и рыбы.
И ягоды соком зреют,
и радость полощет очи...
Под облаком, темя грея,
стоят мужик и рабочий.
И этот — в дырявой блузе,
и тот — в лаптях и ряднине:
рассказывают о пузе
по-русски и по-латыни.
В березах гниет кладбище,
и снятся поля иные...
Ужели бессмертия ищем
мы, тихие и земные?
И сыростию тумана
ужели смуть невозможно
с проклятой жизни румяна
и весь наш позор осторожный?

Москва, 1918 г.

ВСЕГДА В ПУТИ



ЮРИЙ КАМИНСКИЙ

Родился в 1942 году в Кашкадарьинской области в Узбекистане. Окончил филологический факультет Кировоградского педагогического института. Автор сборников стихотворений «Пора ледохода», «Ранний свет», «Неторопливая звезда», «Речь».

Член СП СССР.

* * *

Наши дети не будут писать о войне...
Да и мы уже пишем совсем не о ней —
О весне,
что в промерзшем овраге лежит...

Инвалид над оврагом листву ворошит.
Внук и внучка в саду помогают ему —
Ворошат прошлогоднюю стылую тьму,
И смеются, смеются, друг друга смешаша...

Дед невесел —
опять разболелась душа:
Как во сне
над открытой могилой войны
Он один
виновато стоит
без вины...

Наши дети не будут писать о войне —
О зиме?
Если будет зима —
о зиме.

Если дети останутся на земле.

ИДУЩИЙ К НАМ ГОД

И снова, как в детстве,
лицом прижимаясь к стеклу,
Как в омут речной,
погружаюсь в морозную мглу.

СВЕТЛАНА ВИШНЕВСКАЯ

Родилась в Белоруссии, в городе Витебске. Окончила филологический факультет Ленинградского университета. Печаталась в журналах «Аврора», «Нева», в альманахах «День поэзии», «Молодой Ленинград», «Поэзия».

* * *

Зеленое вечернее окно,
Струятся легким шелком занавески.
И, словно льдышки в инее лесном,
Светильника тяжелые подвески.

Прозрачный шелк, по кромке кружева,
Причудливо-затейливые складки.
Пока душа-скиталица жива,—
Уют соткать, чтоб было все в порядке.

Секунды — вспышки. Бледная душа
Молчит, застыв над впадиною ночи.
Каркасы жизни хрупкие круша,
Там пляшет пламя, лижет и хохочет.

Нестрашно вмиг судьбу преодолеть,
Опередить в себе прыгучесть зверя,—
Достаточно над пропастью суметь
Бессмертно улыбнуться и поверить.

* * *

Полночный свет от фонаря,
Его терзает гнутый ливень.
Все меньше в рощах октября.
Все больше дыр в шуршащей гриве.

Пышноволосые шумят.
Но продувная непогода
Ускорит гибельный распад
Былых блаженств под сферой свода.

* * *

Тоска — древнерусское свойство,
Ее не утопишь в снегах,
Ее не заменишь геройством,
Бесенком в бесстрашных глазах.

Казалось бы, радость случилась:
Душа, выбираясь из зла,
Доверчиво к людям стремилась,
Но путь к их сердцам не нашла.

* * *

Фасады фраз, живые храмы слов,
Незримые для глаз непросвещенных.
Есть тайный смысл утраченных основ
Слов огрубевших, злых, закрепощенных.

Орнаменты чеканные страниц
Определяют русла постиженья
Небес — путями перелетных птиц,
Предначертанья вечного движенья.

Вдыхаем жизнь и говорим слова.
И мысль перерождает нас упорно.
Когда молчим — молчанья жернова
Перетирают мысли-зерна.

Мы молоды, в нас юные права.
Мы древних букв счастливые потомки.
В нас утверждаются грядущих дней слова
И распадаются отживших слов обломки.

* * *

Все исчезает бесследно.
Здравствуй, но в путь не зови.
В бледной улыбке победной
Нет ни тепла, ни любви.

Лучше без прошлого, лучше
Заново, врозь навсегда.
В небе над жизнью дремучей
Свет обнажила звезда.

Звездный закон не нарушив,
Солнце в отмщенье святом
Наши понурые души
Выжжет рассветным лучом.

* * *

А ты, бескрылый, улетел.
Аэропорт. Осиротело
Стою. И небо — наш предел,
Тебя вобрав — зарей истлело.

Совсем не я пришла домой
И, не включая свет, молчала,
Я — та, что в бездну за тобой
Небесным росчерком умчала!

Сквозь грозовые облака
Меня влекла блага сила.
И, как незримая рука,
Я твой ночной полет хранила.

СЕРГЕЙ КРЫЖАНОВСКИЙ

Родился в 1939 году в Николаеве. Окончил Одесский государственный университет, филологический факультет. Более 12 лет работал на Черноморском судостроительном заводе. Автор трех поэтических сборников: «Поле зрения», «Излучина», «Погода у моря».

ЖРЕБИЙ

Еще он жив,
Твой самый кровный враг,
Он спит и видит,
Русская земля,
Чтоб ни былинки на твоих
Просторах,
Ни одного на зорьках журавля.

По швам расползся тот башмак
Батыев,
Сгорел тевтонский кованый сапог,
А он все пялит бельма налитые
На купола, на каждый новый стог.

В прямых лучах,
В предутреннем тумане
Ты и теперь
Загадка для него.
Не потому ли так безумца тянет
Развеять враз и дух, и естество?

Да что с того,
Не станешь ты золою,
Моя земля!
И жребий твой един —
В заветный срок
Над рощею живою
Встречать родной
Курлыкающий клин.

СИРЕНЬ

Мы еще тот сон не досмотрели,
Нам доньине голову кружат
Рокот моря, вечер

И сирени,
И сирени дикой аромат.

От несметных тех весенних свечек
Горизонт загадочно лилов,
Ты в букете ищешь редкий венчик
Из пяти счастливых лепестков.

И по воле чьей-то сокровенной
Он возник,
Сверкнул в единый миг.
Не проплать мне,
Юная сирена,
Мимо песен гибельных твоих.

Захлестнула сила неземная,
И зовет, и манит в глубину.
До сих пор я,
Берега не зная,
В тех лучах сиреневых тону.

КНОПКА ВЕКА

Эту кнопку только нажать
(Пять, четыре, три, два, один) —
Не успеет вникнуть в тетрадь
За уроки взявшийся сын.

Эту кнопку только нажать
(Пять, четыре, три, два, один) —
Испарится водная гладь,
Ни секвой, ни пальм, ни рябин.

Наше время ринется вспять,
И по всей Вселенной за ним
Будет диким эхом летать
5, 4, 3, 2, 1.

* * *

Долгой жизни не обещали нам
Ни цыганки, ни лекаря.
Мы уйдем в пучину молчания,
Как тяжелые якоря.

Ни о чем не просим заранее,
Только пусть над нами с утра
Вечно слышится рокотание
Моря нежности и добра.

БИОРИТМЫ

У меня под рукою
Листок глянцевитый,
Предугадывать дни
Я теперь не берусь.
ЭВМ рассчитала
Мои биоритмы,
Наперед расписала
И радость, и грусть.

Вон конец предпоследней
Апрельской недели.
Он из минусов весь,
Приготовься, мол, друг,—
Будешь утром глаза

Продирать еле-еле,
Станет все не даваться,
Валиться из рук.

Полоса неудач.
Я заранее знаю,
Спотыкнется звезда
В ледяной вышине.
И замкнусь я в себе
До тридцатого мая,
Где под плюсом и сила,
И память во мне.

Безошибочна жизнь,
Никаких опасений,
Что душа, захмелев,
Попадется впросак.
Я по схеме смеюсь,
Унываю по схеме,
Поступаю не этак,
А именно так.

Мне бы оду сложить
О тебе, электроне,
Петь величье твое!
Впрочем, нет, извини,
Я сегодня как раз
В сверхкритической зоне,
Нынче мне волноваться
И думать ни-ни.

НОБАТКУЛИ РЕДЖЕПОВ

Родился в 1946 году в городе Кушке на юге Туркмении. Окончил Туркменский государственный университет имени А. М. Горького. Работал учителем. Автор двух сборников стихотворений. Живет и работает в Ашхабаде.

ШИНЕЛЬ

Писателю и офицеру Нурмураду Сарыханову

Ему говорили: «Забудь про армейскую службу...»
Ему говорили: «Забудь про армейскую дружбу,
Когда на привале сдвигались весенние кружки
И с тихого неба слетал вечереющий свет...»
Ему удивлялись: «Зачем он бежит от заказов?..
За восемь-то лет написал всего восемь рассказов?!
И пусть те рассказы — прекраснее многих алмазов,
Но — восемь рассказов! За восемь (подумайте!) лет?!»

Ему удивлялись: «Все ходит в военной шинели...
Уж залпы гражданской войны на полях отгремели...
А он — в сапогах: будто каши подошвы не ели...
Сидит голова на плечах его, право, не впрок!..»
А он улыбался, молчал — и опять улыбался,
И перед нелестной молвой все равно не сгибался,
И снова в колючую чудо-шинеель одевался,
Как будто бы чуял, что снова придет ее срок.

Когда загремели снаряды и пули запели,
Застлали дорогу свинцовые вьюги-метели,
Ушел на войну он в своей неразлучной шинели
Под вой канонады и ветра военного вой.
Он храбро сражался до смертного часа с врагами...
Когда закачалась земля у него под ногами,
Оплаканный ливнями и обеленный снегами,
Он лег в эту землю в шинели своей боевой.

Ему говорили: «Забудь про военную службу...»
Ему говорили: «Забудь про военную дружбу,
Когда на привале сдвигались весенние кружки
И с тихого неба впервые слетала капель...»
Ему удивлялись, как будто бы в сказке — Емеле.
Ему удивлялись: «Все ходит в военной шинели...»
Но годы прошли, пролетели, как дождь отшумели...
И стал он легендой. И стала легендой шинель.

* * *

Ах тополек мой,
Невозможный тополек мой!
Лети по жизни и листвою шелести.
Как мог я жить
Вдали от взгляда с поволокой?
Как мог я жить, тебя не встретив

на пути?
Тебя отыскивал я
В лунном колыханье,
В высоких звездах, обещающих
мой путь.

А ты — совсем на расстоянии
дыханья.

А ты — поодаль: только руку
протянуть.

Как вихрь в пустыне,
Как кораблик в океане,
Тебя искал я и шептал тебе:
«Держись!»

А ты — листвою шелестишь
в ночном тумане.

А ты — всего-то — в двух шагах.
И каждый — жизнь!
Я обуян был
Самолюбьем и гордыней.
Любовь свела мое тщеславие
на нет.

Как пух от тополя,
Как первый летний иней,
Виски покрыла седина прошедших
лет.

Окаменевший от любви,
Тоски, прозренья,
Я — словно памятник своей немой
любви.

И только сердце
Скачет осликом весенним,
Пока его в повозку скорби
не впрягли...

КОНЬ

О мой горячий конь, красавец своенравный,
Закрывший гривой мир, потрясший ржаньем тишь!
Свободною душой огню и ветру равный,—
Куда стремишься ты? К какой звезде летишь?
Посмевший обозвать тебя «дрянным скотом» —
Мой враг. И для него — закрыт навек мой дом!

О мой горячий конь! Ты бурею морскою
За валом гонишь вал, рождая звон волны.
Тебе вослед глядит с печалью и тоскою
Тот, кто уныл душой при виде крутизны.
Я произнес бы: «Друг», когда б не вечный страх:
Посеешь слово «друг» — а всходит слово «враг».

О мой горячий конь, танцующий на месте,
как будто бы внутри с пружиной заводной!
Ты раскидаешь в прах листву словесной лести
И грудью разорвешь сухой и липкий зной.
Средь братьев по земле — ты самый близкий брат,
Дороже остальных — чтоб не соврать — стократ!

О мой горячий конь! Лишь отпущу поводья,
Ты в небо улетишь, как молния, стремглав.
И половодье чувств, как жизни половодье,
Нахлынет, налетит, бессмертьем смерть поправ.

А коль не отпущу, цена всей жизни — грош:
Ты глянешь мне в глаза и сердце разорвешь.
О мой горячий конь, прогнав на зорьке дрему,
Задам тебе овса и к середине дня
Я навещу отца, найдя его у дома,
Кормящим своего уставшего коня.
И ощушу в душе печалинки огонь,
Узрев, как на тебя глядит отцовский конь.

МОЕМУ ДРУГУ

А. Атабаеву

В суровый век, где атомная вьюга
Грозит весь мир
Поземкой замести,
Нельзя прожить без преданного друга,
Идущего с тобою по пути.
Тебя искал я
В час беды тяжелой
И в час веселья я тебя искал,
От дружбы сердце сберегал дешевой
И по воде — как камень — не пускал.
Кто ищет выгод —
Не находит друга.
У дружбы есть особенный закон.
И по нему придется слишком туго
Тому, кто в дружбу
Верит языком.
А я душою всей поверил в дружбу...
Двадцатый век,
Сроднивший дождь и смог,
Ты смог поставить все себе на службу.
Но дружбу и любовь —
Не смог, не смог...
Мой друг!
Мое бесценное богатство!
С тобой идем мы к правде напролом.
Да не смутят печали наше братство!
Да не овеет грусть
Тебя крылом!
Все поровну: и радость, и тревога —
За общие дела
И общий дом.
Летит дорога вдаль, летит дорога —
И мы по ней с тобой вдвоем идем!

Переводы с туркменского Александра ЩУПЛОВА

ТАТЬЯНА ОЛЕЙНИКОВА

Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Живет и работает в Белгороде. Стихи публиковались в областной и центральной печати.

* * *

Она красавицей была
И молодой была...
Да полюбила не того,
Кого б любить должна.
А он — охотник и стрелок,—
И путь его далек.
Когда бы знал он о любви,—
Вернулся б, может, в срок?..
Ему и ночь, ему и день
В полях скакать не лень.
И ничего не обещал
Красавице своей.
Но подмигнул ей: — Ты в лесу
Не растеряй красу...
Тебе я сердце привезу,
Побудь еще в лесу.—
...Она ждала его, ждала,
Венок себе плела.
И много листьев и травы
Из леса принесла.
И дом охотничий его
Пропах разрыв-травой,
Забвением — и сон-травой,
И приворот-травой.
В котле кипит печаль-трава
И одолень-трава...
Над ними никнет голова,
Седая голова.
Кругом разор и пыли слой
И ступа с кочергой.
...Так стала Бабою Ягой —
Жестокою и злой.

.

* * *

...А когда
Забывали учителя,
Было холодно и темно.

А когда
Предавали учителя,
Было горестно и грешно.
А когда
Хоронили учителя,—
Грошик к грошику,—
Кто сколько мог!..
Собирали
Стыдливо, мучительно —
За вину,
На вино,
На венок!..

* * *

И лжа как ржа
Разъела сердце мне.
Душа горит
На ледяном огне.
Покоя нет...
Да разве есть покой
Во мне, чье сердце
Стонет под рукой?..
Я свет небесный
И земной сведу.
Играют зорю мне,
И я на звук иду.
Ищу на ощупь —
Где у света край...
А ты, свирель рассветная,
Играй!..
Играй! Играй!..
А я пойду на звук.
Я не ослепла,
Но прозрею вдруг.
...Вы вспоминайте
Иногда меня —
От вас ушедшую
На свет другого дня..

МИХАИЛ КРАЛИН

Родился в 1948 году. Работал учителем литературы. В настоящее время научный сотрудник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Стихи публиковались в журналах «Север», «Литературная Грузия», в коллективных сборниках «Васильевский остров» и «Невские просторы».

Живет и работает в Ленинграде.

* * *

Тех домов, что окружали в детстве,
Не осталось и следов.
Только этот — память о наследстве
Дедовском — здоров.
Он стоит, набычившись угрюмо,
В мыслях о былом,
А кругом роятся злые думы,
Что пора на слом,
Что на главной улице Советской
Он уж не в чести,
И решает умник сельсоветский
Дом на нет свести.
Говорю: «Одумайтесь, постойте,
Много места есть.
Стройте для людей квартиры, стройте,
Но воздайте честь
Этому — прадедовскому дому —
Памятнику русским мужикам,
Чуду деревянному родному,
Пусть стоит он на добро векам».

* * *

Златая цепь на дубе том...

...От горя слепли и дома,
Солдатки в избах голосили.
Но со слепневского холма
Она узрела всю Россию

Духовным оком. И отсель
Поплыли белой стаей строки,
И журавли, а не сороки
Несли их в тридевять земель.
А дуб ахматовский стоит
Под нерушимым русским небом,
Как памятник годам и бедам,
Как память, что народ хранит.

ОТЪЕЗД БАБУШКИ НА МУЖНИНУ РОДИНУ

Колоколенки трезвонили, бубенчики звенят,
Каргополенке оброненной прощаются, не бранят.

Сирота, по свету белому поезди, не стыдись,
На Лодейное на полюшко до смерти соберись.

По сухонькой, по гладенькой, укатанной дорожке
Постукивают ладненько лошадок резвых ножки.

Посередь дорога белая — березки пляшут в ряд,
Не будь робкая, будь смелая, невесте говорят,

Ты из края сосен мачтовых, где рыжики да рожь,
Коли даст бог, будешь счастлива, печали разведешь...

* * *

А трактористы снова запили,
Опять запили пареньки.
Опять шаром покати на поле,
И храп могучий у реки.

Да что же это за тенденция,
Что за похабный это вид?
Куда глядит интеллигенция,
Куда милиция глядит?

А парни, протрезвясь, почешутся
Во всех искусанных местах
И снова к вечеру нарежутся
До синей пены на губах.

Но дивно — планы выполняются,
Производительность растет...
И только бабы горем маются
Да город в очередь встает.

* * *

Лужа меж двух магазинов —
Площадь родного села.
Очи, теленок, разинув,
Млеет под лаской тепла.
Все замирает в истоме:
Люди, столбы, тополя.
Грезит о граде и громе,
Перетомившись, земля.

ТАТЬЯНА РОВИЦКАЯ

Родилась в поселке Бодайбо Иркутской области. Окончила филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая. Работает старшим редактором Республиканского научного методического центра.

Автор поэтического сборника «Розовое дерево».

* * *

Синева растеклась над болотом,
Напряглись, замерев, ковыли,
Беспорядочной зряшной охоты
Мчались выкрики с голой земли.
Этой голой земли безнебесной
Пораженная ночь истекла,
Не рыданием, не зовом, не песней,
Скрежетаньем ножа и стекла.
Плыли лица, качались мгновенья,
Как под ветром дубовый лесок,
И болотная плесень, и тленья
Угнетали, давили висок...

И казалось, не ночь истекает,
Уползая в гниющую падь —
Синева от земли улетает,
Но нельзя нам ее потерять!

* * *

Когда приходят вестники из рая,
Вмиг исчезают вестники из ада,
И светится травинка луговая,
Сквозит во всем довольство
и отрада.

И кажется, что жизнь не так
тягуча,
Как эта туча, стянуты пробелы,
И верится в какой-то чудный
случай,
И нет надеждам горького предела.

Когда приходят вестники из ада,
Вспорхнув, растают вестники
из рая,
И холодит осенняя прохлада,
И песнь на полуслове замирает...

И ничего уж больше не случится,
Замкнется жизнь в железе
и бетоне,
А память — электрическая птица,
Рванется ввысь и вспыхнет
на подъеме.
Так бесполезно скомканы минуты.
Живешь как все, но подмечаешь
впрочем,
То все как будто молишься
чему-то,
То от чего-то откреститься
хочешь.

* * *

Семь дней недели —
семь собак.
То злых, то верных,
то ревнивых.

То что-то делят,
то завыли,
То сердцем чувствуют — чужак
Идет и близок, и у двери...
Семь дней молчу,
и в тягость все.

Но на исходе всей недели
Опять нелегкая несет
Стремительно, светло и व्यужно,
И в нежном — свист,
В прилежном — вой,
И ничего терпеть не нужно —
Упряжка дружная со мной.
И ясен путь:
Проснуться рано,
От жизни лучших ждать вестей,
Сквозь серую струю бурана
Прорваться сказочно и явно
В жизнь — к обновлению и весне.

СЛУЧАЙ

Ты посмотрел в окошко,
И в облаке дождей
Мелькнул мой плащ тревожно,
Исчез в толпе людей.

Однажды, засыпая,
Увидел ты во сне,
Что я стою у края
На каменной стене.

И суетой измучен,
Под вечер просто так
Про сон подумал: «Случай!
А случай — он чудак!»

Но снова, засыпая,
Увидишь ты во сне,
Как я стою у края
На солнечной стене.

* * *

Наше прошлое — виденье.
Шаг замедлен, взгляд смурной,
Веет сменой поколенья,
Облетающей листвою.

Тянет яблоком раздора,
Под осеннюю капель
Проплывают разговоры:
— Как же, как же мы теперь?

И осенних листьев кучи
Не горят — а так, в дыму...
Может, хуже, может, лучше
Станет сердцу твоему.

Вместе с листьями, с капелью
В городской пейзаж войти?
Так стремительно прозрели,
Так пронзительно летим.

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ

Родился в 1945 году в Колпашеве Томской области, служил в Советской Армии. Окончил ПТУ. Работал на заводах и шахтах Урала.

Автор четырех книг стихов.
Живет в Москве.

Мы

От простой констатации факта,
от заезжих астральных примет,
от прикидок — мол, так-то и
так-то,
от кивков, экивоков, клевет
переходим к последнему акту,
где статистов и зрителей нет.

Мы как будто опомнились нынче;
разумея о вещи звезде,
говорим лишь о черной пылини,
белой крови и мертвой воде.

Грянул первый звонок. И второго
с побелевшими лицами ждем.
И толкуем: у неба фольговый
отчего это ответ? И фтора
или йода под летним дождем
след на дугах стекла ветрового?
Громко ропщем, но слепо и глухо,
словно волны морские, шумим,
либо листья... лишь изредка грубо

кто-то вдруг рассмеется. И губы
залепляет дождем неживым.

Если полон эфир

грозового
шума, свиста, бесовских утех,
погибает разумное слово,
как «Титаник», в пучинах помех.

Снится нам — рукотворного бога
мы живьем схороняем в земле.
Похоронщиков белые роботы
светят фосфорным светом
во мгле.

Снится нам, что земля убывает,
пропадает незнамо куда.
Снится нам, что себя убивают,
скорпионами став, города.

Поднимаются ввысь, опадают
волны наших страстей —
и насквозь
кость земную огнем прободают.
А с высот, что предела не знают,
льет свой мощный поток молодая
излучения жесткого злость.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Как уж его ладили-ковали
под железным небом
заводским, —
обе тверди, задрожав, икали,
прорвы нефтяные ликовали,
и кругами разлетался дым.

Шрамом сварки блещущей
крепимы,
ребра вскоре сопряглись хитро.
Сердце из огромного рубина
осторожно вставили в нутро.

Ожил, как змееныш, тихий
датчик,
крошечной головкой покачал.
Сдвинул провода рукой
наладчик
и по сердцу пальцем постучал.

Взвившись, гидравлические
жилы
исполинской силой налились.
Фрезы поостыли, смолкло било.
Родилась неслыханная жизнь.

Только дело, только дело —
участь;
ни мгновенья без творенья дел.
Промигнул цепями троеручец.
Линзами серьезно поглядел.

Не гляди ты грозно и прицельно,
с лазерным прищуром, как злодей.
Я тебе до иены знаю цену
меж людей, явлений и идей.

Пред тобою говорю как бог я,
о эпохи жадное дитя.
Ты куда разумеешь плохо,
что и дурню знается шутя.

В зеркальцах германиевых
матриц
не увидеть совести лицо.
Птиц души не окольцует, братец,
алгоритмов прочное кольцо.

Но тебе навек не заградиться
неразумьем временным своим.
Пригодится
опыт наш, чтоб сделаться —
твоим.

Перфокарты, как Четы-Миней,
древностью становятся уже.
Век пройдет. Ты станешь все
умнее,
чтоб однажды встать на рубеже.

Пред тобою грянет
мирозданье —
дебри духа, искусов рои.

Темные и смутные желанья
хлынут в схемы тонкие твои.

Свой закон ты сам поставишь
честно:
кто ты,
что ты,
на кого похож.
Языком, доселе неизвестным,
слово, как дикарь произнесешь.

ИЗ ТЕМНЫХ ВОД

Умолкают скоморох и вопленница.
Видим, видим, что из темных вод
правда выплывает, как
утопленница.
Так бывает часто в ледоход:

люди молча встанут по-над
мелями,
там, где лодки длинные смолят,
и глядят: плывет — кружась так
медленно,
что на всех падет недвижимый
взгляд.

Вот она — пропажа ненайденная,
страховита столь, нехороша;
вовремя в земле непогребенная —
словно беззаконная душа.

Нехотя наладятся охотники,
лодку спустят на воду... и вот
бревна знай багром толкай да
плотники,
к телу подгребай чрез ледоход.

Птиц увидят, истомленно
кычущих,
и помедлят на гребок весла.
Любо, что земля свои обычаи
ото всех потрав уберегла.

Эти птицы, стерхи длинногорлые,
с неба посылающие весть,
означают в нашей аллегории,
что весна — она весна и есть.

АНАТОЛИЙ ТЕПЛЯШИН

Родился в 1951 году на Южном Урале. Служил в морфлоте. Работал рабочим, матросом на рыболовецком судне. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

Участник VIII Всесоюзного совещания молодых писателей.

Печатался в журналах «Октябрь», «Студенческий меридиан», «Молодежная эстрада», в альманахах «Истоки», «Поэзия», в еженедельнике «Литературная Россия».

Автор книги стихов «Открытый океан».

ВРЕМЯ

Уменье великое ждать
у медленных стрелок во власти.
Так учимся мы побеждать
свои безоглядные страсти.

Так мы замедляем свой бег,
как будто хлестнули нас плетью,
и даже стремительный век
становится долгим столетьем.

Бескрайней просторы земли,
доступнее звездные дали.
Как много б мы сделать могли
за эти часы ожидания!

Но стоит нам с места сойти —
мы словно в другом измеренье,
и снова со свистом летит
на нас беспощадное время.

НА ПОРОГЕ

Нам бы только радоваться надо:
есть у нас свои ученики,
с правдой сердца, чистотою
взгляда,
с творческою легкостью руки.

Нам бы только радоваться надо:
вот они уверенно идут.
Разве их успехи не награда
за любовь, за верность и за труд?

Что же мы застыли у порога,
проводя их в далекий путь?
Почему невнятная тревога
так внезапно сдавливает грудь?

Потому ль, что знаем мы, как
зыбок
опыт, не сумевший уберечь
нас самих когда-то от ошибок,
и не можем их предостеречь?

Чтоб не шли с опаской да
с оглядкой,
чтобы не ломились напролом,
чтобы запоздалою разгадкой
не прожгла их память о былом?

Может быть.

Но мы-то знаем, знаем,
что большее было б нам стократ,
если бы они, простившись с нами,
вышли в жизнь как будто на парад.

Вовсе незнакомые с тревогой
на пустом, приглаженном пути.
Пусть они пройдут своей дорогой
так, как нам хотелось бы пройти.

Нашей окрыленные мечтою,
нашей умудренные судьбой,—
все, что нам казалось высотой,
далеко оставив за собой.

* * *

Уходя — уходи.

Не хочу уходя — уходить.
Возвращаться хочу — возвращаясь.
Если мне довелось полюбить,
я прощаю, как будто прощаюсь.

Я прощаю обиду и злость,
как простил бы и плеть и оковы,
Если мне полюбить довелось,
что мне мелкие эти уколы!..

Мало доблести: рушить пути
под влиянием горькой минуты.
Умереть — если нужно уйти.
Рядом быть — если нужно вернуться.

Равнодушием можно убить?
Все равно: от тоски, от несчастья
не хочу уходя — уходить.
Возвращаясь — хочу возвращаться.

ОТТЕПЕЛЬ

Ночной мороз сменяется капелью,
разгулы вьюги — гулом голубиным,
в душе притихшей снова свет и пенье
и горечь встречи с прошлым и любимым.

И кажется, что это было с нами
в судьбе иной, носившей наше имя,
когда друг друга мы совсем не знали,
когда мы шли дорогами иными.

И кажется, что это снова будет,
когда душа, лишенная покоя,
и прошлые невзгоды позабудет,
и вновь оттает под твоей рукою.

Пусть я обманут и с обманом свыкся,
пусть каждым взглядом, каждою улыбкой
все, все мне говорит, что я ошибся,—
я не расстанусь со своей ошибкой.

ДОРОГА

Из всех дорог я выберу одну,
наверное, не гладкую дорогу.
Она ведет в родную сторону,
она ведет к родимому порогу.

Из всех времен я выберу одно:
двадцатый век, вторая половина.
Пусть не во всем мы были заодно,
коль есть вина, так оба мы повинны.

Из песен тех, что спеты на века,
что никакой эстрадой
на заглушишь,
прощальные наказания ямщика,
как плач степной, врываются мне
в душу.

Друзья мои, для вас — труды и
дни,
и редкие почтовые открытки,
хоть двое вас, но все же вы одни
в душе моей, для всех людей
открытой...

Моя любовь, мой век, моя страна.
Калейдоскоп событий и улыбок.
Но жизнь одна и смерть у нас одна,
и время не прощает нам ошибок.

Кто все имел, тем нечего терять.
Печальная, но верная примета:
чье имя перед смертью повторять,
откуда ждать прощального
привета?

Одно мы в жизни выбрали, одно.
И потому в ночи, глухой,
бездонной

горит, горит заветное окно
звездой далекой на пути
бездомном.

* * *

О, как мы играли с огнем.
И ночью, и солнечным днем.
Уста обжигали слова,
горели кусты и трава,
пылал наш бревенчатый дом,
закат полыхал над прудом,
и лебеди били крылами,
сбивая высокое пламя.

О, как мы играли с огнем
под грозным весенним дождем.
Сплетались горячие руки —
от молний светлело в округе,
так громко грома громыхали,
что мы их совсем не слышали,
но странно: нам было не трудно
подслушивать мысли друг друга.

Игра затянулась навеки.
Мелеют могучие реки,
редеют таежные чащи,
вулканы беснуются чаще.
Стихии в содружестве с нами,
но наше победное знамя
на стяг боевой не похоже —
истлело шагреновой кожей.

А что же оставили годы
от яростной нашей свободы?
Глаза, ослепленные светом,
слова, унесенные ветром...
Мы прежнего счастья не ищем,
стоим над родным пепелищем.
Играли с огнем мы, и пламя
играло безжалостно с нами.

АЛЕКСАНДР СЕНКЕВИЧ

Родился в 1941 году. Окончил Институт восточных языков при МГУ. Работает старшим научным сотрудником Института мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР. Стихи печатались в журналах «Юность», «Простор», в газетах «Комсомольская правда», «Московский комсомолец».

* * *

А птицы все кричат, и голосист их плач.
Вот-вот и снимутся с насиженных гнездовий.
Наступит срок опустошенья крови,
коротких дней и долгих неудач.
Трава пожухнет, и листва падет,
и станут ночи холоднее камня.
Тогда луна блеснет за облаками,
как среди веток перезревший плод.
И обмелеют речи и слова,
лишившись вдруг высокого значенья,
а вместо них останется молва —
как суетности нашей облаченье.
Но что молва? Как ветер и песок,
недолговечна и непостоянна.
Сгорят в лесу зеленые поляны
и подведут всей осени итог.
Но человек на то и человек,
чтобы понять круговорот природы,
не растеряться, и не кануть в воду,
и не исчезнуть, словно первый снег.

* * *

В. Горемыкину

Благодарю за дом: жилось в деревне проще.
Он был прохладен днем, как маленькая роща.
Он был еще не стар и каждой стенкой ровен,
а ночью тайный жар в нем исходил от бревен.
И падал свет свечи на роспись — хвост павлиний,
на белизне печи мерцавшую, как иней.
(Который, скажем, был не к месту и не к сроку,
но холодок белил чуть затуманил охру.)
Благодарю за крик пугливых птиц под крышей,
за стертый половик зелено-сине-рыжий.
За теплый полумрак бревенчатой подклети,
в которой, словно маг, прижился дух столетий.

(Я был им взят в полон, немедленно и тотчас,
но тут же скрылся в сон от его пророчеств.)
А утром от небес внизу стелилась просинь,
и шел я полем в лес, где начиналась осень.
И там среди берез, их росного свеченья
поверил я всерьез в свое предназначенье.
Поверил в этот дом, стоящий у дороги,
когда-нибудь потом он подведет итоги.

* * *

И зачем мне эта женщина дана,
как из камня возведенная стена,
словно птица, вдруг прервавшая полет,
словно небо, превратившееся в лед?

В темном небе звезды дальние близки.
Ночью любят нелюбимых от тоски.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Устали сумерки, устали...
И прилегли на влажный плес.
И тишина, как мед, густая
обволокла стволы берез.
Непостижимо было тихо,
до безразличия. И вот
зевота, как рожденье крика,
схватила судорогой рот.
Звук бился в узенькой гортани,
обезголосевший малыш,
сам существующий на грани,
что разделяла шум и тишь.
А в тишине, в себя вобравшей
людей и небо, и леса,
уже дышали полувлажно
совсем другие голоса.
Поскрипывая тонко-тонко,
шурша тихонько, шелестя,
из тишины, как из потока,
выпрыгивая и летя.

* * *

Вся душа извелась
среди грохота улиц.
Сон бежал моих глаз,
и друзья отшатнулись.
Потеряешь — найдешь,
прегрешенья простятся.
И я падал, как дождь,
из объятий пространства.
Чтоб не знать ни о чем
и разбиться над всеми.
Но был заточен
в беспредельную землю.
Дабы небо презреть
и забыть о полете,
и почувствовать смерть
содроганием плоти.
И валять дурака,
перепутать дороги,
все спустив с молотка
на копеечном торге.
И забиться в себя,
как в подушку и в угол,
голой куклой вися
среди чудищ и пугал.

СТИХИ О ПОЛЫНЬ-ТРАВЕ

Есть друзья и есть застолье. Есть никчемные слова.
Есть растущая на воле горькая полынь-трава.
И в часы тоски и смуты, при вкушенье разных благ
все тревожит неотступно горький привкус на губах.
Что за бабушкины сказки, преждевременный надлом!
Разделив питье по-братски, восседаем за столом.
От бесплодных наших споров закружилась голова.
На невиданных просторах прижилась полынь-трава.
И известно, что в народе (как душою ни криви!)
все она считалась вроде объясненья в нелюбви.
Посреди всего веселья и среди шумихи всей
я оглядываюсь — все ли, все ли целы из друзей?
За окном, взвиваясь в злобе, ветры носятся вдали
и зеленое надгробье пригибают до земли.
Над огромным белым светом, над застольем и травой,
словно стелется под ветром чей-то голос неживой.
Чей-то хрип, почти угасший, но тревожащий покой —
то ли дружий, то ли вражий, то ли вовсе никакой.
Голос мертвый и пропащий, потерявший все права...
Или стала говорящей эта горькая трава?
«До тебя нам нету дела, здесь все заняты места,
оставайся вне предела, как не помнящий родства!»

Тут возникла ниоткуда тишина, как паутина.
И ни шороха, ни гуда. Зыбко. Сумрачно. Пустынно.

В ГИМАЛАЯХ

Закат прошел, но светом ночь полна,—
как легок он и как материален!
А в небе среди облачных проталин
слепящим снегом вспыхнула луна.
Слепящим снегом вспыхнула луна,
в твоих глазах на миг очеловечась.
И жизни соразмерная длина
вдруг обрела неожиданно бесконечность.

СЕРГЕЙ КАРАТОВ

Родился в 1946 году в Челябинской области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Работает в Главмоспромстрое руководителем литературного объединения.

ЛЕЙТЕНАНТ

Восьмикратный бинокль на шее,
на ногах сапоги из кирзы.
Рядовые копают траншею.
Слышен отзвук июльской грозы.

Враг к столице спешит в иступленье,
необъятное хочет объять.
Обещали к утру подкрепленье,
а до этого насмерть стоять!

За нехваткой брони своей грудью
прикрывают дорогу бойцы.
Разрядилось по танку орудье,
и кресты разметались в овсы.

Наступали кресты, отступали,
замирали крестами кресты.
А бойцы уже многие пали,
пред Отчизной душою чисты.

Ты твердишь: расслабляться негоже,
если Время обдало огнем.
Видно, что-то и вправду дороже
жизни собственной...

СТОЯ У ПОРОГА

И Риму мир, и миру Рим —
необходимы друг для друга.
Восход
ночной снимает грим.
Подкрался сзади кот-хитрюга
и рыбку просит...
Вот и все,

сопя, спускаюсь с эмпиреев,
чтоб во дворе оставить снасти.
Хорош улов
коту на счастье.
Сочится солнце меж деревьев.
Стучатся строки из Басё
про флейту,
что сама собой
играет...

* * *

Такую грусть — откуда что берется? —
все чаще нагоняют октябри.
Вплетется луч
 в качание березы,
где дружно дозревают снегири.

Торжественно и тихо на погосте,
в кругу родных
 деревья так милы.
Короткие серебряные гвозди
морозец вбил
 в их сучья и стволы.

Деревьев род и род людской
 корнями
переплелись, в родство вступив со мной.
И я снимаю шапку
 перед пнями
и перед каждой веткой ледяной.

МОЛНИЯ В СИРЕНИ

Твой взгляд, как молния в сирени,
небезопасен и красив.
Я надо мной
 твое царенье
приму, ничем не отразив.

Суть не в отсутствии позиций.
Но как прекрасно по пути
войти,
 ожить,
 преобразиться
и ворох таинств унести.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Люди создали дорогу,
а по ней никто не ходит.
Люди высветили бога,
а его никто не видел.
Люди выплавили время,
а его никто не ценит.
Люди выпустили джинна,
и лежит пустой сосуд.

Люди создали дорогу,
а она ушла до звезд.
Люди высветили бога,
а увидели себя.
Люди выплавили время,
а оно доселе жжется.
Люди выпустили джинна
и не ведают, как быть.

ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА

Родилась в 1944 году. Окончила Московский институт народного хозяйства. Участница VII Всесоюзного совещания молодых писателей. Автор книги стихотворений «Приход весны».

* * *

Нерв предпраздничной недели.
Чернь серебряного снега.
Примагничивает небо
Равномерные качели.
Лезут, как из фотоснимка,
Краски быстрые наружу.
Вон с тюльпанами в обнимку
Женщина обходит лужу.
Вековечные обновки!
Милая глазная пыль!
И стоит на остановке
Кем-то брошенный костыль!..

ПОДРУЖКИ

Подружка к подружке,
Старушка к старушке,
В гости идет.
Подружка подружку,
Старушка старушку
Ждет у ворот.

Увидев друг дружку,
Навстречу друг дружке
Рванулись подружки,
Засеменили старушки.
И у меня есть подружки.
И мы будем ездить друг к дружке.

* * *

Лето. Полнота существованья
Всей природы. Некуда полней.
Лето. Пустота существованья
В городе оставшихся людей.

Город одиночеством напуган,
Город ловит чувства на лету.
Горожане летние друг другом
Хищно заполняют пустоту.

Отойди от этих игр, невеста!..
Здесь никто не любит, не любим.
Здесь тебе не время и не место
С зимним одиночеством твоим.

РЯБИНОВЫЙ САД

О. И.

Бог с ним, с успехом! Мне нужна удача
По существу: чтоб я была жива
Всем существом своим и чтоб слова
Живые говорила я в придачу.

Бог с ней, с любовью, общим пудом соли!
Мой ненаглядный ест его с другой.
Моя любовь — уже почти покой.
Моя любовь — еще чуть-чуть и воля.

Бог с ним, с богатством! Выберу не дачу
На свежем воздухе, а воздух сам,
Прозрачно восходящий к небесам.
Но что со мною? И откуда — сад
Рябиновый, такой, что плачу?..

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ

Родился в 1949 году в Ярославской области, на Волге. Стихи публиковались в центральных газетах и журналах, в коллективных сборниках, в альманахах «Истоки» и «Поэзия». Автор книги стихотворений «Дальние горизонты».

* * *

Конечно, я знаю, не раз
За тучами спрячется солнце,
И подло удача продаст,
И злом доброта обернется.

И тайно завистливый брат,
С которым пуд соли мы съели,
В стакане губительный яд
Подаст мне с ухмылкой Сальери.

Уж исстари так повелось...
И стоит ли вновь удивляться,
Что в тесные узы сплелось
Со щедростью нашей коварство!

И все-таки мир этот прав —
Изменчивый, словно погода:
Лишь горечь полыни узнав,
Оценишь достоинство меда.

* * *

Хорошо,
Что не все продается,
И с тобою,
Земная мечта,—
Есть привольное небо
И солнце,
И свободная
В реках вода...

Не беда,
Что я снегом завьюжен,
Что в грядущем
Ни зги не видать!

Не беда,
Что на улице стужа,
И в подъезде
Мне ночь коротать!

Хорошо,
Что над ближними —
Крыши,
Что́ далеким —
Уютно сейчас;
Хорошо,
Что есть что-то превыше
И мудрей, и бессмертнее нас!..

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

То исчезая, то снова блистая,
Месяц по темному небу бежит...
Сорванных листьев мятежная стая
С пылью дорожной во мраке кружит.

Невыносимо — как будто от пытки,
Стонет взлохмаченный вяз у ворот!
Незатворенные двери калитки
Ходят со скрипом назад и вперед.

Мечется, плачет в угрюмом ненастье,
Грохает кровлей рассерженный ветр...
То загорится, то снова погаснет
В нашей светелке обманчивый свет.

А на простенке, где с бликов кровавых
Смотрит на печку насупленный страх,—
Справа-налево и слева-направо
Бродят кошачьи глаза на часах...

НОЧНЫЕ ЗВУКИ

Едва притихшее село
Окутал плотный мрак,
Как безысходно-тяжело
Вздохнул пустой овраг;

Зашелестел песок сухой,
Заохала сосна,
По-человечьи над рекой
Заплакала луна;

И глухо камень закричал
На темном берегу:
— Я сотни лет уже молчал!
Довольно! Не могу...

ПАМЯТИ ПОЭТА

Я не верю в дату роковую,
Не одну оставил ты молву:
Русь твоя живет и торжествует,
И конца не будет торжеству.

Так же бурно Сухоны теченье,
Так же стонет в непогоду лес...
Нет певца, но слышно его пенье
Под угрюмым куполом небес.

Хмуры вологодские поляны,
Но всегда отыщется на них —
Подорожник, что рубцует раны,
И тоска о дальних и родных.

ОСТРОВ ЖИВЫХ

Я помнил о вас.
Уходя из далекого порта
С желтым огнем на корме,
Слушая шепот чувств, неразличимый
В диком лесу перепуганных мыслей,
Так же беззвучно, одними жабрами,
Я говорю: «Помнил о вас». Каждые
Сто тысяч лет возвращаясь,
Прежде чем выйти из тьмы, говорю:
«Все это время помнил о вас».
Каждое утро сгорая линзой росы,
Произношу про себя:
«Помнил о вас». У дороги жестом
Ветвей молчаливым показываю и зову
Тех, кто вытоптал корни мои:
«Помнил о вас». Из пространств,
Став заскорузлой безмолвной золой
На серебряном поле сгоревшей планеты,
Окаменевшее сердце бросаю сквозь Космос,
И в нем — «Помнил...»
«Помнил о вас...» — метеоритом мелькает
Во мне, обжигая, голос
Чьей-то ушедшей души, краткое время
Без сна пронзая навyleт. «Помнил
О вас», уезжая в ночное на лошади
Белой из полупрозрачных нервов и жил,
Я играю в оглохшую дудку, в девять
Отверстий пустых выдыхая: «Помнил о вас».
Обращаюсь к цветам, окаменевшим на шее моей,
Отвечаю деревьям, которые станут
Людьми после меня, «помнил о вас» —
Каждой волной успеваю оставить
След на песке.
Но отчего в зеленом вагоне,
Видя, что в окнах мелькают
Прибитые к Небу названья вещей,
Никому из попутчиков
Между двух станций не говорю:
«Помнил о вас», прежде чем поезд,
Ставший бесшумным и темным,
В тумане меня не оставит,
Освободив от движения вновь.
«Помнил о вас!» — пузырится крик
Сквозь густое ничто, когда
Высоко надо мной проплывает
Остров живых.

АННА ГЕДЫМИН

Участница V Московского и VIII Всесоюзного совещаний молодых писателей. Лауреат конкурса на лучшие произведения молодых авторов о Москве.

Автор книги «Каштаны на Калининском». Стихи публиковались в журналах «Огонек», «Октябрь», «Смена», «Юность», «Сельская молодежь», в газетах «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва», «Московский комсомолец», «Московский литератор», в еженедельнике «Литературная Россия», в альманахах «День поэзии», «Истоки», «Поэзия», коллективных сборниках «Молодые поэты Москвы», «Багульник», «Дни этого года».

* * *

Посреди золотых стогов
Луг выходит из берегов.

Да и правда — где уместиться
В отведенной ему низине,
Если в каждой былинке — птица,
И влечет ее к птичьей сини,
Если хочется быть ей равной
В небесах, где застыла стая...
И лежит он — луг полнотравный,—
Улетая — и не улета.

Вдруг припомнив зимой о чуде —
О стартующем поле ситца,—
Засыпают усталые люди.
Просыпается в каждом птица.

* * *

Наплевать на то, что позабыто:
На фамилии и номер школы,
На предметы правильного быта
И на все английские глаголы,

На врага, что сделал злое дело
И ушел, в том деле не замечен,
На друзей, живущих так умело,

Что на них все жальче тратить
вечер.

Я стою. Дорога остывает.
Ночь идет — и мглиста, и огромна.

Сердце ничего не забывает,
Что прекрасно, страшно иль
укромно.

Но мечтаю — посреди волненья,
Солнца, гроз, в которых тонет
бездна,—
Не забыть хоть что-то, для
сравненья,
Что легко, случайно, бесполезно...

ПРО ВЕРБЛЮДА

Он не живет в опрятных горницах,
Сухой песок ему кровать,
Зато имеет право горбиться
И привилегию — плевать.

* * *

Жил-был попугай.
Большой попугай.
Говорящий, к несчастью, довольно
редко.
Но однажды случайно открылась
клетка,
И в чужие края улетел попугай.

Жил-был воробей.
Смешной воробей.
Какой-то чудаки заточил его
в клетке.

Но упорхнул воробей и с ветки
Высмотрел в луже съедобных
червей.

Людам не спится.
Серы их лица.
Каждый надеется, что не забыт,
Что неожиданно в клетку влетит
Какая-нибудь сумасшедшая птица.

МЕТЕОРИТ

Отпрыск дальних и злых
Внеземных пожарищ,
Миновавший в пылу
Не один парсек,
Прилетел он —
Бессмысленно-угрожающ,
Как бегущий по городу
Дровосек.

Было ясно:
Сгорит среди подобных прочих,
Лишь вонзит в атмосферу —
С размаху, вкось —
Скоростного полета
Колючий росчерк.
И не дрогнет,
Не скрипнет земная ось.

И увидели снизу мы
В изумленье,
Как большая звезда
Пропоролла гладь.
Но полет ее длился
Одно мгновенье,
Так что где там —
Желание загадать...

ИЮНЬ В ПОЛЕ

Само Ярило здесь
следит за ростом хлеба,
Всего часа на три
уходит спать во рву.
Но колоски пока —
зеленые, как небо,
Когда глядишь в него
сквозь первую листву.

Ночь быстрая светла.
И в ней приметны звуки:
Так явен роста звон,
что не уснуть в саду.
Мужают колоски
и тянутся, как руки,
Стремясь по простоте
достать свою звезду...

РИФАТ ГУМЕРОВ

Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Живет и работает в Ташкенте. Стихи публиковались в центральной и республиканской печати.

* * *

Под зимние мессы в лесу
Деревья, как храмы, застыли.
И может быть, лесу к лицу,
Что ели в готическом стиле.

Осенние пни на бегу
Рябину рассыпали кистями,
И лапы гусей на снегу —
Кленовыми красными листьями...

* * *

Мы сидим у костра,
и в руках у нас кружки.
Мы сидим у костра,
горьковатый вдыхая дым...
А вокруг тишина —
лишь хохочут в тумане лягушки,
потешаясь над чем-то,
понятым лишь нам двоим...

* * *

Сегодня — радость, завтра же — беда.
А я, не зная, думал — навсегда,
Когда писал любимой имя на снегу...
Растаял снег — осталась лишь вода...

* * *

Домой вернулся — не узнал
Двора.
Не год домой не приезжал —
Не два.
И вот приехал — вырвавшись
Едва...
Кружится здесь от детства
Голова.
И пахнут апельсинами
Дрова.
И кажутся красивыми
Слова.
Простые, словно небо и
Трава.
И славы словно не было —
Молва...
И жизни словно не было —
Была.

ВЕСНА

В антеннах — древняя деревня.
От солнца тают облака.
Грачи базарят на деревьях.
Земля парнее молока.

Судачат бабки у ворот.
Судачат на плетне сороки —

На них лениво смотрит кот.
Но вот закончились уроки.

Из школы мальчики бегут.
И, как директор птицефермы,
Солидный гусь идет на пруд.
С чужой гусынею, наверно...

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ

Родился в 1939 году на Украине. Окончил МВТУ имени Н. Э. Баумана. По образованию — инженер. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Москва», «Огонек», «Смена», «Сельская молодежь», альманахах «Истоки», «Подвиг», «Поэзия». В издательстве «Советский писатель» вышел сборник стихов «Два голоса». В издательстве «Современник» выходит вторая книга стихов «Притяженья неба».

* * *

Ты прав.
А душа нечиста.
И спорить с тобой бесполезно.
Как будто твоя правота —
тропинка над самою бездной.
Ты так в своей правде высок!
Сорвешься —
ничто не поможет.
Один несмышлениш-сын
тебе не припомнит, быть может.

Душа на таком рубеже,
в ней, видно, такое творится,
что ластится к детской душе,
как будто надеясь отмыться.

* * *

Обрастаешь «нужными людьми».
Эти люди
 «создают погоду»!
Все-то они могут!
Но гляди:
Близкие тебе
 стоят поодаль.
«Нужные»
вокруг тебя — стеной.
Не друзья, а обступили дружно.
И за той стеной
тебе родной
человек,
как будто и ненужный.

* * *

Ветер шумит.
Оттого ли не сплю,
что, дотянувшись из сада,
яблоня веткой скребет по стеклу.
Яблоня,
что тебе надо?
Все понимаю.
Бессилен помочь.
Лето кончается. Поздно.
Ночь над землей.
Августовская ночь.
Зреют осенние звезды.
И остается — ветвями махать,
сыпать листву вдоль забора.
Горько, что нечего людям отдать
в эту осеннюю пору.

* * *

И снова наступают даты,
и как сгоревшие года,
все звезды падают куда-то,
не возвращаясь никогда.
И вновь показывает время,
что ясно было наперед,
что нет свободного пареня,
а лишь падение
 и взлет!
Так почему я снова верю
в звезду счастливую свою?
И это небо взглядом мерю,
забыв, что на земле стою.

В ЭВАКУАЦИИ

Сирены выли,
Выли бабы,
Телеги выли на ухабах,
Тянулись кони и волю.
Уже писались похоронки,
Валились под воду трехтонки,
Где выли пенные валы.

Но лес молчал, как под наркозом.
Обоз тянулся за обозом.
Паленый дух земли витал,
И женщина, глазищи-сливы,
Шла за обозом терпеливо
За Дон, за Волгу — на Урал.

И там среди железных стружек,
Среди подростков и подружек
В мазутке, в сапогах больших
Она прокисшей папиросой
Полночные душила слезы.
И тихо старилась от них.

Упавши миною на спины,
Года взрывались —
Третий минул.
Казалось, стало легче жить:
Обвыклись или вправду легче,
Но погрубели бабы плечи.
И стали бабы сталь варить.

Они сноровистыми стали.
Морщин горючих не считали.

С прихрипом плыли матерки.
Еще походочкой качнется
Кой-кто,
И женственность проснется.
А приглядишься — мужики.

...А вот и та, глазищи-сливы,
Но изогнулись губы криво —
Подобьем содранных подков.
Ей пишет муж из лазарета:
— Не за горами уж Победа.
Приеду, и напилим дров.

У нас — порядок, гоним фрица,
Не успеваем даже бриться.
А гарь да порох — съели бровь.
Уж скоро, скоро я приеду.
Так что, подруженька, к обеду
Мне щец покруче приготовь.

И, под подушку письма пряча,
Она задумывалась, плача,
Что словно стала мужиком.
Вернется муж, увидит дуру:
Ни рук лебяжьих, ни фигуры
И даже голос незнаком!
Во сне ей виделась дорога,
И вот уж от рябины к стогу
Шел муж...
Уже который год...
И просыпалась в диком страхе
В помятой мужниной рубахе.
И собиралась на завод.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ



«...МОЙ ДОМ РАСКРЫТ НАВСТРЕЧУ ВСЕХ ДОРОГ»

Когда лет двадцать назад впервые удалось прочитать прекрасный очерк М. И. Цветаевой «Живое о живом», посвященный ее старшему другу-поэту М. А. Волошину, то страстно захотелось узнать как можно больше об этом интереснейшем человеке. Но, увы! Фактически никакой литературы о нем в то время не было, и лишь за последние десять-пятнадцать лет вышли книги о поэте, написанные исследователями, а в периодической печати появилось немало публикаций с воспоминаниями современников. И все же самый богатейший биографический материал содержится в превосходных стихах самого поэта! Но и здесь, к сожалению, мы должны отметить печальный факт — за многие десятилетия издан лишь один сборник стихотворений (в малой серии поэта)... Тем более активно автор этих строк стал собирать материалы о жизни и деятельности любимого поэта, и в результате поиска образовалось чрезвычайно интересное и ценное собрание: все книги, созданные поэтом, как оригинальные, так и переводные, пятьдесят чудесных акварелей, выполненных его рукой, альбом с рисунками, сотни рукописных страниц (письма, стихи, статьи). Особо следует упомянуть рукописный сборник «Стихотворения». Книга вторая. 1910-1920», подготовленный Волошиным к изданию, осуществить которое ему не удалось. Сборник украшает цветная рисованная обложка, выполненная самим автором. Собраны также сто тридцать альманыхов, сборников и журналов с прижизненными публикациями, сотни фотографий М. А. Волошина и его окружения. Как библиофилу, огромную радость доставляют найденные книги Максимилиана Волошина, хранящие дарственные надписи, сделанные когда-то друзьям: В. Я. Брюсову, А. Н. Толстому, А. Н. Бенуа, Е. И. Дмитриевой (Черубине де Габриак), М. И. Цветаевой и С. Я. Эфрону, М. А. Минцу (мужу А. И. Цветаевой). Это ему Марина Цветаева посвятила стихотворение «Мне нравится, что вы больны не мной...»), Б. К. Зайцеву, А. М. Кожебаткину, братьям Весниным, А. Б. Гатову, А. П. Семенову Тян-Шанскому, С. А. Толстой... Последняя надпись сделана будущей жене С. А. Есенина в 1924 году. В связи с первой поездкой поэта в Москву после 1917 года хочется здесь привести небольшой отрывок из его письма В. В. Вересаеву (хранится в моем собрании.— А. М.): « 16/XI1923. Коктебель.

Дорогой Викентий Викентьевич, в декабре я должен выехать в Москву, и, чем ближе эта дата, тем больше сомнений... Никогда я не чувствовал, как теперь, собираясь в Москву, всю неуместность моих мыслей, моих стихов, самого факта моего существования. И передо мною невольно стоит вопрос — как меня примут? Дадут ли мне рот раскрыть. Хочу очень и очень просить Вас, Викентий Викентьевич, позволить мне сделать так. Я не буду затруднять Вас собою все время, пока я буду в Москве. Но позвольте мне прямо с вокзала — дней на 5, на 6 — сперва приехать к Вам — для того, чтобы увидаться с Вами прежде всего, и для того, чтобы Вы меня с самого начала ориентировали и наставили, как себя держать в Москве, и объяснили смысл литературных группировок, издательств, лиц, журна-

лов. Кажется, никогда не чувствовал себя так смутно и потеряно, как теперь — едуци в Москву после 6-ти лет отсутствия...»

После первых дней пребывания в Москве сомнения и тревога оставили Волошина. Поэта радушно встречали — особенно рады были его видеть любители поэзии. Главная тема послереволюционного периода творчества Волошина — история Родины и русского народа стали вершиной его поэтического мастерства.

Среди предлагаемых читателю стихотворений, созданных поэтом в разные периоды жизни, впервые публикуется у нас «Владимирская Богоматерь». Посвящено оно А. И. Анисимову (1877-1939), крупнейшему исследователю русской иконописи, автору ряда книг и статей и реставратору иконы Владимирской богородицы. В 1924 году Волошин впервые увидел эту икону в Историческом музее (в 1930 году она передана в Третьяковскую галерею), и впечатление от встречи с ценнейшим памятником культуры было такое сильное, что через несколько лет родилось прекрасное поэтическое произведение «Владимирская Богоматерь». Напомним — икона создана в начале XII века в Константинополе и вскоре была привезена под Киев. В начале XV века была реставрирована Андреем Рублевым...

Время показало, что стихи большого русского поэта М. А. Волошина прочно вошли в золотой фонд отечественной и мировой культуры.

Его дом в Коктебеле, так широко открытый для многочисленных друзей при жизни хозяина, ныне также гостеприимно принимает нескончаемый поток людей. Всем памяты сердечные слова поэта:

Дверь отперта. Переступи порог.
Мой дом раскрыт навстречу всех дорог...

Анатолий МАРКОВ

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

(Из автобиографии)

Тоска и отвращение ко всему, что в гимназии и от гимназии. Мечтаю о юге и о том, чтобы стать поэтом. То и другое кажется невыносимым. Но скоро начинаю писать скверные стихи и судьба неожиданно приводит меня в Коктебель (1893 г.).

Феодосийская гимназия, провинциальный городок, жизнь вне родительского дома сильно облегчает гимназический кошмар. Стихи мои нравятся, и я получаю первую прививку литературной славы, оказавшую впоследствии полезной во всех отношениях; возникает требовательность к себе, историческая насыщенность Киммерии и строгий пейзаж Коктебеля воспитывают мысль и дух. В 1897 году кончаю гимназию и поступаю на юридический факультет в Москве...

Уже через год я был исключен из университета за студенческие беспорядки и выслан в Феодосию. Высылка и поездка за границу завершается ссылкой в Ташкент в 1900 г. Перед этим я успел побывать в Париже, Берлине, в Италии и в Греции, путешествуя на гроши пешком, ночуя в ночлежных домах.

1900 год — стык двух столетий — был годом моего рождения. Я хо-

дил с караваном по пустыне. Здесь настигли меня Ницше и «Три разговора» Владимира Соловьева. Они дали мне возможность взглянуть на всю европейскую культуру ретроспективно, с высоты азиатских плоскогорий, и произвести переоценку культурных ценностей. Отсюда пути ведут меня на Запад — в Париж, на много лет учиться: художественной форме — у Франции, чувству красок — у Парижа, логике — у готических соборов, средневековой латыни — у Гастона Париса, строю мысли — у Бергсона, скептицизму — у Анатоля Франса, стиху — у Готье и у Эредиа...

В эти годы я только впитывающая губка. Я весь глаза, весь уши. Странствую по странам, музеям, библиотекам... Кроме техники слова, овладеваю техникой кисти и карандаша. В 1900 году моя первая критическая статья печатается в «Русской мысли».

В 1903 году встречаюсь с русскими поэтами моего поколения: старшими: Бальмонтом, Вячеславом Ивановым, Брюсовым, Балтрушайтисом, и сверстниками: Белым, Блоком.

Этапы блуждания духа: буддизм, католичество, магия, масонство, оккультизм, теософия, Р. Штейнер. Период больших личных переживаний романтического и мистического характера. К 9 января 1905 г. судьба привела меня в С.-Петербург и дала почувствовать все грядущие перспективы русской революции...

Вернувшись весной 1917 года в Крым, я уже больше никогда не покидаю его...

Ни война, ни Революция меня не испугали и ни в чем не разочаровали; я их ожидал давно и в формах еще более жестоких. Напротив, я почувствовал себя очень приспособленным к условиям революционного бытия и действия.

(1925)

* * *

Концом иглы на мягком воске
Я напишу твои черты:
И индевеющие блески
Твоей серебряной фаты,
И взгляд на все разверстый
вновь,
И оттененный тонко нос,
И тонко выгнутые брови,
И пряди змейных, тонких кос,

Извив откинутого стана
И нити темно-синих бус,
Чувяки синего сафьяна
И синий шелковый бурнус.

А сзади напишу текучий,
Сине-зеленый, пенный вал,
И в бирюзовом небе тучи,
И глыбы красно-бурых скал.
Коктебель. 1909

* * *

Спустилась ночь. Погасли краски.
Сияет мысль. В душе светло.
С какою силой ожило
Все обаянье детской ласки,
Поблекший мир далеких дней,
Когда в зеленой мгле аллея
Блуждали сны, толпились сказки,
И время тихо, тихо шло,
Дни развивались и свивались,
И все, чего мы ни касались,
Благоухало и цвело.
И тусклый мир, где нас держали,
И стены пасмурной тюрьмы
Одною силой жизни мы
Перед собою раздвигали.

1909

* * *

Если сердце горит и трепещет,
Если древняя чаша полна...—
Горе! Горе тому, кто расплещет
Эту чашу, не выпив до дна.

В нас весенняя ночь трепетала,
Нам таинственный месяц сверкал...
Не меня ты во мне обнимала,
Не тебя я во тьме целовал.

Нас палящая жажда сдружила,
В нас различное чувство слилось:
Ты кого-то другого любила,
И к другой мое сердце рвалось.

Запрокинулись головы наши,
Опьянились мы огненным сном,
Расплескали мы древние чаши,
Налитые священным вином.

Париж. 1905

* * *

Мы заблудились в этом свете.
Мы в подземельях темных. Мы
Один к другому, точно дети,
Прижались робко в безднах тьмы.

По мертвым рекам всплески весел;
Орфей родную тень зовет.
И кто-то нас друг другу бросил,
И кто-то снова оторвет...

Бессильна скорбь. Беззвучны крики.
Рука горит еще в руке.
И влажный камень вдалеке
Лепечет имя Эвридики.

Весна, 1905. Париж

* * *

Как некий юноша в скитаньях без возврата,
Иду из края в край и от костра к костру...
Я в каждой девушке предчувствую сестру
И между юношей ищу напрасно брата;

Щемящей радостью душа моя объята;
Я верю в жизнь, и в сон, и в правду, и в игру,
Я знаю, что приду к отцовскому шатру,
Где ждут меня мои и где я жил когда-то.

Бездомный долгий путь назначен мне судьбой...
Пускай другим он чужд... я не зову с собой —
Я странник и поэт, мечтатель и прохожий.

Любимое со мной. Минувшего не жаль.
А ты, что за плечом,— со мною тайно схожий,—
Несбыточной мечтой сильнее жги и жаль!

1913



Рис. П. Кончаловского

* * *

День морозно-сизый расцвел и замер,
Побелело море, целуя отмель,
Всхлипывают волны, роняют брызги
Крылья тумана...
Обнимает сердце покорность. Тихо...
Мысли замирают. В саду маслина
Простирает ветви к слепому небу
Жестом рабыни...

20 февраля 1910

НАДПИСЬ НА КНИГЕ,
ПОДАРЕННОЙ ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ

Еще не отжиты связавшие нас годы,
Еще не пройдены сплетения путей...
Вдвоем, руслом одним, не смешивая воды,
Любовь и ненависть текут в душе моей.

1 марта 1910

* * *

Ветер с неба хлопья облак вытер,
Синим оком светит водоем,
Желтою жемчужиной Юпитер
Над седым возносится холмом.

Искры света в диске наклоненном,
Спутники стремительно бегут,
А заливы в зеркале зеленом
Пламена созвездий берегут.

А вблизи струя звенит о камень,
А внизу полет звенит цикад,
И гудит в душе певучий пламень
В синеве сияющих лампад.

Кто сказал: «Змеею препояшу
И пошлю?» ...Ликуя и скорбя,
Возношу к верховным солнцам чашу,
Переполненную светами,— себя.

20 июня 1917

ВЛАДИМИРСКАЯ БОГОМАТЕРЬ

Не на троне — на Ее руке,—
Левой ручкой обнимая шею,—
Взор во взор, щекой припав к щеке,
Неотступно требует... Не мею,
Нет ни сил, ни слов на языке...
Собранный в зверином напряженье
Львенок-Сфинкс к плечу Ее прирос,
К Ней прильнул и замер без движенья,
Весь — порыв, и воля, и вопрос.
А Она в тревоге и в печали
Через зыбь грядущего глядит
В мировые рдеющие дали,
Где престол пожарами повит.
И такое скорбное волненье
В чистых девичьих чертах, что Лик
В пламени молитвы каждый миг
Как живой меняет выраженье.
Кто разверз озера этих глаз?
Не святой Лука-иконописец,
Как поведал древний летописец,
Не печерский темный богомаз.
В раскаленных горнах Византии
В злые дни гонения икон
Лик Ее из огненной стихии
Был в земные краски воплощен.
Но из всех высоких откровений,
Явленных искусством,— он один

Уцелел в костре самосожжений
Посреди обломков и руин.
От мозаик, золота, надгробий,
От всего, чем тот кичился век,—
Ты ушла по водам синих рек
В Киев княжеских междоусобий.
И с тех пор в часы народных бед
Образ Твой, над Русью вознесенный,
В тьме веков указывал нам след
И в темнице — выход потаенный.
Ты напутствовала пред концом
Воинов в сверканье литургии...
Страшная история России
Вся прошла перед Твоим Лицом.
Не погром ли ведая Батыев —
Степь в огне и разоренье сел,—
Ты, покинув обреченный Киев,
Унесла великокняжий стол.
И ушла с Андреем в Боголюбов,
В прель и глушь владимирских лесов,
В тесный мир сухих сосновых срубов,
Под намет шатровых куполов.
А когда Железный-Хромец предал
Окский край мечу и разорил,
Кто в Москву ему прохода не дал
И на Русь дороги заступил?
От лесов, пустынь и побережий
Все к Тебе за Русь молиться шли:
Стража богатырских порубежий...
Цепкие сбиратели земли...
Здесь в Успенском — в сердце стен кремлевских
Умилясь на нежный облик Твой,
Сколько глаз жестоких и суровых
Увлажнялось светлою слезой!
Простирались старцы и черницы,
Дымкие сияли алтари,
Ниц лежали кроткие царицы,
Преклонялись хмурые цари...
Черной смертью и кровавой битвой
Девичья светилась пелена,
Что осьмивековой молитвой
Всей Руси в веках озарена.
И Владимирская Богоматерь
Русь вела сквозь мерзость, кровь и срам,
На дорогах киевских ладьям
Указуя правильный фарватер.
Но слепой народ в годину гнева
Отдал сам ключи своих твердынь,

И ушла Предстательница-Дева
Из своих поруганных святынь.
А когда кумашные помосты
Подняли перед церквами крик,—
Из-под риз и набожной коросты
Ты явила подлинный Свой Лик.
Светлый Лик Премудрости-Софии,
Заскорузлый в скаредной Москве,
А в Грядущем — Лик самой России —
Вопреки наветам и молве.
Не дрожит от бронзового гуда
Древний Кремль и не цветут цветы:
Нет в мирах слепительнее чуда
Откровенья вечной красоты!

* * *

Посыл А. И. Анисимову

Верный страж и ревностный
блюститель
Матушки Владимирской,—тебе —
Два ключа: Златой в Ее обитель,
Ржавый — к нашей горестной
судьбе.

ГОТОВНОСТЬ

Я не сам ли выбрал час рожденья,
Век и царство, область и народ,
Чтоб пройти сквозь муки и крещение
Совести, огня и вод?

Апокалипсическому Зверю
Вверженный в зияющую пасть,
Павший глубже, чем возможно пасть,
В скрежете и в смраде — верю!

Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил!»

Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия.
Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи,— вот плоть моя!

1921

Подготовка и публикация текста А. Маркова

ВЕСЕЛЫЙ ПИСАРЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

(Творческий портрет Евгения Венского)

Говорят, что В. Маяковский частенько любил повторять следующие каламбурные строки:

Часто снился Варе ус.
Глупый был у Вари ум.
Некий архивариус
Варю свел в «Аквариум».

И вправду здорово сработано, воистину по-маяковски... Есть в этих строчках какая-то — не подберу другого выражения — ловкая неуклюжесть. Ведь понимаешь, что чепуховина, а почему-то вновь и вновь тянет декламировать. Пора назвать автора этих виршей: Евгений Венский.

Венский? — мало кто сегодня вспомнит это имя. Разве что завзятый любитель поэтической сатиры, читатель со стажем обрадованно встрепенется: «Как же! Тот, что написал когда-то книгу пародий «Мое копыто»...»

Он самый. Добавлю, что нынешние читатели могут знать его по некоторым пародиям из сборника «Поэты «Сатирикона», вышедшего в «Библиотеке поэта» лет этак двадцать назад.

Все это так. И все же, смею уверить, что по-настоящему Е. Венский доселе неизвестен, и открытие его еще только предстоит. Ибо фигура эта в нашей литературе не только на редкость самобытная и колоритная, но и (да не покажутся мои слова дешевой профанацией) в своем роде выдающаяся. Попробую пояснить.

Литературный мир, как, впрочем, и все человеческое общество, построен по иерархическому принципу. Каждое сообщество, среда выдвигает внутри себя вождей, лидеров, главарей. Даже среди всяческого отребья, отбросов общества встречаются богатые натуры, наделенные от природы силой, умом, способностями. Так вот, в начале века, на перешейке двух революций Евг. Венский явился этаким некоронованным предводителем так называемой уличной прессы. Не королем (звание «короля фельетонистов», как известно, было присвоено Власу Дорошевичу), а именно вожаком, атаманом шутейной артели, зачинщиком богемных игрищ. Чересчур уж несерьезно, скандально и распоясанно было его поведение на печатных страницах. Да и подвизался он обычно в изданиях рангом пониже. Скажем прямо: ниже некуда.

Впрочем, Евгений Венский был нередким гостем и на страницах «Сатирикона» — блистательного юмористического еженедельника, куда не считали зазорным наведываться иной раз и Куприн, и Гумилев, и Добужинский, и Бенуа... Венский тоже был гастролером, но иного сорта. Аркадий Аверченко, редактор «Сатирикона», недолго любил газетчиков и не давал им ходу в свой журнал. Для Е. Венского, однако, сделал исключение. Чертовски был талантлив! Откуда что бралось: ничего ему не стоило сымпровизировать под Сашу Черного, Потемкина или Горянского — да так, что немудрено было спутать его с признанными лидерами сатириконской школы. Тем паче, что любил он укрываться под всякими диковинными псевдонимами (о чем речь еще впереди). С легкостью необычайной, буквально на лету он мог воспроизвести любой

стиль — от тонкого, изысканного письма до самого подзаборного трепя. Дар имитатора, пересмешичника был у него, по-видимому, в крови, он и привел Венского к пародии. Однако сама пародия, как таковая, занимает в его писаниях побочное место. По преимуществу это чистый юмор и сатира, без примеси.

Следует заметить, что с легкой руки Саши Черного в «Сатириконе» процветала сатира, пронизанная лирикой, настоянная на самоиронии. Поэзия, таким образом, звучала в журнале неким диссонансом заразительному, сочному и жизнерадостному смеху самого Аверченко. Видимо, редактор «Сатирикона» потому и привлекал Евг. Венского, что ему, прозаику, нужен был сподвижник в поэтической рубрике — не подверженный интеллигентской мерихлюндии, такой же хохотун и весельчак, вопреки и в пику извечной традиции русской сатиры, фрондерски заявлявшей: «...не желаю исправлять нравы общества и на эти нравы злобы не питаю».

И все же наиболее вольготно Евгений Венский чувствовал себя не в «Сатириконе» и даже не в дурашливом и зубоскальном его отпрыске — «Синем журнале», а в пользующихся самой дурной славой уличных изданиях типа «Маленькой газеты» — этой общедоступной, дешевой кухмистерской, стряпавшей дежурные блюда на российского обывателя. Здесь он скидывал маску прожигателя жизни, ресторанного завсегдатая Евгения Венского (псевдоним этот, к слову сказать, взят им в честь петербургского ресторана «Вена» — излюбленного места сборищ литературной богемы), и облачался в одежду попроще, становясь Евстафием Богоявленским. Для своих малограмотных читателей он так растолковывал различие между ними: «Евгений Венский и Евстафий Богоявленский происходят от одного отца и одной матери, а значит, вроде как братья и сестры. И я с ними расплевался: Е. Венский исключительно для тиллигенции, а я для родной моей проплеванной, расторопной улицы».

Надо сказать, что псевдонимов у Венского было великое множество. Называют цифру — 30, но, полагаю, что их было значительно больше. Вряд ли и сам поэт помнил все литературные прозвища и подписи, рожденные его неуемной «смехотворной» фантазией. Уже сами по себе они способны сообщить нечто об их сочинителе: Женя Фартовый, Франт с Плуталовой, Дрызгунова сыновья, Дурье гнездо, Егор Фрррр, Лирический бродяга, Язва... Есть среди них даже псевдогинимы, то бишь женские имена, принятые мужчиной: Ганна Басаврюк и Мунька Нагородская. Одного только имени не встретишь под его произведениями — его собственной фамилии — Пяткин.

Да, его звали Евгений Осипович Пяткин. Однако фамилию свою он оберегал от печати или, в крайнем случае, давал ее в зашифрованном виде: Е. П-т-к-н. Что это: душевная ранимость, ущемленность, таимая под спудом, или соблюдение семейного достоинства? Среди постоянного ерничества ненароком промелькнет — да и то не на печатной странице, а в какой-нибудь частной записи, вроде той, что сделана им в альбом критику и пародисту А. Измайлову, затаенная тоска об ином жребии, тень иных притязаний: «Когда снимаются группами начальник отделения департамента со своими мелкими служащими — у писцов, будь они убийственно красивы, — обязательно получают бараньи физиономии. Среди генералов от литературы (в альбоме были автографы Чехова, Короленко, Куприна... — А. И.) чувствую себя вольноопределяющимся, — мысли разлетаются, рука шалит, — и вероятно, вышла довольно глупая рожа. А хочется, чтобы мой автограф тоже был не хуже

всякого другого». Чудеса да и только! Кто бы мог ожидать подобных интеллигентских тонкостей от испытанного остряка.

Необходимо хотя бы вкратце остановиться на биографии Евгения Венского — Е. О. Пяткина. Подробно, увы, вряд ли получится — слишком скудными сведениями мы располагаем. Родился поэт в селе Тимерсыны Симбирской губернии, в семье дьячка (по другим сведениям — учителя). Стихи начал писать с 8 лет. Напечатался впервые в 1902 году, будучи казанским семинаристом. Для учащихся духовной семинарии подобные занятия считались предосудительными — отсюда, надо думать, привычка скрываться под псевдонимами. Отсюда же, видимо, изобилие иноязычных выражений в его произведениях — своего рода фирменная мета Е. Венского (будущие священнослужители обязаны были освоить не только латинский, греческий, древнееврейский, но и французский, английский и немецкий языки).

На четвертом году он был исключен из семинарии и примерно год учительствовал. С 1905 года стал жить литературным трудом, пройдя основательную выучку в провинциальных изданиях от Казани до Самары. Побродил, потолкался по волжским городам. А в 1909 году решил перебраться в северную столицу. Некоторое время провинциал колотился по разнокалиберным столичным газетам и журналам, пока — цитируем отрывок из его шутейной автобиографии — «...мой голос, чуждый культурности и пр., не совпал со стремлениями заседателей «Вены» и «Капернауама» и не вступил в синдикат (орхестру) идей, известных под именем: «долой Тургенева! Виват Петр Маныч!» (П. Маныч — известный литературный бродяга, богема, выпивоха и «ординарец» А. Куприна). После революции, в годы гражданской усобицы, подобно многим русским литераторам (Булгакову, Маршаку), он оказался на юге России, в денкинском тылу. В советское время активно сотрудничал в сатирической печати. Для сцены сочинял скетчи и всякую кабарежную мелочь. В 1942 году был репрессирован. Жизненный путь Венского окончился 4 ноября 1943 года.

Пожалуй, все. Следует только добавить, что к сведениям, исходящим от самого Е. Венского, следует относиться с предосторожностью. Е. Венский по натуре мистификатор, его невозможно представить без розыгрышей и проделок, как в жизни, так и в творчестве. Именно он, к слову сказать, ввел в «Синем журнале» рубрику «Репортаж остроумия», где печатались стихотворные экспромты, якобы произнесенные разными знаменитостями.

Иные из «шуток» Венского продолжают всплывать по сей день. Так, уже после выхода в 1966 году сборника «Поэты «Сатирикона» закадычный приятель Венского, поэт и журналист Е. Хохлов обнаружил среди перечисленных в книге псевдонимов поэта и... свою собственную фамилию — «Евгений Хохлов». Как же так? «Думаю, что все это озорство Венского, который был на такие вещи большой мастак, — вспоминает Е. Хохлов. — Сердиться на него невозможно: делал он все это не по злобе, а именно из озорства, на которое у него был какой-то зуд».

Евгений Венский и впрямь великий озорник и шкода от прессы, надевший на себя шутовскую маску. Впрочем, маску ли? Дуракавалание было, похоже, его врожденным качеством. Не зря же из сызранской бурсы он был выгнан — по его собственному выражению — за смехачество. Таким же бурсаком, недорослем в литературе — неотесанным, беспардонным и разгульным малым он нам и представляется.

«С праздником, братцы, дорогие петроградцы, — такой бойкой скоро-

говоркой ярмарочного зазывалы начинал он обычно свой ежедневный фельетонный комментарий на злобу дня,— пермяки, рязанцы, скопские, симбирцы, казанцы, уральские неженцы, одесские беженцы, мазурики, обиралы, сенновские охмурылы, александровское ворье, мариинское мазурье и вообще все мои читатели, разнесчастные обыватели, мое вам почтение с кисточкой!!»

Кто-то, возможно, поморщится: что, дескать, за аляповатая стилизация под псевдонародный язык! Как можно потрафлять примитивным вкусом! А на каком языке прикажете разговаривать с почтеннейшей публикой — обывателем, мещанином (имея в виду не нравственную категорию, а социальную прослойку) и прочим простонародьем — как не на его собственном наречии? Демииурги — пусть их — беседуют с вечностью, но кто-то должен был посудачить, покалякать и с простыми смертными. Недаром знаменитый раешник Евст. Богоявленского пользовался исключительной популярностью среди простых горожан. В годы германской и далее, вплоть до гражданской войны поэт, кочуя из одного бульварного издания в другое, не расставался с этой непринужденной, панибратской формой общения с читателями.

Обозреть все написанное Е. Венским в стихах и прозе крайне затруднительно, потому как его фельетоны и заметки рассеяны по необозримым просторам российской прессы — столичной и провинциальной. В книги — а их можно перечесать по пальцам — вошла лишь незначительная часть написанного. К тому же судьбы некоторых из них сложились не лучшим образом: одни — вот уже много лет погребены под вымышленными именами — Евст. Фролов и Митр. Козлов (это ли не расточительность таланта), другие — «Улыбка», «Язычник» — столь редки, что их не сыщешь и в крупнейших книгохранилищах, третьи — «Танго с шакалами» — конфискованы. А книга рассказов в стихах «Конец Касьяна Камаринского», усиленно рекламированная автором, так и не вышла, так как выяснилось, что сбережений для издания у него нет — «одна лишь записная манишка да нестиранная книжка». Как тут не вспомнить Маяковского: «Мне и рубля не накопили строчки...».

Чем же примечателен Е. Венский помимо своей сверхпродуктивности и уникальных стилизаторских способностей? Было ли у него свое поэтическое лицо, своя литературная повадка? Трудно сказать. Одно можно утверждать определенно: написанное им не теряется в газетно-журнальном окружении, даже будучи скрыто под никому не известным псевдонимом. Чем? Какой-то непринужденностью слога, грубоватой, даже вульгарной фактурой. И еще какой-то забубенной лихостью, бедностью, смачностью, когда слово «аппетитно» не само по себе, а по счастливому соседству с другими. Все это позволяет думать, что мы имеем дело не просто с добротным версификатором, но поэтом (несмотря на весьма сомнительного вида оболочку).

Затруднительно сказать, кем он был в первую очередь: поэтом или прозаиком. Венский был мастером малых литературных форм, и среди его фельетонов, даже среди издевательски-колких мини-рецензий на новинки книжного рынка или театральные премьеры встречаются подлинные маленькие шедевры в своем жанре. Жанре, увы, самом неблагоприятном из всех родов литературы в смысле долговечности: всему было суждено кануть в эту... как ее?... В Лету».

Дух бесшабашной вольности, вынесенный Венским с волжских берегов, в наибольшей, пожалуй, степени нашел свое воплощение в его собственном журнале «Трепач». Организован он был в смутное время бесцарс-

твия, когда Временное правительство предпринимало лихорадочные усилия удержать власть, а Советы еще не были готовы ее забрать. Свое детище Евстафий Фролыч Богоявленский (или попросту — Евсташа) представлял, как «журнал сатиры, юмора и быта улицы новой распоясанной России». Под статью редактору были и другие «трепачи» — всякая пишущая рвань, журнальные сутенеры и ярыжки, ведущие свой род от гоголевского Тряпичкина.

Редактор-издатель вел оживленную переписку со своими «дикими» читателями. Не забывая что-нибудь отчубучить, в обычной для него дурашливой манере, Евсташа исподволь наставлял своих не шибко грамотных и не слишком церемонных корреспондентов, учил их уму-разуму. Не угодно ли некоторые образчики ответов из «Почтового ящика» журнала:

Кифе Мокиевичу: «Ты чего распоясался? «Ногу и могу» — нешто рифма? Ты давай рифму настоящую, чтобы она гудела и ногой притоптывала».

Н. Палкинскому: «Что это за имя существительное «солнечное скерцо»? Голенастенькое какое или из рода подсолнухов?»

Пиф-Пафу: «Чепуху» ты у кого-то слимонил. Я сам, брат, жулик — меня не проведешь».

Угнетенному весельчаку: «Я вас очень же ву при: покороче вирши при».

Мельнику: «Ты бы, золотко, прислал для «Трепача» что-нибудь спиновистого, примерно, «Влияние христианского аскетизма на увеличение собачьих свадеб».

Д. Герасимову: «Частушки пущу. Ты насчет грамоты пройдишь немножко, Герасимов, а то с Тургеневым конкурировать трудно будет, он второго класса реального, кажись».

Кл. Никифоровой: «Это неприлично, но для «Трепача» слабо. Надо неприличнее».

Д-ру Тулузскому: «Ваши гениальные произведения с возвышенным стилем будут не на месте в нашем уличном паршивом журнальчике с низким языком. Как говорила Мария-Антуанетта: «Не отвечивай, покелева в хрипило не схлопотал».

Что говорить, Е. Венский не стеснялся в выражениях, ибо его интересовала, как сказано в программной статье журнала, — «живая жизнь с ее неизбежными черными сторонами, с хамством, горлопанством, авантюризмом, шулерством, глупостью, пошлостью, фараонством, мертвечиной, распоясанностью, идейным хулиганством и прочим наследственным багажом старого режима». В какой-то мере этот «уличный, паршивый» журнальчик олицетворял всю ту взвихренную эпоху, с ее неразберихой и политической свистопляской. В то время, как резко поправивший «Сатирикон» сводил счеты с поверженным царизмом, тщась при этом еще лягнуть большевиков-ленинцев, ратовавших за прекращение войны, его младший непутевый собрат «Трепач» неожиданно проявил завидную политическую зоркость. Неспроста под одним из своих антивоенных стихотворений поэт поставил вызывающую подпись: «Большевик Евгений Венский».

И еще об одном факте случайного совпадения или вешего, поэтического предвосхищения событий хочется рассказать. В одном из номеров журнала был изображен разбитной матросик, с надписью на бескозырке «Аврора». Под рисунком горделивая подпись, явно принадлежащая Венскому: «Наши, симбирские!» Знал ли автор, как он со своим местным патриотизмом попадает в масть — ведь именно уроженцу Симбирска пред-

стояло возглавить пролетарскую революцию. Представьте себе, что напечатано сие было примерно за полгода до исторического залпа «Авторы».

Нет нужды изображать Е. Венского каким-то бунтарем, сознательным революционным борцом. Более того, он был далек от политики. Но что поражает — это редкая социальная зрелость и здравомыслие поэта в эпоху всеобщей сумятицы, когда многие умные головы теряли ориентацию. В тех желтых листках, в которых ему приходилось сотрудничать, он занимался не только стихотворной, но и хроникерской и репортерской работой. Он образумливает, совестит, а то и почему зря костерит обывателей, саботировавших декреты и начинание Советской власти: «К работе, граждане! Забастовкой можно убить себя, а не большевиков (...) Большевики не партия. Это собрание активных людей. Это народ (пусть с вашей точки зрения и не умный), который хочет как-нибудь по мере своего разумения выбраться из трясины. Почему вас, умников, нет среди него? Смольный во всех решительно своих движениях опирался на активных людей (...) Для вас же стараются, мир заключают, а вы... Эх, вы...»

Отнюдь не значит, что Е. Венский скороспешно переокрасился, дабы подладиться к новым властью имущим. Сострадание трудовому люду и всем обездоленным было издавна присуще ему, еще с младых лет, когда его пером, покуда неумелым, водила муза скорби и гнева:

Ну, что за дело нам до них,
До песен воздуха и неба:
У нас голодных и нагих
Назавтра нет простого хлеба.
Стон наших дьявольских машин
Нам заглушает звуки песен.
И неба краешек один
От дыму сер и скучно тесен.
Ты спой, поэт, о тусклых днях,
Всю жизнь в машинах проведенных,
О наших кошмарных ночах,
Голодных, пьяных и бессонных.
Ты спой о том, как на разврат
Все наши дети осуждены.
Ты спой про этот страшный ад,
Про нашу смерть и наши стоны.

Помилуйте, а как эти строки увязать с циничной беспринципностью, беспардонностью и безалаберностью бульварного писаки? А что, если... — воспользуемся словечком из его же лексикона — ...что, если он «придурился»? В самом деле, как вести себя с хамами, пошляками, дураками? Не замечать, будто их не существует? Увещевать? Гневаться? Путь, избранный Венским, пожалуй, самый рискованный и скользкий. Переплюнуть в горлопанстве, фанфаронстве, глумлении то зло, которое наиболее ненавистно ему в человеческой натуре, приняв для этого образ стоеросового дуболома, забулдыги, фигляра — из тех, о которых говорят: «оторви да брось». Подобной нелицеприятной маски что-то, право, не припомню со времен Козьмы Пруткова.

Лиха беда начало: в литературу Е. Венский, можно сказать, вломился, как в пивную, — своей книгой «Мое копыто» (каково само название!). Для пущей наглядности на обложке этой книги «великого пасквилья» — его своеобразной визитной карточки — был изображен осел, лягающий льва.

Никакого пиетета перед «метрами», любимцами публики, ибо дурацкий колпак ставил шута вне критики. Эта вывернутая наизнанку правда-матка, балансирующая на грани с пошлостью, требовала тончайшего исполнительского мастерства, перевоплощения, лицедейства. По народному приговору: «Всяк спляшет, да не как скоморох». Следует сказать, что его потешное действо носило явную национальную окраску, пронизано духом смачного народного юмора, раблезианства, если хотите, но в русском варианте, на какой-то трактирный лад. Вся эта клоунада, ерничество, литературные ряженья восходят к традиции балаганной смеховой культуры.

То, что делал Венский — при всей своей внешней разбросанности и беспорядочной взлохмаченности, — носит довольно цельный характер. Даже срывы (а их по общепринятым меркам сколько угодно) могут расцениваться не как измена вкусу, но как последовательный антиэстетизм, установка на низкую лексику, на язык улицы. Поэт увлечен своими непрезентабельными персонажами — обитателями «Обводки» (Обводного канала) и Горячего поля: ночлежниками, жуликами, панельными красотками, босяками-попрошайками, выпивохами, так называемым плесом. Этот пласт народной жизни был, в сущности, не тронут русской поэзией, и вполне понятно, что Венский сознательно насыщал свою поэтическую речь отнюдь не поэтическими жаргонными выражениями и словесами, нередко при этом перегибая палку.

Здесь вновь приходится вспомнить В. Маяковского. Не потому, что стало уже традицией чуть что кликать для подкрепления «агитатора, горлана, главаря». Просто бросается в глаза несомненное сходство двух этих фигур — Маяковского и Венского — при всей их разновеликости, разумеется. Это и вызывающий эпатаж публики, и нарочитое грубиянство, и бунт против хорошего тона в литературе, и умение поиграть со словом, и стремление к тому, чтобы стих звучал «весомо, грубо, зримо». В своих словесных изысках Маяковский не гнушался черпать из тех темных бездн, заглядывая куда, другие литераторы в страхе и брезгливости отшатывались. Жгучий интерес к народной молве сам поэт считал зовом эпохи: «революция выбросила на улицу корявый говор миллионов, жаргон окраин полился через центральные проспекты». Исключительным выразителем этой разбуженной народной стихии как раз и был Е. Венский.

Сейчас затруднительно сказать, насколько сведущ Маяковский был в творчестве Венского. Безусловно, он был знаком с его стихами хотя бы по «Сатирикону», некоторые даже знал наизусть (подтверждением чему служат строки, процитированные в самом начале). Впрочем, речь должна идти скорее не о влиянии, а о сходстве эстетических устремлений, приведенных, однако, к различным результатам.

Приходится признать, как это ни печально, что при всех своих богатых задатках Евгений Венский растратил талант на однодневки. Так и не смог он подняться над крикливой и дешевой бульварщиной, засосала его таки низкопробная печатная клоака. Такова трагедия многих талантов, живших исключительно газетным и журнальным ежедневным трудом ради хлеба насущного, ради пары штанов да пачки папирос. Впрочем, что мы знаем о нем, о его поздних годах, прошедших почти в полном забвении? Быть может, что-то нам поведаст письмо Венского, адресованное Юрию Олеши, относящееся, по-видимому, к началу 30-х годов:

«Незабвенный Зубила, поставь меня на ноги: я полетел кувырком в пропасть. Сначала сильно пил и растерял работу, потом 2 м-ца лежал без

пошевелу, в довершение горестей обокраден, т. ч. сию безвыходно дома: ни белья, ни обуви, ни костюма. Спасибо Евг. Петр. Катаеву: выкупил мое пальто из ломбарда и дал рубашку.

Так сказать, начинаю обростать. Если у тебя есть старые ботинки и «salsops» — дай. Ибо купить таковое добро я никак не смогу, стоят, дьяволы, 150 руб. + 25 руб.

Но это не главное. Я много размышлял о бренности жизни человеческой и др. философских вещах, — и пришел к заключению, что ты меня можешь сделать человеком — и никто больше.

Так: если ты скажешь генералам в «Гудке» о том, что есть в Москве грамотный фельетонист Венский, что он пишет стихами и прозой все, что прикажут, что иногда пишет он очень удачно и солено, что берет недорого и тому подобное, — то генералы от «Гудка» могут меня печатать на своих смешных полосах.

Писать бы я стал под 30 разными пселдонимьями, ибо слава мне не нужна, абы был заработок рублей на 20 в сутки, не больше, т. е. я мечтаю об ежедневном фельетоне, если же фельетон расценивается дороже, то через день.

Идти самому лично и предлагать перо — не в силах: стар для просьб, а они слишком все молоды, чтобы уважать седины мои. Приду, а они спросят: — Где работал? Грамотен или мало? Печатался ли? и т. п.

Сам понимаешь, Зубила, что обидно.

И вот вывод:

— Если я не буду тебе вреден чем-нибудь в «Гудке» (м. б. у тебя есть какие-то соображения данного разреза...), то устрой меня на фельетон в одной газете, чем выручишь меня от неминуемого босячества в ближайшем столетии и даже месяце.

На более широкую дорогу я уже плюнул. Конечно, — кроме своего романа-эпопеи: то задача жизни моей, и до крематория я этот труд все-таки закончу.

А напр., для Радио-Центра, Нивы, Прожектора — я как будто староват и, главное, лишен злости к новым врагам и необходимого энтузиазма.

С эпопеей очень тяжело: я размахнулся по-хлестаковски Гоголем-Достоевским-Гете, а силенки-то хреноватые, да и хлебное вино шибко вредит делу, — башка варит туже, чем назад тому, скажем, 15—20 лет. Как-никак — 48 лет!!! Марка! Да еще то прими во внимание, что не видел ничего горячего (суп, щи, каша, пироги) года с полтора: закусываем луковичей! Факт!

Короче: если можешь (и если хочешь!!!), — дай подняться. И умоляю, позвони по телефону: Д-2-51-60.

Сам я не могу звонить, т. к. тел. в коридоре. Дома я 24 часа в сутки, ибо безвыходен, но прийти к тебе могу, или прислать кого-либо из приятелей: пальто и калоши есть.

Третья просьба: уничтожь сию эпистолию по прочтении. Зачем лишние разговоры о том, что Венский готовый босяк и что песенка его спета. На самом деле?

Оно, фактически, м. б. так и верно, но разговор зачем? Зачем разговор-то?..

Весь твой, Евг. Венский» (ЦГАЛИ, ф. 358, оп. 2, е. х. 699).

Венский остался верен себе: шуткуя и ерничая, он стилизовал свое послание под простонародные просительные письма. Хотя какой уж там смех — человек полтора года не питался по-домашнему! Письмо прямо-таки вопиет о жизненном крахе. За горестными словесными эскападами

вырастает фигура трагическая или, правильнее сказать,— трагикомическая. Этакий «российский Франсуа Вийон», не оставивший, однако, «Большого Завещания».

Впрочем, почему не оставивший? А роман, над которым Венский трудился более полутора десятков лет и обещал в одном из писем обязательно закончить его — «а как кончу,— могу и сложить свои кости. Feci, quod potui... *». Где он, этот роман, в котором должны были раскрыться истинные масштабы дарования Евгения Венского? Ау! Может статься, еще сыщется? Хотя навряд. Рукописи не горят? Еще как! Очень даже удобно ими печи растоплять... Мало быть Мастером — надобно еще обзавестись Маргаритой, готовой сохранить творение для людей: «Чтобы знали...»

А что мы знаем? Архив Венского не сохранился, а то, что было напечатано,— надежно погребено в подшивках старых газет и журналов. Его творческое наследие (Венский наверняка хмыкнул бы при этом научном термине) еще ждет своих исследователей. Прежде всего не так просто перешагнуть через нормы и эстетические критерии, сложившиеся в нашей литературе. Да что там говорить — мы и к городскому, или, другими словами,— мещанскому романсу начали присматриваться лишь недавно, усмотрев в нем, помимо пошлости и банальности, еще и народную эстетику, свое понимание чести и любви. С точки зрения пуристов, чтиво, поставляемое Венским на потребу невежественной публики,— это нечто, лежащее за пределами художественной словесности. Как можно-с: смехачество... в стихах... и «воопче» (как любил говаривать «великий писарь земли русской»).

Все это было бы справедливо, если б не одна малость: поэзия. Та самая, как справедливо сказано у Маяковского (опять не обошлось без него),— «пресволочнейшая штукавина: существует — и ни в зуб ногой». Спору нет, «проплеванная, расторопная улица» Евгения Венского пролегла где-то пообок от столбовой дороги отечественной литературы. А, право, жаль! Она — литература — явно беднее и скучнее без этого беспечного представителя русской богемы, *enfant terrible* нашей поэзии.

Анатолий ИВАНОВ

ЕВГЕНИЙ ВЕНСКИЙ

КОГДА СТУДЕНТУ НЕ СПИТСЯ

Закутавшись в плед,
Сижу на постели и ною.
Как раз надо мною сосед
Подрался с женою.
А рядом скрипит
За тонкой стеною кушетка,
Там шепчется с кем-то соседка —
Не спит.

* «Я сделал все, что мог...» (лат.)

Отпив из стакана,
Ботинок беру, чтоб убить таракана,
Ползущего прямо ко мне
По стене,
И вздыхаю: «О, боже, как рано —
Всего только три!»

Принимаюсь за Гримма,
Чтоб ночь скоротать до зари,
По комнате шляюсь в ночном туалете
И, невольно отвлекшись от Рима,
Вспоминаю о лете
И о той, что безмерно любима...
— О, часы упоений, вы были не редки!
Весь мир представлялся мне в розовом свете.
Черт возьми, как скрипят у соседки!

Мне, признаться, становится важен
Вопрос этих скрипов, совсем неурочных,
И глаз ищет скважин
Замочных.
Во-первых:
Почему беспокойно у них?
Во-вторых:
Отзывается это на нервах...

Ах, черти! Бумагой все дырки заткнули!
И, стакан опрокинув на стуле,
Возвращаюсь под плед.
За стеной у соседки уснули.
Не дерется с женой сосед.
И я в испуге тирана
Убиваю с размаха еще одного таракана.

1911

В ЛЕТНЕМ САДУ

В старых тенистых аллеях
Нежно алеет закат.
Публика, ног не жалея,
Ходит вперед и назад.
Шпоры, манто, бриллианты,
Шляпы. (Ах, шляпы, madames!)
Старцы и лысые франты
Всюду — по женским следам.
Бродят. Едят простоквашу.

А из-за стройных стволов
Смотрит на публику нашу
Старый насмешник Крылов.
Смотрит и шепчет: «Когда же
Новых увижу людей?
Живы мои персонажи,
Сделались только глупей...
Что за нелепые шляпы,
Что за бессмысленность лиц!..»
И улыбаются в лапы
Морды волков и лисиц.

* * *

Лилии бледной белее,
Нежности тихой полна,
В Летнем саду по аллее
Шла одиноко она.
Мягко вился ее локон,
Взгляд, как весенний привет,
Стан не сгибался (не мог он —
В узкий затянут корсет).
Ах! Из-под шляпы огромной
Мне улыбались уста...
Полная негой истомной,
Вспыхнула в сердце мечта.
Предан внезапной идее,
В странный пришел я экстаз,
Рядом спешил по аллее
С пафосом огненным фраз.
— Кто вы, о, кто, знакомка?
В смене сближений и встреч
Вас отыскал я... (негромко
Так полилась моя речь).

Вдруг услышал я от дамы
(Ах,— я в смущенье досель!)
— Ладно, идем... Но куда мы?
Можно в ближайший отель,—
Там кабинеты и ужин...—
Стоя пред ней как бревно,
Был я ужасно сконфужен,
С неба низвержен на дно...
Снова как прежде блуждаю.
Шляпы, манто и боа.
Боже,— но как отгадаю
Их «profession de foi»?
Все одинаково схожи...
Лица, манеры, костюм.
Как же найти мне, о, Боже,
Деву мечтаний и дум?
Взоры исполнены жажды,—
Манят... Но я не иду.
Был я обманут однажды
В сумерках в Летнем саду.

1909

ПРИМЕТЫ

Я верю глубоко в народные приметы.

Пушкин

Если подал на суд к мировому,
Векселями, грозя, дровенник;
Если ссорами гонит из дому
Околевший за лето мясник;
Если сын мой, поэт-неврастеник,
Книг своих выпускает пяток;
Если дочь на билет просит денег
И, рыдая, рычит монолог;
Коль супруга покинула Баден,
Коль хотят меня в Думу избрать;
Коль хозяин к «презренному» жаден,
Начинает меня донимать;
Если мучить начнут меня флюсы;
Коль в «Листке» промелькнуло: «бюджет»;
Мне не нужны ни числа, ни Брюсы,—
Я уж вижу: — спасения нет.
Я считаю скорее монету,

И тоскую, в счета погружен.
— Значит,— в Лету придется лету...
Значит, летний окончен сезон.

1909

ДУМЫ МОИ, ДУМЫ...

(Трудно міні з вами...)

Разве каждый дворянин
Обзаводится дворнягой?
В брод идущий мещанин
Разве кличется бродягой?
Разве студнем жив студент?
Ведь и ситный ест коллега?
Разве тот интеллигент,
Кто приехал in telega.
Ну, а каталь * разве всяк
Проживает в каталажке?
Трудно встретить, чтоб горняк
Был женатым на горняшке **...
Если кол оттешет бас,
Значит, бас уж стал колбасник?
Сев на поезд в третий класс,
Ты не будешь третьеклассник...
Вот раздумаешься тут,—
Станет думам тесно-тесно:
...Все Ев-гением зовут,
А за что и... неизвестно.

1913

КРУГОВОРОТ

Часто снился Варю ус.
Глупый был у Вари ум.
Некий архивариус
Варю свел в «Аквариум».

Были — «Жак и гусь его»
Сверх очаровательно.
Ну, а «Марья Лусьевна»
Прямо замечательно.

* Рабочий, перевозящий грузы на тачке.

** Горничная.

190

Ничего подобного
Варя и не нюхала.
С хохоту утробного
Зала так и ухала.

Жался очарованно
Черный к щечке Вари ус,
И шептал взволнованно
Варе архивариус.

— Милочка... Варюшечка...
Сохну Карлом в Вене я...
Я готов вас, душечка,
Взять на иждивение.

Помогать же, Варя, вам
Буду очень часто я...—
И горела заревом
Физия усастая.

Сильно был нафабрен ус.
Душу выжег Варю ус.
Был с лица, что Гамбринус,
Душка-архивариус.

Три четвертых годика
Пролетело с хвостиком —
Родила уродика
Варенька под мостиком.

Злой попался Варю ус.
Глупый был у Вари ум.
Дельный архивариус
Лизу вел в «Аквариум».

Рока (не позевывал)
Исполнял веление:
Честно утрамбовывал
Плотность населения.

1915

РОССИИ

Жизнь-то какая начинается!!!
Счастливая, свободная, могучая...
Всякий идет улицей, ухмыляется,—
Жизнь впереди, лучшая!

И Небо Земле соответствует:
Голубое стало, не суконно-хмарое,
Солнышком Россию приветствует:
— Растрясла, мол, свои кости-то, старая?..

Кончилось житье подневольное
С тюрьмами да жестокими пытками,
Заключение кончилось подпольное...
Оказались цепи гнилыми нитками.

Домовничай теперь, родимая,
Хлопочи, старайся в полном здравии.
Сияй, что лампада неугасимая,
В домашнем, значит, полноправии.

Чтобы в хлеву всего было десятками,
На гумне чтобы всего было множество,
В чуланах полными достатками,
И на стенах разное художество,

Чтобы ребята были ученые,
А не какие шпингалеты, Евсташины,—
Здоровые, приветливые, точеные,—
Одно слово: — папашины, мамашины,

Чтоб на тройке с гармонью заливались,
Зелена вина пили вдостали,
Работали бы, не баловались
По девяносто лет жили, по сто ли...

Чтоб на столе была всегда убоина,
Да всегда с хорошим наваром — щи!..
Большим-то счастьем, матушка, удостоена!
— Лапу, братцы-товарищи!!

1917

СТАТЬИ



ВИТАЛИЙ ЗВЕРЕВ

«ПРИМИТЕ ВСЁ: МЕЧТЫ МОИ И СЛЕЗЫ!»

О жизни и творчестве Владимира Григорьевича Бенедиктова

Злобно и несправедливо о Владимире Григорьевиче Бенедиктове и его творчестве написано значительно больше, чем все стихотворное наследие этого замечательного русского поэта. Читателей, благосклонно или с восторгом относившихся к творчеству Бенедиктова, зачисляли в разряд людей низшего сорта, с пошлым художественным вкусом. Со временем такое пренебрежительное отношение к почитателям его таланта и творчеству становилось даже модным и почти общепринятым, входящим в арсенал высокообразованности.

Высокая оценка читательской публикой стихов Бенедиктова не успокаивала исследователей творчества поэта, и особенно отличились при этом в начале нашего века авторы издаваемого под редакцией П. Б. Струве и А. А. Кизеветтера журнала «Русская мысль». С нескрываемым отвращением и в разнузданном тоне писали здесь о нашем поэте Б. Садовской (1909) и Т. Глаголева (1917, с посвящением Г. К. Крыжицкому). Т. Глаголева в заголовок вынесла, как клеймо, слово «раб», уточнив это понятие в тексте статьи: «Бенедиктов в своей любви — истинный раб мелкой и беспросветной, ужасающей пошлости» (с. 30). Б. Садовской тоже уже названием своей статьи «Поэт-чиновник» как бы исключал Бенедиктова из мира поэзии и с первых же строк начинал разгром покойного поэта: «В публике тридцатых годов Бенедиктов прежде всего прославился как вдохновенный поэт — взгляд, глубоко ошибочный, потому что по природе Бенедиктов никогда поэтом не был». Назвав поэта «до мозга костей чиновником», автор статьи для эмоционального усиления своих суждений обращается к образу известного гоголевского героя из «Мертвых душ»: «Вообразим себе Чичикова, пишущего стихи,— и мы будем иметь приблизительное понятие о поэте Бенедиктове». Парадокс — и красиво! А далее такими же средствами и приемами идет с разрушительным напором развенчивание якобы ложной популярности и незаслуженного авторитета Бенедиктова среди русских читателей. Пренебрежительно рассуждая вообще о службе и о личности любого чиновника, о будто бы неразрешимом антагонизме между жизнью чиновника и миром поэта, Б. Садовской в ничто сводит как личность, так и творчество Бенедиктова.

Такое изысканное эстетство, конечно, имело мало чего общего с лучшими традициями русской мысли в оценке фактов отечественной литературы. Ведь принадлежность человека по должности даже к далекой от поэзии области деятельности не служит причиной отказа ему в звании поэта. Напомню пусть даже и приблизительную статистику из книги С. и В. Золотаревых «Литература в цифрах и схемах. Русские писатели» (М.—Л., 1929): «До 1845 года писатели только на 18% жили литературным заработком, 42% из них служили чиновниками, а писали в свободное от занятий время». Так что, по этим данным, Бенедиктов в свое время был что ни на есть типичнейшим поэтом. Да впрочем, читатели ценят автора

стихов вовсе не за его социальное положение, а за то, как отзываются в их сердце мысли и чувства поэта, выраженные в его сочинениях.

Нападающие на Бенедиктова критики обычно популяризируют его стихи, объясняя неразборчивостью и неразвитостью эстетического вкуса читателей. Но как при этом изъять из той самой читавшей Бенедиктова публики В. Жуковского и А. Григорьева, И. Крылова и И. Гончарова, П. Плетнева и П. Вяземского, А. Фета и С. Шевырева и многих других известных деятелей русской культуры, одобрительно и даже восторженно относившихся к творчеству нашего поэта? Известны и похвалы А. Пушкина, которые, правда, острыми на ум исследователями почему-то были истолкованы в негативном по отношению к стихам Бенедиктова смысле. А ведь отмеченные Пушкиным богатство рифмовки и смелость сравнений и образов в стихах Бенедиктова оказались со временем теми важными чертами, которые обозначили достоинство и самобытность творчества Бенедиктова.

Литературоведы 1920—1930-х годов представляли Бенедиктова воинственным борцом-эгоистом, готовым на любые ухищрения ради самоутверждения. Так, К. Шимкевич в академическом издании «Поэтика. Временник отдела словесных искусств Государственного института истории искусств. Вып. V» (Л., 1929) показал его поэтом, задавшимся целью во что бы то ни стало «обновить» «интимную и философическую лирику», и домыслил за нашего поэта следующее: «Он прекрасно осознал, что для этого нужно прежде всего сбросить с «корабля современности» именно Пушкина» (с. 107), а затем пришел к выводу, что «выступление Бенедиктова» в поэзии «сыграло решительную роль в деле разложения пушкинского канона». Вот таким крушителем отечественной словесности был представлен скромный поэт-чиновник Владимир Григорьевич Бенедиктов.

Совсем другое говорили о Бенедиктове современники, близко знавшие его. «То веселое, полное надежд и сил, по-своему любящее искусство, общество,— вспоминает поэт Я. Полонский,— было именно таково, что могло ненарушимо поддерживать в Бенедиктове и его идеальные воззрения на жизнь, и его оптимизм, и его веру в Россию, в **людей** и **жизнь иную**. Бенедиктов же и не был склонен к анализу или отрицанию — дух сомнения, как увидим, очень поздно посетил его, уже среди иных людей, среди иного, подрастающего поколения». И всякий прочитавший стихи Бенедиктова и познакомившийся поближе с жизнью и творчеством его согласится с Я. Полонским: «Бенедиктов, всю жизнь свою оставаясь верен своей неугомонной музе, постоянно развивался, постоянно стремился к **Пушкинской простоте стиха** (подчеркнуто мной.— В. З.), постоянно старался совершенствоваться, и, по временам, достигал своих усилий».

Критик Я. Неверов, откликаясь на первую книгу Бенедиктова, увидел в его стихах надежду всей русской поэзии, приветствовал в них «зарю прекрасного солнца» «на светлеющем небосклоне нашей поэзии» и считал, что появились они «в эпоху самую благоприятную, когда внимание публики совершенно свободно, не приковано ни к какой знаменитости, не связано никаким литературным пристрастием» («Журнал Министерства народного просвещения», 1836, № 1, с. 192). Конечно, важна была и литературная ситуация, в которой появились сочинения Бенедиктова, но дело в том, что не такой уж неприметной была она, если вспомнить имена поэтов, которые здравствовали, творили и определяли лицо русской поэзии тех лет.

Поэзия Бенедиктова была нова, неожиданна, талантлива, она завораживала, ее рождение было овеяно атмосферой восторженности, подготовленной всем развитием как русского, так и европейского романтизма. Ведь в то время И. С. Тургенев «целовал имя Марлинского на обертке журнала — плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова — и пришел в ужасное негодование, услышав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку». Об этом Иван Сергеевич вспомнил в конце 1856 года в Париже, когда писал нравоучения Л. Н. Толстому о методах борьбы в литературе: «Коли бить быка, так обухом — а Вы бы хотели ударить его палкой да еще гуляровой водой примочить, чтобы не больно было!» Будущий автор «Отцов и детей» с нигилистической яростью пишет о необходимости «ниспровержения целого направления, ложного и пустого», «разрушения авторитета, мнимой силы и величавости», направления, которое было связано с именами А. А. Бестужева-Марлинского и Бенедиктова. Но в этом еще за 20 лет до письма Тургенева преуспел В. Г. Белинский.

Наш уважаемый критик пронес через всю свою недолгую жизнь раздражительное отношение к Бенедиктову. В пылу полемики с С. П. Шевыревым по поводу значимости стихов Бенедиктова для русской поэзии Белинский был до предела категоричным: «Обращаюсь к мысли. Я **решительно нигде не нахожу** ее у г. Бенедиктова. ...укажите мне **хоть на одно** стихотворение г. Бенедиктова, которое заключало в себе мысль в изложенном значении, в котором бы эта мысль томила душу, теснила грудь; в котором был бы **хотя один** сильный, энергический стих, невольно западающий в память и никогда не оставляющий ее!.. В стихотворениях г. Бенедиктова **все не доказано, все не полно, все поверхностно...**» (подчеркнуто мной.— В. З.) (т. I, с. 365, 367, 368). Тут, конечно, скорее не анализ творчества поэта, а сильный и не терпящий возражения окрик своему оппоненту. Что же касается Бенедиктова, то Белинский был уверен, что «едва ли когда-нибудь будет он поэтом», и предрекал, что с ним произойдет «то же, что стало теперь с стихотворцами, которых так много было в прошлом десятилетии и из которых многие обладали талантом повыше г. Бенедиктова... Увы! Что делать! Река времени все уносит, все истреляет, и немного, очень немного всплывает на ее сокрушительных волнах!» (с. 369, 370).

Упорно не хотел видеть Белинский достоинств и новаторства Бенедиктова, а если и признавал, то с уничижительной оговоркой: «некоторые стихотворения г. Бенедиктова очень милы, как поэтические игрушки» (с. 370). Критик использовал имя Бенедиктова как расхожее сравнение для подчеркивания отрицательных черт творчества других поэтов, противопоставляя его «поэтам пушкинской школы», видел в его поэзии «отсутствие эстетического чувства» и совсем не замечал в ней жизни, ставил его в качестве «примера ложного и фальшивого направления искусства». Такая неприязнь к Бенедиктову была у Белинского до того глубока, что он в раздражении вспоминал его имя даже в дружеской и любовной переписке: в письме к В. П. Боткину от 18—20 февраля 1840 года он замечает, что нелепо «сердиться на поэзию и презирать ее за Сумарокова или Бенедиктова» (т. XI, с. 453); или — с укором своей невесте М. В. Орловой 22—23 октября 1843 года: «Я был бы глуп и пошл, как повесть Марлинского, стихотворение Бенедиктова» (т. XII, с. 239).

Виною несправедливо отрицательного отношения Белинского к Бенедиктову, по-видимому, была горячность природы критика, нежелание отступать в споре перед другим мнением. «Но о Бенедиктове он и слышать

не мог,— вспоминал И. А. Гончаров.— Вычурность некоторых стихотворений, в самом деле поразительная при таланте и уме Бенедиктова, делала его каким-то будто личным врагом Белинского. Зная лично Бенедиктова, как умного, симпатичного и честного человека, я пробовал иногда спорить с Белинским, объяснял обилием фантазии натяжки и преувеличения во многих стихотворениях,— указывал, наконец, на мастерство стиха и проч. Белинский махал рукой и не хотел признать ничего, ничего...» Прав Гончаров, усматривающий причину такого нетерпимого отношения Белинского в том успехе, который выпал на долю первой же книги стихотворений Бенедиктова, а тут еще хвалебная статья С. П. Шевырева, ободряющая молодого поэта... «Развенчивание от театрального, мишурного величия и самомнения разных знаменитостей,— замечает Гончаров,— и сведение их на степень обыкновенных смертных было тоже в числе его задач. Он не только отрезвлял от чрезмерного самолюбия живых, но, как известно, снимал венки и с усопших, возложенные на них слепым и преувеличенным поклонением их современников, заходя иногда при этом далеко, впадая в вышеупомянутые ошибки, резкости, порицания и отрицания, не стесняясь исторической перспективой. Он как будто не замечал (и действительно в то время не замечал), что при этом страдали законы строгого беспристрастия. Вся сила ударов его была направлена не на то, чтобы отстоять прошлое и существующее, а чтобы завоевать новое, не охранить, а разрушить, чтоб добыть какую-нибудь новую или расширить уже существующую свободу» (Собр. соч. в 8-ми т., т. 8. М., 1955, с. 55, 56).

Творчество Бенедиктова явно не входило в эстетические симпатии Белинского, он не принимал его, оно представлялось критику пышной помехой на генеральном пути развития русской литературы. При одержимости, с которой Белинский выстраивал собственное здание истории литературы, ему нужен был материал капитальный, реалистический преимущественно; и в этом неприятии Белинским Бенедиктова была своя логичность и закономерность. На такое отношение критика к поэту нужно смотреть исторически-разумно. Но, к сожалению, даже в серьезной научной литературе оценки Белинским творчества Бенедиктова в основном принимаются на веру. В академической двухтомной «Истории русской поэзии» В. С. Киселев-Сергенин признает: «В контексте поэтической культуры эпохи Пушкина — Лермонтова творчество Бенедиктова выглядело как явление инородное, вульгаризирующее традиции высокой романтической лирики, как пошлое и пустое оригинальничанье. Об этом с резкой откровенностью писал Белинский, и в его приговоре несомненно заключалась большая доля истины» (т. 1, с. 456). Кажется, в резкости приговора наш современник превзошел самого Белинского, хотя и вынужден был признать: «Все же в широкой исторической перспективе роль Бенедиктова в общих процессах развития нашей поэзии представляется несколько иной. Очевидно, что Бенедиктов почувствовал еще неизведанные возможности, заложенные в романтическом методе. Новые средства поэтической экспрессии, разработанные им, связаны с проблемой расширения границ ассоциативного художественного мышления. Эти поиски Бенедиктова не нашли продолжения в поэзии второй половины XIX века, но они кое в чем предсказывали ту реформу русской поэтической речи, которая была осуществлена в начале XX столетия». Вот, оказывается, как Бенедиктов опередил свое время и как перспективны оказались его поиски в области поэтического творчества! А в академической четырехтомной «Истории русской литературы», подготовленной Институтом русской

литературы (Пушкинский дом), опять встречаемся с Бенедиктовым как «самобытным и популярным поэтом» «величавого» романтизма, который «пользуется покровительством властей, становится официозным литературным направлением и завоевывает широкую читательскую аудиторию в обывательской среде» (Е. Н. Купреянова), читаем о нашем поэте как об антагонисте Пушкина, о том, что «значение Бенедиктова в русской поэзии было более негативным, нежели позитивным» (хотя: «самая эклектичность и внутренняя неустойчивость его эстетики были явлением исторически плодотворным») (В. Э. Вацуро), и даже зачислен наш поэт в разряд «ультраромантиков» (Л. М. Лотман) (т. 2, с. 346, 363, 378—379, 586).

И совсем еще недавно Бенедиктова представляли читателям как «неудачника», с сенсационной многозначительностью отводили ему роль «самой скандальной фигуры в русском поэтическом быту XIX столетия» и выносили приговор: «чем запальчивее были старые споры, тем непрерываемее сегодня победившая в свое время — почти безоговорочно отрицательная точка зрения» в оценке творчества поэта (Р а с с а д и н Ст. Неудачник Бенедиктов... — «Вопросы литературы», 1976, № 10).

Удивительным был человеком Владимир Григорьевич Бенедиктов. Он не отвечал критикам, как бы они ни изощрялись в оценках его стихотворений. Наверное, молча воспринял бы он и эти уничижительные строчки о скандальном и неудачливом поэте. Невзирая ни на что, он творил с широко открытыми миру душой и сердцем, при всей возвышенности полета фантазии был очень земным поэтом, простодушно и искренне сказавшим: «Примите всё: мечты мои и слезы!» Бенедиктову была чужда холодная 'изощренность и хитрость «экспериментаторства», он не изобретательствовал. Он был приобщен к тайне творчества, как всякий истинный художник. Его поэтический дар по достоинству ценили близкие друзья, чуткие к художественным красотам его созданий. И. А. Гончаров из своих дальних странствий в известном письме к В. Г. Бенедиктову «Плавание в Атлантических тропиках» писал: «Берите же, любезный друг, свою лиру, свою палитру, свой роскошный, как эти небеса, язык, язык богов, которым только и можно говорить о здешней природе, и спешите сюда, а я винюсь в своем бессилии и боязненно умолкаю!» («Русский вестник», 1857, № 5, с. 72).

Владимир Григорьевич Бенедиктов родился 5 ноября 1807 года в Санкт-Петербурге, но детство провел в Петрозаводске, куда отец его, Григорий Степанович, был переведен в качестве советника губернского правления вскоре после рождения сына. В восемь лет наш поэт научился читать и писать, а с девяти лет стал под руководством домашнего учителя постигать закон божий, грамматику, арифметику, начала истории и географии. А в 1817 году поступил в Олонецкую губернскую гимназию, в которой окончил курс четырех классов. Один из первых биографов В. Г. Бенедиктова М. Д. Хмыров по личным сообщениям поэта воспроизводит впечатления его детства: «В гимназии с особенным вниманием и удовольствием слушал он уроки словесности г. Яконовского, который писал иногда и сам стихи, для произнесения их учениками при публичных ежегодных экзаменах, при домашних праздниках и разных других случаях. Способность писать стихи всегда казалась В. Бенедиктову завидною, с самого раннего его возраста, и сам он неоднократно пробовал детское перо свое, из-под которого не выходило ничего такого, чем бы он мог быть, по тогдашним его понятиям, сколько-нибудь доволен» (с. 263). Как

видим, с детства В. Г. Бенедиктов был строгим судьей собственных сочинений. Поэзия волновала воображение мальчика и до поступления в гимназию, сочинительство стихов было для него магнитной, привлекательной загадкой, овеванной какой-то священной тайной. Не раз он подступал к своему отцу с вопросом: «Как это пишут стихи?» Молодому, пробивающемуся на свет таланту необходима была плодотворная почва, способная подтолкнуть его рост. К сожалению, такой почвы, видимо, не оказалось в Олонецком крае, хотя экзотика северного края, вдохновлявшая не одного русского знаменитого поэта, не могла не оставить свой поэтический след в душе юноши. Сильное впечатление на него произвели тогда стихи Ф. Н. Глинки, которому позже, 12 мая 1854 года, он писал:

Помню: я еще мальчишкой
Рылся в книжках, и меж них
За подкраденною книжкой
Поэтической вспышкой
Зажигал меня твой стих;

Слух и сердце он лелеял,—
И от слова твоего,
От семен тех, что ты сеял,
Аромат библейский веял —
Отзвев неба самого...

В 1821 году В. Г. Бенедиктов едет с отцом в Петербург, успешно выдерживает экзамен и поступает во 2-й кадетский корпус. Но и тут наряду с освоением военной науки он постоянно стремится к раскрытию секретов поэтического творчества. «Во время пребывания своего в корпусе,— по словам самого Бенедиктова,— вместе с некоторыми товарищами своими упражнялся в писании стихов на разные предметы и участвовал в домашних журналах и альманахах, издававшихся рукописными тетрадками и читавшихся только между воспитанниками. Преподаватели словесности в корпусе были в то время так плохи, что служили только предметом насмешек для учеников своих, из которых наиболее способные и умевшие написать что-нибудь не хотели показывать детских своих произведений наставникам, а только сообщали их друг другу и пользовались один от другого взаимно критическими замечаниями». Увлечение поэзией не мешало учебе. Окончив кадетский корпус с отличными успехами, 25 июня 1827 года Бенедиктов становится прапорщиком лейб-гвардейского Измайловского полка. 6 апреля 1830 года — произведен в подпоручики.

Подпоручик Бенедиктов в январе 1831 года был направлен при двух батальонах полка в поход против участников польского восстания, участвовал затем во всех военных действиях и передвижениях измайловцев. Об этом походе Бенедиктов не любил вспоминать, ни с кем не делился рассказами о нем. А ведь он был награжден за эту кампанию орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», получил памятную медаль. Нам теперь, конечно, трудно судить об отношении Бенедиктова к участию в подавлении национального польского восстания. При возвращении полка в Петербург Бенедиктов подал в отставку из военной службы и 23 апреля 1832 года был уже определен к статским делам «по домашним обстоятельствам».

Но Польша глубоко запала в душу нашему поэту. С особой симпатией

относился он к культуре польского народа, восхищался научным подвигом Коперника, что отразил в своих стихотворениях, любимым его поэтом был Адам Мицкевич, а в своей переводческой деятельности Бенедиктов обращался к творчеству Я. Кохановского и Ю. Крашевского, Ю. Немцевича и С. Трембецкого, И. Красицкого и К. Бродзинского, Т. Венгерского и Б. Залеского...

Именно в период польской кампании окреп и собственный поэтический голос Бенедиктова. К этому времени относятся первые стихотворения, которые автор счел достойными представить публике. Его воображение привлекают не картины боевых сражений, а судьба человека, свергнутого в военное сражение.

Усталых ратников рассеянные тучи
На краткий сон легли,
Не ведая, кого с зарей свинец летучий
Сорвет с лица земли.

При мысли о конце душа моя не стонет,
Но рвусь от думы злой,
Что в сумрачных волнах забвения потонет
Туманный жребий мой;

Кипящая душа в немую вечность ляжет
Без отблеска небес;
Лишь дева милая подруге томно скажет:
«Он был, любил, исчез!»

Ночь близ местечка Якац
5 мая 1831

После военной службы Бенедиктов был причислен в собственную канцелярию министра финансов по секретной части, 2 апреля 1833 года произведен уже в титулярные советники, а в мае следующего года определен столоначальником в канцелярию министра финансов по секретной части. Однако столь хлопотная и ответственная служба не могла заглушить в душе Бенедиктова поэтический пыл. Хотя он и не печатал своих стихотворений (пока известно, что только одно стихотворение с подписью «В. Б-в» — «К сослуживцу» — было напечатано до сборника «Стихотворения В. Бенедиктова» (СПб., 1835): в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» (1832, № 5, 16 января), но читал их в кругу друзей и близких знакомых. «Знали, что он писал стихи, — вспоминает жена В. И. Карлгофа, приятеля Бенедиктова по Петрозаводску, Е. А. Карлгоф-Драшусова, — но он никому их не показывал; наконец мы упросили его прочесть и были в восторге. Мой муж, как и я, страстно любил поэзию и был увлечен стихами Бенедиктова; он носился с ними как с неожиданно найденным сокровищем, прочитал их многим литераторам, которым они также чрезвычайно понравились, и все радовались появлению в русской литературе нового поэта с таким выдающимся дарованием. Несмотря на огромный успех, который имели в гостиных стихотворения Бенедиктова, он не решался печатать их, тем более что находился тогда в довольно стесненных обстоятельствах и не имел на это средств. Мой муж взялся напечатать на свой счет...» (Жизнь прожить не поле перейти. Записки неизвестной. — «Русский вестник», 1881, № 9, с. 141—142). Так появился в 1835 году томик стихотворений В. Г. Бенедиктова, наделавший столько шума и скандалов в кругу писателей и критиков, среди читательской публики.

Весть о появлении книги стихов Бенедиктова мгновенно разнеслась по Петербургу и Москве и взбудоражила умы, которые в то время преимущественно были заняты «байроновско-французским романтизмом», «поэтом-мыслителем Шиллером», «поэтом объективной правды Гёте». После лекции И. И. Давыдова, на которой профессор русской словесности Московского университета «с похвалою отозвался о появлении книжки стихов Бенедиктова», А. А. Фет «побежал в лавку за этой книжкой». «— Что стоит Бенедиктов? — спросил я приказчика. — Пять рублей, — да и стоит. Этот почище Пушкина-то будет.

Я заплатил деньги и бросился с книжкою домой, где целый вечер мы с Аполлоном (Григорьевым. — В. З.) с упоением заывали при ее чтении» (Фет А. Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 153).

Поэзия Бенедиктова затмила в сознании тогдашней молодежи светила европейского романтизма: действительно забрезжила заря восходящих надежд русской литературы. И конечно, сугубо рекламного характера реплика приказчика книжной лавки, ставившаяся впоследствии в качестве упрека самому Бенедиктову, что, мол, его поставили даже выше Пушкина, вряд ли выражала само значение появления книги Бенедиктова: его стихи отвечали духовным запросам своего времени как никакие другие. Обворожительна была в них страстность чувств, возвышенных, романтически загадочных и в то же время конкретно земных:

Как могущественна сила
Черных глаз твоих, Адель!
В них бесстрастия могила
И блаженства колыбель.
Очи, очи — обольщенье!
Как чудесно вы могли
Дать небесное значенье
Цвету скорбному земли!

Черные очи
(1835)

Привлекали в стихах искренность, откровенность, демократичность разговора с читателем:

Поэта сердце в дар примите!
Вот вам оно! в нем пышет жар.
Молчите вы — ужель хотите
Отринуть мой священный дар?

Новое признание
(1835)

Широко открытое сердце и душа поэта были понятны самому массовому читателю, в его стихах по-новому оживали звучность и то ритмическое богатство поэзии, которые были присущи пушкинской лирике, в них угадывались черты, знакомые читателю по высшим достижениям русской музыки предшествующих лет. Но все в них дышало новизной и остротой поэтической мысли. И все же Бенедиктов был дитя своего времени. Справедливо заметил академик А. В. Никитенко, что Бенедиктов был «проникнут духом» «эпохи Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Крылова, Пушкина, Грибоедова, Гоголя» (с. 196). Романтическая изысканность образов уживалась в его творчестве с откровенной реалистичностью картин:

Пой, греми, полей глашатай!
 Песню чудной и богатой
 Ты счастливому звучишь
 Так роскошно, бурно, страстно,
 А с печальным так согласно,
 Гармонически грустишь.
 Пой, звучи, дитя свободы!
 Мне понятна песнь твоя;
 Кликам матери-природы
 Грудь откликнулась моя.

Песнь соловья
 (1835)

И не было ничего удивительного в том, что, по словам Я. Полонского, «не один Петербург, вся читающая Россия упивалась стихами Бенедиктова». «Появление стихотворений Бенедиктова,— писал И. И. Панаев в своих «Литературных воспоминаниях»,— произвело страшный гвалт и шум не только в литературном, но и в чиновничьем мире. И литераторы и чиновники петербургские были в экстазе от Бенедиктова. О статье Полевого и Белинского они отзывались с негодованием и были очень довольны статьею профессора Шевырева, провозгласившего Бенедиктова поэтом **мысли**. Жуковский, говорят, до того был поражен и восхищен книжечкою Бенедиктова, что несколько дней сряду не расставался с нею, и, гуляя по Царскосельскому саду, оглашал воздух бенедиктовскими звуками. Один только Пушкин остался хладнокровным, прочитав Бенедиктова, и на вопросы: какого он мнения о новом поэте? — отвечал, **что у него есть превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей**; к этому он ничего не прибавлял более...» (Л., 1928, с. 116). Похвала Пушкина весьма существенна, хотя ее не раз уже подвергали сомнению на искренность: Пушкин отметил необычность, новизну и смелость поэтического взгляда Бенедиктова, но уж ни в коем случае не увидел в нем ни соперника, ни тем более надвигающуюся угрозу, враждебность собственной поэтической системе. Как обычно, Пушкин, заметив незаурядный талант, отнесся к нему с чутким вниманием, а если и «нападал» на Бенедиктова, то не ради компромата молодого поэта, не публично, а в дружеском кругу, в его присутствии, в воспитательных целях. Об этом свидетельствует И. Гагарин в письме к Ф. Тютчеву в марте 1836 года: «Пушкин, который молчит при посторонних, нападает на него (Бенедиктова.— **В. З.**) в маленьком кружке с ожесточением и несправедливостью, которые служат пробным камнем действительной ценности Бенедиктова» («Книжки Недели», 1889, январь, с. 228—229). И уж напрасно Л. Гинзбург обрушивается на поэта: «Бенедиктов — ставленник бюрократических низов — не имел правильного литературного воспитания. Перед Пушкиным он благоговел. Но ему с младенчества не была привита стиховая культура высокой дворянской лирики, культура, отличавшаяся абсолютной нормативностью и мощной инерцией стиховых форм, преодолеть которую было необыкновенно трудно. Дурное литературное воспитание Бенедиктова и мещанское отсутствие традиций развязали ему руки. Бенедиктову удалось произвести стилистический взрыв, поколебавший самые основы стиховой системы Батюшкова—Жуковского—Пушкина, омертвевшей в руках эпигон» (Пушкин и Бенедиктов, с. 165). Однако давно известно, что русские таланты как-то обычно не укладывались в зауженные, в кабинете вымеренные границы «правильности», да и дворянская культура XIX века, прямо ска-

жем, уж никак не отличалась «абсолютной нормативностью». Бенедиктов никогда не выпячивал свою воспитанность или образованность, но именно высшие проявления у поэта этих нравственных и интеллектуальных человеческих качеств внимательный читатель откроет в его стихотворениях. Да и вряд ли можно считать дворянина Бенедиктова «ставленником бюрократических низов», если учесть, что 7 августа 1836 года он был произведен в коллежские асессоры (гражданский чин 8-го класса, дававший потомственное дворянство), а через некоторое время и в статские советники (гражданский чин 5-го класса, соответствующий должности вице-директора департамента или вице-губернатора).

Русский одаренный человек никогда не бывал кичлив, его обычно отличала демократичность, природная, но не искусственно привитая интеллигентность и очень практичная, преимущественно им самим выстроенная и приобретенная образованность. Об этом напомнил, говоря о Бенедиктове, и Никитенко: «Подобно Пушкину, впоследствии он постоянным собственным трудом старался приобрести сведения, каких не могла дать ему школа, и успел возвыситься до степени высокообразованного человека» (с. 198).

На формирование эстетики и развитие художественного вкуса Бенедиктова, приехавшего в Петербург из Олонцкого края, во многом оказало влияние окружение, в котором он оказался. В столице он сближается со студентом университета, начинающим поэтом П. П. Ершовым, «неизвестным свету стихотворцем, остряком и кутилой» К. А. Бахтуриным. Объединенные литературными интересами, они пытаются организовать альманах «Мы Вам» и включить в него свои сочинения. Но издание альманаха оказалось не простым делом, и он так и не появился на свет. Вскоре, благословленный Пушкиным, Ершов опубликовал свою сказку «Конек-Горбунок», которой сопутствовал шумный успех...

Бенедиктов близко сходитесь с театральной средой. Среди его знакомых автор нескольких водевилей и театрал П. А. Коровкин, славившийся чтением трагических ролей А. К. Баумгартен. Бенедиктов общается со знаменитыми актерами Александринского театра Н. О. Дюром, братьями Каратыгиными, А. Е. Мартыновым, И. И. Сосницким... Наш поэт бывал дома у однополчанина Д. С. Муравьева, у которого на домашней сцене разыгрывались спектакли. В конце 1835-го — начале 1836 года Бенедиктов сближается с семьей ушедшего в отставку гусарского офицера, художника Н. А. Майкова, сына бывшего директора императорских театров. В этой поистине «фамилии талантов» были давние артистические традиции. В 1830-е годы Бенедиктов общается в этом доме с И. Гончаровым, П. Ершовым, С. Дудышкиным, П. Свиныным, И. Бороздной.

После выхода первой книги стихотворений у Бенедиктова расширяется круг общения со знаменитыми русскими писателями. П. А. Вяземский писал 29 октября 1837 года С. П. Шевыреву: «Перед вами Бенедиктов, живая грамота и живая рекомендация. Сведите его с Баратынским, Хомяковым, Павловым» («Русский архив», 1885, кн. II, с. 305).

Выход в конце 1837 года «Новых стихотворений В. Бенедиктова» знаменовал как бы новую эпоху в творчестве поэта. С неожиданной определенностью и четкостью проявилась гражданская черта его поэзии. Философско-лирическая, миросозерцательная, чувствительная, живописная, абстрактно-гуманистическая направленность сочинений Бенедиктова вдруг сменилась рассуждениями, публицистически страстными, по поводу конкретных событий, происходящих в родном отечестве и в мире. Его стихи звучали актуально. Близкий знакомый поэта А. П. Сонцов писал Г. П. Данилевскому 12 июня 1837 года о Бенедиктове: «Каждое новое его

стихотворение принимается с горячим сочувствием. Он сделался поэт-Гражданин» (ГПБ, ф. 236, ед. хр. 145).

Бенедиктов активно включается в общественно-литературную жизнь Петербурга, участвует в публичных литературных вечерах в Пассаже в пользу Литературного фонда, учрежденного для пособия нуждающимся литераторам, а затем в пользу воскресных школ. Е. А. Штакеншнейдер записала после одного из таких вечеров в своем дневнике 10 января 1860 года: «После Майкова читал Бенедиктов «Борьбу» и «И ныне». И «Борьба» произвела фурор, публика просто неистовствовала от восторга и заставила ее повторить. Странная эта штука — публика. Когда-то Бенедиктов был ее кумиром. Конечно, она ему руками не аплодировала тогда, потому что он перед ней ведь никогда не появлялся, но она им зачитывалась, и он был ее любимейший поэт. Затем явился Белинский и развенчал любимейшего поэта, и, развенчанного, его забыли. Печатался он после того редко и в каких-то мало распространенных журналах. О нем не упоминали совсем, и оттого-то шесть лет тому назад и могла я предполагать, что его уже нет на свете. Теперь он печатается иногда в «Библиотеке для чтения», но «Современник», например, не только не спрашивает у него стихов, но гонит и преследует его изо всех сил. И что же? Некрасов, заправила «Современника», почувал вкус публики и время, и не успел еще прийти в себя от произведенного им восторга Бенедиктов, еще публика неистовствовала и громко его звала, а Некрасов уже завладел обоими произведениями для своего журнала, для того самого «Современника», который Бенедиктову жить не давал» (с. 246—247).

Наверное, Некрасовым руководило не желание угодить публике, а привлекало содержание этих стихотворений, и они действительно были опубликованы в первом номере «Современника» за 1860 год. Эти стихотворения, в основе своей религиозно-философские, написанные поэтом-христианином, содержали в себе страстный порыв в будущее, призыв к борьбе «с враждебной силой Змия».

К этому времени Бенедиктов находился уже в большой дружбе с идеологом революционного народничества П. Л. Лавровым и, как вспоминает Е. А. Штакеншнейдер, часто после публичных литературных выступлений приезжал вместе с ним и другими участниками вечеров пить чай, «долго говорили... и делились впечатлениями» (с. 248).

Мысль поэтическая Бенедиктова внедрялась во многие явления, придавая им новую жизнь. Но с возрастом творца менялись и его поэтические идеи, оставались в прошлом пристрастия его теперь уже когда-то юной Музы. В зрелые годы Бенедиктов больше обращается к темам общественным, религиозным, философским, откликается на происходящие в мире события. В «Стансах (По случаю мира)», посвященных окончанию Крымской войны и заключению 18 марта 1856 года Парижского мира, он признавал необходимость социальной активности поэта.

Меняется и общественная позиция Бенедиктова. Если раньше он весь был в мире поэтического творчества, не вступал в полемику со своими критиками, то уже в 1850-е годы в нем действительно заговорил поэт-Гражданин. В его стихотворениях все чаще звучит озабоченность наметавшимися в отечественном развитии тенденциями. Он сожалеет о прошедшем «блаженном периоде», когда владычицей умов была «мечта высокопарная». Теперь поэт отмечает, что «наш век есть век утилитарный», и эту мысль с взволнованностью и полемической горячностью проводит во многих стихотворениях. Бенедиктов обрушивается с критикой на появляющихся в русском обществе делячески-демагогствующих и ниги-

листически настроенных молодых людей. Ученая напыщенность таких «малолетних старичков», в крови которых вращаются «лишь журнальные статейки», вызывала у него явное раздражение, он видел всю ложность стремлений и необоснованность выводов, возникающих от их кабинетной умозрительности, от кичливости и прагматичности целей.

Идейное противостояние «отцов и детей» наиболее рельефно показано поэтом в диалоге Молодого и Старика в «Разговоре». Горячности суждений Молодого, упрекающего Старика в том, что он не сумел разглядеть новых «широких замыслов, идей», противопоставлено смиренное спокойствие Старика, который вовсе не жалеет о прошедшем («оно прошло — и слава богу!») и с радостью наблюдает за развитием всего нового, в том числе и молодого поколения, которого ему «отрадны светлые стремленья». Но Старик никак не может согласиться с Молодым в том, что новое поколение уже созрело для решения «намерений прекрасных»: «там и тут идеи крупные идут, да как-то всё мельчают люди». На такое сомнение Молодой возражает:

А между тем — взгляни, исчисли:
Какой прогресс в движенье мысли!
Вопросов сколько решено!
И это все еще — задаток!
Везде — преследованье взяток,
Весь мир проснулся, закричал,
Раскрылось каждое событие,
Явились — гласность и развитие
Экономических начал.
Уму отраднo, сладко чувству!
Начертан воспитанья план,
Везде простор науке дан
И цель указана искусству.
Кого наш век не изумит?
Куда ни оглянись — все ново,
И против зла везде гремит
Изобличительное слово.
Твои сомненья — смертный грех!
Сознаться каждый в том обязан,
Что все продвинулось. Успех
Математически доказан.

На эту страстную, в духе сегодняшних дискуссий, тираду Старик ответил спокойным размышлением о сущности происходящих преобразований, обратив внимание на то, что забыто в этом продвижении и прогрессе самое главное — высокая нравственность, которая должна лежать прежде всего в основе всякого дела:

Не спору: тщетно ум парит
Порою в сферах идеальных,
Но счастья он не водворит
И там, где жаждой он горит
Одних лишь благ материальных,
Где чистой нравственности нет,
Законность где калекой бродит
Иль фразами морочит свет,

А в кровь и плоть не переходит,—
Где вредной роскоши чума
Переедает мир недужный
И где нужна не честь сама,
А только чести знак наружный...

Бенедиктов не терпел лицемерия как в делах общественных, так и в духовных, и в самой поэзии он всегда оставался предельно честным, его Муза поистине никогда «не румянила лица».

В последние годы своей жизни Бенедиктов печатался редко. По-революционному смелый и уверенный в области поэзии, жизнь свою он старался прожить, придерживаясь смиренности христианской морали. В конце он отрекся даже от возможного восторженного счастья, считая его излишним «волнением», «тревогой». Тут сказывалась, конечно, и жизненная усталость:

Устал я, устал. У судьбы под рукой
 Душа моя отдыху рада.
Покоя хочу я, мне нужен покой,
 А счастья мне, право, не надо!

17 апреля 1873 года «Петербургские Ведомости» известили своих читателей о кончине поэта В. Г. Бенедиктова. Умер он на руках сестры, которая вела в последнее время его хозяйство.

Академик А. В. Никитенко назвал Бенедиктова «в числе достойных представителей лучшей эпохи нашей литературы». Достойной читательского внимания была его Муза в то время, когда русская словесность блистала именами, которые теперь составляют нашу национальную гордость. Поэзия Бенедиктова находит живой отклик в сердцах наших современников и будет, несомненно, доставлять истинное художественное наслаждение еще не одному поколению русских читателей. Что же касается презревших Бенедиктова критиков, то рядившихся в одежды педантов от науки, то с нескрываемым пренебрежением к личности поэта и его сочинениям видевших в его творчестве только недостатки, им, думаю, хорошо ответил еще в прошлом столетии А. В. Никитенко: «Известно, что гораздо легче подмечаются безобразия, чем красоты. Долг беспристрастного исследователя показать в художественных произведениях и те и другие. Если же критика захочет останавливаться только на ошибках и недостатках, то она будет похожа на полицейского служителя или шпиона, обязанных исключительно следить за преступлениями» (с. 202). К сожалению, Бенедиктов в критике и в посвященных ему специальных исследованиях преимущественно представлен был преступником поэзии. И хотя за последние годы сделаны существенные шаги в восстановлении справедливости по отношению к славному русскому поэту XIX века, но до сих пор мы так и не располагаем обстоятельным исследованием о жизни и творчестве Владимира Григорьевича Бенедиктова. Такая работа еще ждет своего вдумчивого и серьезного автора, искренне любящего русскую поэзию и способного поистине беспристрастно разобраться в запутанной легендами судьбе самого поэта и его стихотворного наследия, определить их справедливое, почетное место в нашей поэзии.

Библиографическая справка

Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Вступит. статья Ф. Я. Приймы. Составление, подготовка текстов и примечания Б. В. Мельгунова. Л., 1983. (Б-ка поэта. Большая серия).

Стихотворения В. Бенедиктова. Посмертное издание под ред. Я. П. Полонского. В 3-х т. СПб.—М., 1883—1884.

Никитенко А. В. Отчет за 1873 год, составленный ординарным академиком А. В. Никитенко и читанный им в торжественном собрании академии 29 декабря 1873 года.—Отчеты Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности за 1866—1891 годы. СПб., 1903, с. 195—202.

Хмыров М. Д. Бенедиктов.—Портретная галерея русских деятелей. Издание А. Мюнстера. Т. 2. Сто биографий. СПб., 1869, с. 262—267.

Владимир БЕНЕДИКТОВ (1807—1873)

ПРАЗДНИК НА БИВАКЕ

Пируя на полях чужбины,
Вы были веселы, друзья,—
И я бивачного житья
Увидел светлые картины.
Хоть шаткий пиришества шалаш
Столичной залы был теснее,
Зато в нем ход отрадных чаш
Был громозвучней и вольнее;
В нем меры не было речам,
Ни сжатых уст, ни хитрых взглядов,
Что некогда бывало там —
В стране докучливых обрядов.
«Ура» гремело. Каждый гость
Здесь был участником веселья,
И добротой блестела злость,
Укрыв свой яд, хоть до похмелья.
Кипуч был праздник средь полей,
Но, признаюсь, печален сердцем,
На пир ликующих друзей
Смотрел я хладным иноверцем —
И, чужд их кликов и речей,
Ждал втайне праздника мечей.

7 июня 1831

ЖАЛОБА ДНЯ

На востоке засветлело,
Отошла ночная тень,
День взлетел, как ангел белый...
Отчего ж ты грустен, день?

«Оттого порой грущу я,
Что возлюбленная ночь,
Только к милой подхожу я,—
От меня уходит прочь.
Вот и нынче — под востоком
Лишь со мной она сошла,
Ярким пурпурным потоком
Облилась и унеслась.
Вслед за ней туманы плыли,
Облаков катился стан,
Тучки ложем ей служили,
Покрывалом был туман.
Я горел мечтой огнистой:
Так мила и так легка!
Покрывало было чисто,
Не измяты облака.
Без нее — с огнями Феба
Что лазурный мне алтарь?
Я — в роскошном царстве неба
Одинокий, бедный царь —
С той поры ищу царицы,
Как в пучину бытия
Из всемогущая десницы
Вышла юная земля».

Не томись, о день прелестный!
Ты найдешь ее, найдешь;
С тишиной ее чудесной
Блеск свой огненный сольешь,
Как пройдет времен тревога
И, окончив грустный пир,
Отдохнуть на перси бога
Истомленный ляжет мир!

⟨1835⟩

ЧУДНЫЙ КОНЬ

Конь мой, конь мой — удивленье!
Как красив волшебный бег!
Как он в бешеном стремленьи
Мчит поэта — сына нег!
Нет путям его препоны,
Ни железа в пенном рте,
Ни хранительной попоны
На изнеженном хребте.
Мать-природа гладит, холит
Друга, полного огня,
И, беспечен, не неволит
Всадник чудного коня;
И, не чуя острой шпоры,
Конь летает через горы,
Мчится вихрем по степям,
Мчится бурей по морям.
Он свободно, без усилья,
Скачет выше облаков,
Где пернатый сын громов
Утомляет мощны крылья.
Он могучею стрелой
По следам планет летает:
Там из звезд венец золотой
Гордый всадник похищает
С ткани неба голубой.
Конь земной травы не щиплет
И не спит в земной пыли,—

Он все ввысь — и искры сыплет
На холодных чад земли.
Так в туманный час вечерний
Над челом полночных гор,
Радость мудрых, диво черни,—
Мчит яркий метеор.

⟨1835⟩

ПЕРЛ

Что такое счастье наше?
Други милые, оно —
Бытия в железной чаше
Перл, опущенный на дно.
Кто лениво влагу тянет
И боится, что хмельна,
Слабый смертный,— не достанет
Он жемчужного зерна!
Кто ж, согрев в душе отвагу,
Вдруг из чаши дочиста
Гонит жизненную брагу
В распаленные уста —
Вот — счастливец! Дотянулся —
Смело чашу обзель хлоп!
Браво! Браво! Оглянулся,—
А за ним отверстый гроб!

⟨1837⟩

ПОЭТУ

Когда тебе твой путь твоим указан богом —
Упорно шествуй вдаль и неуклонен будь!
Пусть критик твой твердит в суде своем убогом,
Что это — ложный путь!

Пускай враги твои и нагло и упрямо
За то тебя бранят всем скопищем своим,
Что гордый твой талант, в бореньях стоя прямо,
Не кланяется им;

За то, что не подвел ты ни ума, ни чувства
Под мерку их суда и, обойдя судей,
Молился в стороне пред алтарем искусства
Святылищу идей!

Доволен своего сознания правосудьем,
Не трогай, не казни их мелкого греха
И не карай детей бичующим орудьем
Железного стиха!

Твое железо — клад. Храни его спокойно!
Пускай они шумят! Молчи, терпи, люби!
И, мелочь обходя, с приличием, достойно
Свой клад употреби!

Металл свой проведи сквозь вечное горнило:
Сквозь пламень истины, добра и красоты —
И сделай из него в честь господу кадило,
Где б жег свой ладан ты.

И с молотом стиха над наковальной звездной
Не преставай ковать, общественный кузнец,
И суй для доблести венец — хотя железный,
Но всех венцов венец!

Иль пусть то будет — плуг в браздах гражданской нивы,
Иль пусть то будет — ключ, ключ мысли и замок,
Иль пусть то будет — меч, да вздрогнет нечестивый
Ликующий порок!

Дороже золота и всех сокровищ Креза
Суровый сей металл, на дело данный нам.
Не трать же, о поэт, священного железа
На гвозди эпитаграмм!

Есть в жизни крупные обидные явления,—
Противу них восстань,— а детский визг замрет
Под свежей розгою общественного мненья,
Которое растет.

<1857>

ТИШЬ

Из цикла «Сельские отголоски»

Я знаю, там теперь коляски да кареты
Гремят по мостовой, в движенье город весь,
Пируют; слышатся заздравные приветы,
Крик, слитный говор, шум, там музыка,— а здесь
Как тихо! Боже мой! Как тихо! — Дверь открыта,

Слух чуткий напряжен, открыты два окна,—
Но звука нет нигде. Везде вокруг разлита
Такая полная, святая тишина,
Что, если б где-нибудь качнулась паутинка,
Пал с дерева листок иль поднялась пылинка,—
Я, верно, слышал бы; я, верно б, слышать мог,
Когда б под мотыльком погнулся стебелек
Иль на небе звезда с звездой перешепнулась,
Иль если б на земле случайно где-нибудь
Мечтою тайною затрепетала грудь,
Иль сердце чье-нибудь любовью шевельнулось,—
Но нет, безмолвно все... Лишь с звездной вышины
Всевышний говорит глаголом тишины.

(1857)

ОТПЛАТА

Красоте в угожденьях бесплодных
Посвящая мой страстный напев,
Много пел я красавиц холодных,
Много пел я бесчувственных дев.
Для тебя ж не слагал я ни строчки,—
Если ж начал бы славить тебя,
Вместо слов я одни только точки
Все бы ставил, безмолвно любя.
Между тем ты одна из прелестных
На земле, где все горе да труд,
Подарила мне искры небесных,
Золотых, незабвенных минут.
Что ж? Какие мои воздаянья?
Не отраду тебе я принес,
Но, как жрец при святыне страданья,
Посвятил тебя в таинство слез.
Ты мне к счастью путь указала,
Но — увы! — я не мог им идти.
На привет, где ты «здравствуй» сказала,
Я печально ответил «прости».
Перед нами могила разлуки...
Да, прости! — С этим словом должны
Оборваться все стройные звуки,
Все аккорды блаженства и муки
Стоном лопнувшей в сердце струны.

У НАС В ГОСТЯХ



ПОЭТЫ АРМЕНИИ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ НОВОЙ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ

Уже не первый год в армянской критике можно услышать высказывания о кризисе поэзии. И тут самое печальное заключается не столько в откровенно отрицательной позиции иных авторов (это, в конце концов, может быть их субъективное мнение, их точка зрения), сколько в той удивительной легкости, с которой они относятся к проблемам развития современной армянской поэзии.

Естественно, что первая реакция на новое явление почти всегда бывает отрицательной. В сущности, тут срабатывает закон инерции — возникает логическое «почему?». Но вот главное опять-таки не столько в этом «почему?», сколько в интонации, с которой оно задается: «почему пришло это новое явление?» — с явной недоброжелательностью, либо со стремлением выяснить, проанализировать, понять новое явление. По сути, тут проявляется отношение задающего вопрос к новому явлению (или вообще к новому), уровень и тип его мышления.

Такое заострение вопроса правомерно, так как речь идет о перспективах развития многовековой армянской поэзии. А если и нужно отметить факт ее отступления или кризиса, то непременно с попыткой поиска эффективных путей выхода из создавшегося положения. Потому что не может быть такого, чтобы целое поколение поэтов в течение почти двух десятилетий занималось бы только переливанием из пустого в порожнее, и в этом не было бы ни доли нашей вины. Это, в крайнем случае, означало бы, что наступил духовный кризис народа, это свидетельствовало бы о сегодняшнем бессилии его исторически богатой культуры. Некоторые авторы, конечно, пытаются скрыться за широкими плечами писателей старшего поколения — ведь они еще на арене?! Но такое умонастроение в перспективе настолько уязвимо, что против него, без сомнения, выступят даже сами писатели старшего поколения.

Но не будем спешить с выводами, с определением виновных и безвинных. К счастью, культурное и духовное развитие народа выше мнений отдельных людей. Тут более важную роль играют объективные причины. Следовательно, выход из создавшегося положения видится в расширении взгляда на явления культуры и литературы, во взаимосвязанном анализе проблем, в попытке глубже рассмотреть их. Потому что только таким образом можно увидеть те КАЧЕСТВЕННЫЕ сдвиги, которые происходят в материальной и духовной жизни армянского народа и которые отражаются сегодня в биографии даже одного поколения. Легко убедиться в том, что нельзя судить о новой армянской поэзии вне масштабных проблем духовного развития народа.

Может быть, иных авторов приводит в заблуждение слово **НОВОЕ** — применяемое к поэзии молодых (новое — то есть более глубокое, более

высокое). Но это объяснение, если оно и верно, применительно к экономической, научно-технической и прочим отраслям жизни, то совершенно не действует в сфере духовной. Дело в том, что новое тут не всегда означает более высокое, а в первую очередь — ДРУГОЕ, отличающееся от предыдущего, более подходящее конкретному времени. Паруйр Севак, например, в одной из своих статей предлагал следующую формулировку — «свежесть» («с в е ж е с т ь», а не НОВИЗНА), которая (НОВИЗНА) является чисто условным понятием: «Под луною нет ничего нового».

Если это верно, то, следовательно, самым могучим аргументом новой поэзии является ее СОВРЕМЕННОСТЬ: реагирует ли поэзия на духовные потребности своего времени или нет, идет ли в ногу с внутренним развитием жизни народа?

Прежде чем ответить на этот вопрос, думается, было бы правомерным взглянуть не только вокруг себя, но и «вовнутрь» — не видны ли какие-либо изменения в твоих восприятиях, чувствах и взглядах? Думаешь ли сегодня так же, как вчера? И вот выясняется, что изменения, конечно же, есть, что одно и то же явление уже порождает совсем другое отношение к себе, что вчерашнее ясное и понятное сегодня кажется загадкой, потому что ты начал уже привыкать к проникновению вглубь и взгляд твой, ум и все твоё существо не удовлетворяются более познанием только наружного (часто эмоционального) слоя жизненного явления. Незаметно для самого себя ты стал более требовательным, ищущим, тебя страстно волнует стремление достичь полноценности во всем, уже становятся соблазнительными жажда внутреннего совершенства, тяга к духовной мощи...

И все это потому, что сегодня нам дано самое естественное и самое необходимое для человека — Время,— время трудиться, думать, чувствовать, время жить и творить... МИРНОЕ ВРЕМЯ, мечта о котором печально пронизывает сложный и трудный исторический путь армянского народа. После многочисленных трагедий, разрушений и воскресений мы вновь обрели продолжительное мирное время, каждый оазис которого в истории нашего народа обязательно означал новое цветение жизни, новый духовный подъем... Началась новая борьба между старым и новым — в мышлении, в представлениях духовных и нравственных. Новый конфликт «отцов и детей». К национально-общественному пробуждению прибавились новые ритмы двадцатого века. Ведь вторая половина нашего столетия характеризуется огромным расширением познания ядра, генов, человеческого мозга, но также ужасным приближением понятий жизни и разрушения — с небывалым ростом курса нравственных акций.

Таким образом, БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ, МОЩНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАШЕЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАНЫ ПОДГОТОВИЛИ ПОЧВУ И ДЛЯ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ, ДЛЯ БОЛЬШЕГО УГЛУБЛЕНИЯ, БОГАТЩЕНИЯ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА — НАШЕГО СОВРЕМЕННОКА. Человек начал показываться в искусстве в сложном комплексе внутренних взаимоотношений не только с историей, обществом, народом, но и со временем, с космическим существованием. В литературоведении важное место заняла так называемая КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ.

Вот почему произведения прозаиков нового поколения 60-х годов характеризовались необычной внутренней раскованностью молодых героев, бурным стремлением к самопознанию и самоопределению. Вот почему в армянской живописи того периода все увеличивалась СМЫСЛО-

ВАЯ нагрузка цвета, линии, светотеней, внутренняя правда становилась несравненно важнее поверхностно-реальной достоверности. К философско-обобщающему искусству стал приближаться более уверенно и наш кинематограф. От длительного забвения вышел свет имеющий прекрасные средневековые традиции театр пантомимы.

И наконец, в поэзии молодого поколения конца 60-х годов главное место заняла проблема философского осмысления жизни личности. А это значит, что, несмотря на некоторые чрезмерные проявления, новое поколение поэтов — с первых же дней находилось в русле существенных сдвигов национальной и общественной жизни народа, активно реагировало на современные духовно-культурные его требования.

Проблема человека, конечно, не нова: она особенно мощно прозвучала в литературе и искусстве XX века. В этом направлении уже многое сделали непосредственные предшественники поэтов нового поколения — Ованес Шираз (поэма «Библиакан» и стихотворения), Паруйр Севак (сборник «Человек на ладони»), Амо Сагян (циклы «Мои спутники», «Я не могу»), Геворг Эмин (сборник «XX век»), Ваагн Давтян (внутренним мощным акцентированием человековозвышения), Сильва Капутикян, Рачия Ованисян, Маро Маркарян (тонкими лирико-философскими отражениями внутреннего мира человека). Человек крупным планом изображался в лучших образцах всесоюзной и мировой поэзии.

Вот в этой реальной основе поэты нового поколения пытались сделать новые шаги в поэтическом и философском изображении внутренних связей человека с миром, человека со Вселенной. Человек в произведениях молодых рассматривается в сфере своих драматических переживаний, на уровне непреходящего и преходящего, сиюминутного и вечного, земного и бесконечного. Он мучается в поисках самопознания, тайны своей сущности и бытия.

Выйти на поле, обходить
Усталый овраг и холм
невинный,
Отходить навстречу
небесам...—

пишет Артем Арутюнян. Могучий свет «далекого близкого» манит Армена Шекояна. Эдвард Милитонян признается:

...Имею я тайное желание
Бодрого небытия,
Тоску остаться
Вечно слушателем, вечно
ясновидцем.

Самвел Косян пишет:

Странно,
но две тоски,
как два крыла,
разделили меня на два
полета
и два движения
преследуют меня, подобно
судьбам двум:
какая из судеб одолеет,

дух звезд
или глас земли и древняя
улыбка?..

Таким вот образом между вечным и земным колеблется человек, порой наклоняясь к предметно-чувственному существованию, порой взмывая к бесконечным просторам Вселенной. Напрягается душа, сжимается его сущность. Положение рождает глубокую тоску и печаль. Эта «душа имеет печаль — на своих длинных, блестящих крыльях» (Генрих Эдоян). «Вне меня бесконечная тоска, во мне — бездонная тоска» (Размик Давоян). «Море и снова море — имя его бросит тебя в бледные волны тоски, где ты плывешь более умело...» (Оганес Григорян). Кстати, это та самая безграничная тоска, что в критике очень часто путается с неким отходническим кошмаром, в действительности же ее сущность более чем светлая, так как исходит от тоски к безграничному, к совершенству, к цельности. И еще — от стремления к свету, любви, могучему духу. И тут поэты поколения удивительно схожи в своих душевных переживаниях. Есть различия в форме, стиле (что, конечно же, естественно), но сходны мысль, сущность, глубина. Иногда тайна даже со своей парадоксальностью кажется более предпочтительной:

...но я не хочу
умереть
вместе с тайной
в душе,—

как бы протестует А. Шекоян, но в то же время:

Нет, я хочу
умереть
вместе с тайной
в душе.

Но часто выход из положения воплощается в мечте о желанном духовном пристанище — «Причастился бы я на миг с Духом — создавшим меня», или: «Спел бы кто-то что-нибудь из божественного Баха» (Р. Давоян), «Во вдохновении сравнялись тело и дух» (А. Арутюнян), «Земной путь... ты должен довести меня к вечности, к самой последней ступени ее, откуда излучается свет солнца» (Г. Эдоян)..

Подобными душевными состояниями и обусловлено отношение поколения к поэтическому слову. Коротко можно охарактеризовать его как отказ от чисто внешних признаков слова с целью постижения его глубины. Фактически, дилемма преходящего и непреходящего, сиюминутного и вечного продолжается в сфере слова и поэтической речи. Потому что, «где кончается человек, там начинается музыка. Душа покидает глыбы шума и стремится возвратиться к тишине — где начинается музыка» (Г. Эдоян), «Но идите вы, — несчастные рыцари старинного города: только сегодня вы поймете меня без слов» (А. Шекоян). Тоска по красноречивому молчанию существенна также в поэзии Р. Давояна:

Подобно моей матери, сел бы
кто возле меня,
взял бы мои руки руками
своими светлыми,

и обновлял бы разбитую
душу мою
не словами, а пеньем
молчаливым.

Для такого уровня мышления должна была быть естественной и идея слияния человека с природой — так существенная для армянской классической поэзии. Она воплощается в самых разных слоях образного мышления — будь то сравнение, метафора или своеобразное восприятие природы. И неудивительно более, что в стихах Аревшата Авакяна вечер входит в деревню «за крестьянской телегой, загруженной лесной древесиной», утро «утешает подавленных горем, пожимает руки отчаявшихся». У Ов. Григоряна «цветы на цветущем дереве — как маленькие и белые люльки, и в беленьких люльках проснулись детишки». А в одном из образов А. Арутюняна «лето притаилось за миллионами своих открытых окон»...

Все это, повторяем, отнюдь не самоцельно, а рождается от общей системы мышления и носит в себе определенный груз умственного и эмоционального восприятия мира.

Но может возникнуть вопрос: не теряется ли гражданственный облик молодых поэтов во всей этой системе вечных тайн человеческого существования, внутренних связей человека и природы, не отрываются ли они от земли, сегодняшнего дня, от реального человека. Это, пожалуй, и есть та самая болевая точка, в которую направляются самые острые стрелы критики.

В прошедшие почти два десятка лет поэты этого поколения издали уже множество сборников. Многие из них регулярно печатали свои поэтические циклы в литературной периодике. И вот внимательное рассмотрение всей этой продукции приводит к заключению, что повода для такого опасения нет. Достаточно прочитать поэму «Призрак гостиницы «Вавилон» А. Арутюняна, стихотворения «Третья мировая война» и «Армения» Ов. Григоряна, «Перед двадцать первым» Г. Эдоаяна, «Озеро Ван» А. Шекояна, «Когда падают» Эд. Милитоняна, «Гриб», цикл «Тревоги» Д. Ованеса, цикл стихов «Высока ты, Родина» А. Парсамян и много других. Достаточно проследить за интересными поисками более молодых в возвышении народного мышления и духа — своеобразным использованием богатых возможностей, таящихся в недрах древнего и средневекового армянского языков (стихи Гукаса Сируняна, Акопа Мовсеса, Грация Бегларяна и других). И наоборот: более чем заметен тот вред, что наносила атмосфера почти что всеобщего отрицания творчества этого поколения поэтов, которая на протяжении многих лет не позволила подвергнуть серьезному анализу их произведения и, естественно, замедлила его развитие.

Но вернемся к вопросу гражданственности новой армянской поэзии. Уже было сказано, что творческое мышление поэтов поколения устремлено к «примирению» земного и вечного, к слиянию этих противоположностей — с помощью возвышения Духа, Света и Любви. Следовательно, ничто земное и реальное не чуждо им, более того — близко до той степени, что не позволяет сильно оторваться. Эту направленность четко можно видеть в их стихах. Можно проследить даже их биографии — с истинно «золотых» воспоминаний о детстве до серьезных, сложных дум и чувств взрослых лет. Упомянем, к примеру, «Автопортрет» А. Мартиросяна, поэму «Ангелы с небес детства» Ов. Григоряна, «Улицу детства» С. Косяна, поэму «Колетание» А. Шекояна... Конечно же, разные они, эти

поэты,— своими творческими индивидуальностями, стилями, языком, каждый из них интересен по-своему. И ни в коем случае невозможно спутать их друг с другом.

В частности, долгое время художественная критика просто не хотела признать, что творческая личность Ованеса Григоряна — это совершенно новое и самобытное качество в армянской поэзии. Поэтому юмористично-тоскливая сущность, буднично-прозаичная речь, тонкая и острая мысль его лирического героя кажутся неподготовленному читателю неординарными, а то и неприемлемыми. Действительно, открываешь дверь его поэзии и попадаешь в какой-то иной, почти нереальный мир, где птицы говорят «чистым литературным языком», умирает «последний соловей — прижимая к окровавленной груди тетрадь для нот», роза «втайне от родителей покрасила губы» и на трамваях ездят пустые пальто и туфли... Но для понимания поэта многого не нужно. Достаточно прочесть его своеобразные стихи, прочесть с серьезностью, чтобы под юмором и полемическим слоем этих стихов увидеть глубокую грусть и, если хочешь, крик души, что наполняется в ней от каждодневных конфликтов с упорным равнодушием, от отсутствия любви, от холодного чувства одиночества:

А в полночь слышишь
вдруг,
как душа твоя, подобно
кошке, царапает стену...

Но не сдаётся поэт, продолжает бороться, он сам смёл ореол поэта — исключительной, стоящей над обществом личности, добровольно сошел со своей высоты и теперь — одинокий и забытый — на холодном ветру осени мечтает о солнечном детстве, мечтает о душевной теплоте и любви:

Немножко бы любви —
стонет твоя душа,
Немножко бы любви — и
плачешь ты.

Говорить о поэте, отрицать его творчество, не замечая боли его души, его тонкие мечты и грезы — значит, проявлять то самое мещанское равнодушие, против которого и направлена поэзия Ов. Григоряна и его сверстников-поэтов.

В своем творчестве Генрих Эдоян отдает предпочтение поэтической метафоре. Поэтический мир его стихотворений складывается от кажущихся неподвижными, но внутри парадоксальных, напряженных душевных состояний. Вот почему он так страстно озабочен достижением полного общения с другими людьми. Главная сложность в том, что человек отражается только в другом человеке. Но это отражение не всегда является эквивалентным. Следовательно, очень важно «с кем будешь говорить и кто будет слушать твои слова, чтобы вдруг не становиться другим...». Человек в восприятии другого не всегда представляется полным и цельным, часто он подменяется своим воображаемым образом. Вот и возникает вопрос общения не только «С КЕМ?», но и «КАКИМИ СЛОВАМИ?», на первый план выходят поиски подходящего, единственно верного и емкого слова («Какие слова искать будешь!»). (Кстати, поиск точного

слова, обостренное отношение к поэтическому слову свойственны не только Г. Эджюну, но и вообще поэтам нового поколения, что замечательно выразил А. Арутюнян в одном из своих образов — «Ты крутишь слово как фитиль».) В конечном итоге эти поиски приводят к тому, что эмоциональная и умственная энергия, содержащаяся в слове, должна выразиться так, чтобы быть равносильной музыке, внутреннему душевному восприятию. Слово, буква, освобожденные от внешних своих признаков, раскрывали бы свою глубину, свою сущность.

Поэтическое слово Г. Эджюна тоже одним концом своим заострено («слова заостряются с двух сторон») против рождающихся в душах людей пропасти равнодушия, потребительской психологии. Это получило свое поэтическое отображение в цикле стихов «Пропать и свет».

Критики продолжают давать уроки гражданственности Артему Арутюняну, а он уже опубликовал публицистически страстную поэму «Призрак гостиницы «Вавилон». Это не является всего лишь отображением лондонских впечатлений автора, как думают иные критики. Тот, кто следит за развитием творчества поэта, обязательно увидит, что удача этой поэмы была подготовлена всем творческим опытом ее автора. Стремление откликнуться голосам и разнообразным импульсам жизни всегда беспокойло А. Арутюняна.

Писать,
Писать скорей,
Слушать голоса извне,
Что порой притворяются
 жизнью
И реальными — как
 иллюзия.
Некий внутренний голос
 сдерживает себя,
Пытается понять
 целостность мира...

Эти строки взяты из сборника стихов «Кругозор», который вышел в 1979 году. Прошли годы, расширился творческий горизонт поэта, обогатился его жизненный опыт, и вот поездка в Лондон как-то более округлила, обобщила цепь впечатлений поэта о человеке, о жизни и мире. И внутренняя его работа продолжается будто с того места, где осталась незаконченной:

...мой взгляд стремится к
 авторучке,
чтобы признаться о
 странных зигзагах
израненных вестей —
достигающих меня с
 планеты,
где человек унижен уже
 который раз.

Одним из существенных недостатков критики, на наш взгляд, является неумение видеть внутренний творческий рост новой армянской поэзии.

Пишут одними и теми же фразами, поучениями, невзирая, что поэты живут, развиваются и даже «меняются», как, например, Давид Ованес и Армен Шекоян. Последние сборники этих авторов характеризуются автополемической направленностью, что видно уже в их заглавиях — «Потерянное прошлое», «Новая жизнь», «Тревоги» (Д. Ованес), «Колебание», «Судьба» (А. Шекоян). Между прошедшей — «потерянной» — жизнью и новыми надеждами колеблется лирический герой А. Шекояна. Сборник «Колебание» и одноименная поэма являются проявлением искренних самопризнаний, самоанализа и самобичевания этого героя: иногда потерянное кажется непростительным («так как хорошо знаю то, чего не сделал»), иногда непочтеным кажется новый путь («Как мне идти сейчас, в этот раз, чтобы путь оказался правильным»).

Чуждое себе поэтическое кредо многие годы мешало Д. Ованесу жить «правдивой» жизнью — «Любовь прошла возле меня, но я не видел ее, так как в это время стихи писал о любви», признается он. Отсюда и внутренняя драма — «А когда вдруг услышал радушный голос ее,— уже было поздно...», и «в опустошенной душе моей не осталось ни песни, ни любви». И теперь, будто проснувшись от длительного сна, поэт «впервые за многие годы» видит, что вокруг «есть лица, есть люди». И именно к ним обращает свои новые, нехитрые и сердечные стихи:

так как я поэт по сердцу,
последний романтический поэт
в этом сверхрациональном веке...

Несколько слов об этом романтизме. Вокруг него среди поэтов поколения ведется внутренняя полемика. В отличие от «романтиков» (деление, конечно, условное) (Д. Ованес, И. Мамян, А. Парсамян, А. Шекоян, Л. Блбулян и др.), «рационалисты» всячески борются против «классических» выражений чувств и переживаний, более предпочитают внутреннее движение чувства и мысли. Против того, что вместо боли, прожигающей в глубинах вещей и духа, выражается «цветок речи» (то есть — украшательство), выступает Самвел Косян — «Значит снова ты был на небесах, снова заманила тебя невеста романтизма...». Ов. Григорян более остра в своих определениях — «И романтика, эта туфелька дырявая, безвкусная жевательная резинка юных дней, полумокрая растопка, что все дымит, никак не пламеня...».

Надо сказать, что одной из существенных ошибок почти во всех полемиках вокруг новой поэзии, на наш взгляд, является противопоставление разных поэтических мышлений и принципов. Существование одного почему-то представляется возможным только с отрицанием другого. Однако естественнее, правильнее именно СОСУЩЕСТВОВАНИЕ этих разных принципов. Лишившись этого, не обнищает ли наша поэзия?! Литературовед Карлен Даниелян в своей статье «Вечно молодой Паруйр», приводя мысль П. Севака о том, что «сегодня более сложное (не путаное и непознаваемое, а глубокомысленное) привлекательнее примитивного, глубокое — эмоционального, реалистического — романтического», делает одно важное дополнение: «И сразу же сделал оговорку, сказав — «Это никак не означает, что мне не близка эмоциональная, романтическая лирика, мягкость, ясность». Так нужно относиться и к «сложному», неординарному и рациональному, потому что они не отрицают, а только дополняют, обогащают друг друга. И отрадно, что поэты поколения создают это. Ов. Григорян, например, в одной из своих статей пишет:

«...только так — параллельными рельсами свободного и классического стихов может продвинуться вперед эшелон нашей поэзии».

Совершенно правы С. Косян и критик Ал. Топчян, которые в своих статьях неоднократно твердят, что нужно овладеть искусством чтения, но прежде этого мы бы добавили — познать многовековую историю родного народа, историю развития его художественной мысли, чтобы осознать, что еще в V веке, на заре нашей письменности великий Хоренацци стремился к бдительному, рациональному, глубокомысленному и реалистическому мышлению, гений средневековья Григор Нарекаци свое слово, обращенное к богу от глубины души, закалял в огненном пекле разума, в начале нашего века Комитас очищал армянскую музыку от восточных украшательств, возвращая ей исконное звучание, а Ваан Терян — один из классиков армянской поэзии XX века — считал существенным условием развития культуры своего народа ее «европеизацию», таких же воззрений придерживались и западноармянские поэты-классики нашего столетия.

Наконец, прав один из видных поэтов нашего времени Эдуардас Межелайтис, когда с сомнением относится к правдивости поборников только эмоциональной поэзии: «...будто восприятие и понимание поэзии должно иметь лишь непосредственный, простой характер — от сердца к сердцу, а что выше этого, тут вмешана рука дьявола. Даже привлекательная, но глубоко ошибочная точка зрения. Поэзия — феномен культуры, и восприятие ее, если оно претендует на полноценность, должно быть заложено в контексте культуры». Точнее не скажешь.

И здесь уже должен показаться бессмысленным и странным спор вокруг свободного или рифмованного стиха, что, к сожалению, еще занимает большое место во многих критических статьях. Не ясно ли, что главное — творческая личность поэта, которая, если существует, обязательно найдет близкую себе форму. Тем более что новая армянская поэзия дает множество примеров как классических — рифмованных, — так и свободных стихов.

Так что же, все благополучно в нашей новой поэзии? Нет никаких поводов для беспокойства? Конечно же, есть и не могут не быть, потому что новое всегда пробивает себе дорогу в напряженной внутренней и внешней полемике. Беспокоит, например, заметный у так называемых «метафористов» некоторый недостаток внутренней напряженности, то, что у поэтов, переживающих внутреннюю перестройку, слишком долго тянется процесс «колебания». Еще и то, что у разных поэтов наблюдается злоупотребление одними и теми же словами-символами, такими, как, например, город, ветер, день, полдень, движение, цветение (цветут сердце, камень, воздух, чувство, церковь, тело и т. д.)... Наконец, у каждого из поэтов можно найти неудачные, усложненные, а то и просто плохие стихи.

Но эти и еще некоторые, не отмеченные здесь, недостатки понятны и естественны. Об этом можно и нужно говорить всерьез, детально анализировать эти недостатки. Но главной все же остается — ОБЩАЯ ОЦЕНКА НОВЫХ ПОЭТОВ, СОЗДАНИЕ ВОКРУГ НИХ БЛАГОПРИЯТНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ, В КОТОРОЙ ТОЛЬКО И ВОЗМОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ.

Ведь именно нехватка такой атмосферы и не позволила новой армянской поэзии своевременно включиться в общий ритм развития советской многонациональной поэзии. (Кстати, это касается не только поэзии, но также и армянской художественной прозы последних десятилетий.)

Народная мудрость гласит — «Лучше позже, чем никогда». Думается,

сегодня уже есть все необходимые условия для серьезного, объективно-го анализа современной армянской литературы — в целях преодоления ее некоторой замкнутости в себе и обеспечения того места во всесоюзном литературном процессе, которого она по праву заслуживает.

ПЕТРОС ДЕМИРЧЯН,
Ереван

АРЕВШАТ АВАКЯН

Родился в 1940 году в Аштараке. Работал в редакциях газеты «Авангард», журнала «Гарун», на армянской студии телевидения. Автор более десяти поэтических сборников.

ВОЙНА

По венам деревьев листва поднялась
и опала,
на венах деревьев созрели плоды
и опали.

Окрасились кровью траншеи,
бойцы поднялись над холмами
и пали.

На далеких, опустошенных полях
вырыли бомбы воронки,
по телу невесты
зов крови промчался
и замер.

Мир скорбью окрашен,
у скорби в крови
пульсируют нерожденные дети
и затихают...

* * *

Кто черепки по дну морей рассыпал?
Кто прошлое зарыл в пески?
Кто говорит, что в черепках лишь горсти петушиных
звезд?

Наступит день,
когда терпенье наше станет песней,
а песня — жемчугом, хранящимся в раковинах дней.

Наступит день,
и мы друг друга потеряем,
потеря наша станет ожиданием,
и ожидание родит мечту.

Ничто не знает ни скончанья, ни начала,
осадок соли черепки засыплет.
В далеких селах вновь родятся дети,
чтоб дальше ткать историю.
И небо снова нам подскажет
начальные слова стихов о пробуждении.

Наступит день,
и будет добрым он.

ПРОПОВЕДЬ

Будь добр, исполнись доброты рассвета,
который помнит о подвалах полутемных,
минуя дни прошедшие, смотри
на полинялые в дождях дома.

Не допускай, чтоб утопающего смерть брала за горло,
смысл догорающих свечей пойми
и, если воробей запутается в нитях солнца,
дрожь его сердца в грудь свою вмести...

Будь добр, исполнись доброты рассвета...

Переводы Петра ВЕГИНА

КРЕСТЬЯНИН

Прошлась вдоль витрины холодная линия ливня,
и хор водостоков запел во все заржавелые горла.

Небо с городом тесно сплотилось,
небо тесно сплотило людей в подворотнях,
в подъездах,
и там человечьи, озябшие души узнали друг друга —
по мере того, как сплотились дыханья...

Недовольные ливнем пустились ворчать
и брюзжали бы долго и громко,
но увидели — кто-то один улыбается искренне...

Тут заметили все, что лицо у него грубовато
и глаза у него переполнены грустью полей.

Перевод Юнны МОРИЦ

НАТЮРМОРТ

Эта рыба на блюде всегда свежа,
и на дольке лимона не высох сок
и будет блестеть всегда.

Никто ни разу
рыбьих костей
не видал на том полотне,
и зерен в лимоне еще никому
не удалось сосчитать.

Эта рыба на блюде всегда свежа,
и всегда к ней прикован
кошачий глаз.

ИЮНЬ

От жаркого объятия земли
вдруг лопнула на зернышке рубашка,
и тут оно услышало биенье
воды в своих висках
и поднялось.

И ветра непреклонное движенье
оно изобразило на спине,
продрогшей от дыханья грома,
и пота человеческого соль
явило миру.

И солнца острые лучи впились
в бока колосьев,
и белая окаменела кровь
в упругих зернах.

* * *

Лениво движется дорога —
деревня тянется к полям.
В желтеющих кустах гороха
последний иссякает сок,
и марево струится над полями.

И шерстяные новые носки,
еще не знающие ног ее болящих,
мать прячет в шкаф ореховый старинный.

Приходит вечер в выцветшей одежде:
отец, несущий хворост из ущелья,
отец мой...

УТРО

Уже окрашен воздух синевой,
а свет горячей лампы моросит
на заспанное улицы лицо.

И тихо смотрят сонные дома
на дребезжанье первого трамвая...
Восторг пшеницы,
города достигший,
на множество частей делили ночью,
чтоб день открылся теплым этим духом,
струящимся от хлебного ларька.

Переводы Юрия ЛЕВИТАНСКОГО

АРТЕМ АРУТЮНЯН

Родился в 1945 году в городе Степанакерте. Кандидат филологических наук, преподает зарубежную литературу в Ереванском государственном университете.

За книгу «Страна знаков» был удостоен премии Ленинского комсомола Армении «Лучшая книга года» (1977 год). Автор поэтических сборников на родном языке «Страна знаков», «Поле зрения», «Порог», на русском языке опубликован сборник «Поле зрения».

* * *

Прерви свой вымышленный полет:
Твое плечо срослось с городскими домами
Крепко, навек.

Чуток будь: пробуждение в этом,
Не потеря.
И ожидание снова...
Никого не смутит падение темноты —
Лишь изменит чуть-чуть и осторожно высветит лица.
Руки ночи совсем не жестоки...

И послушай теперь —
Вновь с неистойвой силой
Я стремлюсь к этим улицам,
Наполненным прошлым,
Не выпирающим, не обнаженным,
Пережитым подошвами,

Но вновь непорочным, готовым к цветению роз;
Город своими гимнами
Наполняет свой дом в плодородной почве ночей.

Двери подъезда открываются, словно старые раны...
Шаг наружу — и снова во власть судьбы,—
Но ведет меня самый высокий звук,
И всех я вижу в едином...

Перевод Вячеслава КУПРИЯНОВА

ОКТЯБРЬ

Началось...
В обезглавленных двориках разгружается уголь.
Обескровело небо, пролившись на землю дождями.
Дети мягко ступают по мокрому лугу,
по закату, который лежит на лугу.

Вот и корни домов остывают все глубже.
И летучие мыши от стен отделяются тихо.
В них по капле вливается время,
чтобы вспять не вернуться.
И подземка, что вырыта в черном молчании ночи,
к бесконечным окраинам тянется гулко.
Устоявшийся холод сулит неподвижность.
И весь город подобен судьбе,
и паденье звезды одинокой уже ни к чему.

ДЕТСТВО

О улица детства,
дома, поднимающиеся из семейных преданий,
окна, полные ожидания света,
сбор пожертвований среди весен бескрайних
в пользу веток увечных.

Ты,
которое кажешься меньшим, чем было,
и кажешься большим,
покидаешь меня на границе двух разных времен.
И вот уже дверь отворяется настезь.
Он все тот же, что был, этот мир человека и света:
неподвижное небо над самою крышей,
жизнь, запутавшаяся в словах,

словно день угасающий — в кронах
и мешающий к тьме причаститься деревьям.
От медлительности ветвей навсегда отрекаюсь.
Выплывают из детства фигурки глашатаев оловянных.
И чернильная клякса становится сразу судьбою.
И некую тайну хранит в себе эхо в подъезде.
И полночь мешает звезды руками ветра.

Переводы Юрия ЛЕВИТАНСКОГО

* * *

Скажите,
почему полет
скользящей ласточки
как шелк?
Скажите,
почему всегда
природа
девичьи свежа?

Скажите,
ветер почему
как несмышленое дитя,
которое не заманить
из сада, с луга
в душный дом?

Когда перед рассветом ты
раскроешь звонкое окно,
ветра, врываясь сквозь окно,
способны жизнь перевернуть.

Скажите,
почему смогла
от солнца тень произойти?
Скажите,
кто торит пути,
сам оставаясь
чащей скрыт?
Когда лица коснется свет,
рожденный каменной землей,
когда услышишь голос ты,
сзывающий на страшный суд,—
открой скорее дверь свою,

чтоб День вошел,
чтоб День вошел,
покинувший тебя давно.

ПУТЬ

Иди, иди, иди, иди
до мягкого ребра холма,
луга увидишь впереди,
где трав цветущих бахроме,
и ты увидишь среди мглы
деревьев высохших стволы,
дотронься до коры дерев
в нетронутой ночной тиши —
не до коры, до их души
дотронулся ты, осмелев.

Я шел зигзагами змеи
до этих мест и этих гор,
и птицы все пути свои
мне отдали, чтоб шаг был скор.
Ломался воздух, как стекло,
быстрее луча домчался крик,
там, где дерев и неба стык,
вдруг стало ясно и светло,
и мышья летучая, скользя,
шепнула: «Отдыхать нельзя!»
И, словно бы от древних дней,
от тайны, а не от дождя,
простерлась радуга, взойдя,
страданье было скрыто в ней,
но воздух стал еще нежней.

Переводы Олега ШЕСТИНСКОГО

ОВАНЕС ГРИГОРЯН

Родился в 1945 году в Лениакане. Окончил филологический факультет Ереванского государственного университета.

Автор поэтических сборников «Песни без музыки», «Совершенно другая осень», «Твои первые слова», «Дождь по грустному поводу», «Медленные часы».

МАЛЕНЬКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Дом,
где мне хотелось бы жить.
Цветы на подоконнике.
Графин с водой на столе.
Недочитанная книга на диване.
Тяжелые шторы, из-за которых
я часами глядел бы в окно:
во дворе
играет моя маленькая дочь,
с ног до головы в пыли...
И мне хотелось бы жить
вечно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вечером ты возвращаешься той же дорогой.
В густеющей тьме, задумчивый и понурый.
Еще один день миновал, не изменив ничего:
те же беседы и тот же горчащий кофе,
с теми же счастливыми ты веселился,
с теми же неудачниками ты грустил,
те же услышал новости
и прежней хандрил хандрою.
В тот же час загорелись огни,
ты взглянул на часы: листья уже пожелтели,
ты взглянул на окно в доме напротив:
женщина у окна
безучастно смотрела на улицу,
наконец, ты в небо взглянул
и увидел блестящую пуговицу,
потерянную в детстве,
и многое увидел еще,
и после понурился,
и зашагал в темноте,

печально подумав,
что давно ничего не терял,
и если что-нибудь и найдешь,
то это — чужое...

* * *

Когда-нибудь ты припомнишь эту картину,
когда мало уже останется воспоминаний.
Непроглядная сеть стремящихся к небу деревьев,
и птицы,
живущие на лету.
Море.
Это имя бросит тебя
в блеклые волны печали,
где плаваешь лучше всего.
И волна за волной ударяют в песок
минувшие дни, и ты,
бегущий прибрежною кромкой,
не можешь понять,
что случится со всем этим миром,
когда он погрузится во тьму,
в море тьмы.
И ты припомнишь
(ведь именно так ты и живешь),
когда-нибудь ты припомнишь эту картину:
деревья в стремительном росте уже дотянулись
до неба,
и нет ни единой птицы,
хотевшей бы жить.

* * *

Хоть бы кто-нибудь еще оставался —
потолковать о минувших днях.
Потускневшие голубые глаза —
кое-где растрескалась краска,
и стекол в очках давно уже нет,
а дыры заделаны клочьями старых газет.
Несколько старых трамваев,
как побитые псы, поджавши хвосты,
слоняются по задворкам,
очень скоро
их в городе вовсе не станет.
Далекий город,
откуда отец мой давно уже писем не пишет.

Трухлявые, словно крылья бабочек, воспоминанья
сохнут на ниточке мысли моей,
рвущейся не к месту и к месту.
Волглые дни, сигареты
на подоконнике сушат бока.
Таз с водою,
и ты, на постели сидя,
сунул ноги в горячую воду
и внимательно пришиваешь пуговицу к рубашке.

* * *

Вниз по течению
скрипка плыла.

Что за скрипка —
вся увита цветами,
несказанно прекрасна.

А на берегу
стоял скрипач,
что за скрипач! —
весь в слезах.

А издалека
девушка приближалась к нему,
словно музыка, обнажена
и прекрасна, словно цветами увитая скрипка.
А когда взошла луна,
река зазвучала переливами скрипок
и вознеслась мелодия к небу —
весь в слезах.

Переводы Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА

АНАИТ ПАРСАМЯН

Родилась в Ереване в 1947 году. Окончила филологический факультет Ереванского государственного университета. Работала литературным сотрудником в газете «Голос Родины».

Окончила Высшие литературные курсы Московского литературного института имени А. М. Горького.

Автор книг на родном языке — «Феникс», «Принцесса», «Признание», «Сказки дня» и других. На русском языке выпустила книгу в 1983 году. Стихам Анаит

Парсамян свойственны тонкий лиризм, глубина мышления, правдивость и непринужденность.

Стихи Анаит Парсамян переведены на русский, украинский, грузинский, литовский, эстонский, также на английский и французский языки. Занимается также переводами. В ее переводе на армянский язык выходили разные поэты народов мира, в том числе стихи Павло Тычины, Марины Цветаевой.

Пишет и для детей.

РОДИНА

Я полюбила землю, что свята,
И зной твой полюбила, и ветра,
И тополя твои, безумные от страсти,
И эти скалы, нерушимые от счастья.
Земля моя, ты словно рог любви,
Раскину над твоим простором небо,
Хоть долго колыбелью боли ты была,
Соцветье радости твоей все ж расцвело.
Окроплено твое бессмертие любовью,
Как солнцем — виноградная лоза,
Раскину над твоим простором небо,
И поцелует синь твои глаза...

НА БЕРЕГУ СЕВАНА

Ушла вода,
Вода ушла,
Покинув берега, отходит дальше.
 Остались без воды
 И жаждут берега.
 И нет уже ни слов,
 Ни грез, как раньше.
А камни так белы...
Седой подобны скорби
Разбросанные камни без гармонии.
 Лишь камни, словно хлеб,
 Лишь камни, словно плач,
 И как безмолвие.
А камни так белы,
Затихшие мечты,
О камни, грустное успокоение.
 Колени преклоню,
 Колени преклоню
 И поцелую вашу всю в слезах ступню.

* * *

Солнечный день,
Будь моим,
Подобно любви.
Солнечный день,
Покрепче меня обними!
Солнечный день,
На грудь мне ладонь положи,
В волосах мне улыбкой кружи,
Грудь своим светом окинь,
Солнечный день,
Меня не покинь...

* * *

Тот день, что начинался мной,
В тебе уже закончен.
Забывшие легенды — мои руки.
А в наготе моей есть сладость лишь икон.
Ты это узрел.
Ты дверям позволил раскрыться.
Не называй мое имя,
Оно — теплокрылая птица.
Не называй мое имя,
Оно растерзает, как сокол.
Не называй мое имя,
Что былинной змеєю
Красиво до боли.
Женщина — мое имя,
Мой мужчина,
Мой царь,
Не называй мое имя —
Люби...

* * *

Для большой любви на свет пришла я,
Среди мелких изгнанных страстей кружась.
Безвозвратно рухнула большая,
И рассеялось изгнание тотчас.
И осталось мне присутствие любви,
Словно роковой судьбы завет,
И пока бесследно катят дни,
Их никто назад не позовет...

Для большой любви на свет пришла я,
Для большой тоски, большой слезы,
А от маленьких господь меня спаси...

* * *

Нашли друг друга мы, когда устало лето,
Плоды развесило на безразличные деревья,
И наше сердце переполнили раздумья,
И битый сон лежал на наших веках.
Нашли друг друга мы — трава так может отыскать
То колесо, что сбить ее должно.
Так персик смотрит, как должна рука его сорвать
Покорно, гордо и смиренно,
Нашли друг друга мы — тот день, казалось,
Один среди веков был, так безлик!
Но днем судьбы, любви и боли оказался,
Был нашим днем, любимый, был велик...

* * *

Приди ты, отворив мне грусти дверь,
Приди ко мне, чтобы уже не воротиться,
Не прежняя я, нежная теперь,
Под градом заблудившаяся птица.
Не прежняя, уже потухла прежняя,
Вулкан была роскошный, переменчивый,
Теперь во мне молчит под градом птица,
В ладонях твоих ищет лишь пшеницы...

Переводы Нарине КАРАПЕТЯН

ИГНАТ МАМЯН

Родился в 1947 году. Автор поэтических сборников на родном языке «Хлеб пашни», «Метеориты». Стихи переводились на русский и украинский языки.

ДУША

Горящая жажда томила меня.
Я пил... Утоления не было, нет...
Замерзшие руки я грел у огня,
Сто раз обжигался, но не был согрет.

— Чего я ищу? Что потеряно мною? —
Я спрашивал тысячи раз у творца..
И тысячи раз убеждался с тоскою,
Тревогам моим не будет конца.

Пришла ты... Как прежде, я жажду устало,
И холода пути я не развязал..
Но все-таки легче, понятно мне стало,
Чем был я палим, от чего замерзал.

Пришла ты... И стало все просто и ясно,
Тревоги утихли одна за одной.
Уже ничего не ищу понапрасну,
Но понял, что было потеряно мной.

Перевод Марка РЫЖОВА

ПЕСНЯ ПРИМИРЕНИЯ

Ушла,
И без тебя никто не мил.
К чему теперь терзання и мольбы?!
И, как жемчужница, я затворил
В себе любовь и сплю на дне судьбы.

В ее заливе тихо я живу —
Лишь водоросли сонные вокруг,
И в голубых мечтаньях наяву
Любовь преображается в жемчуг.

ПЕСНЯ СПАСЕНИЯ

Надеешься ли ты на силу веры,
Надежде ли вверяешься своей,
Никто тебя от ветра не укроет
И не спасет от проливных дождей.

Мы выстоим под бурей, как деревья;
Ко мне прижмись, мой друг, а я к тебе!
Мы будем жить и ждать, пока ненастье
Не кончится в изменчивой судьбе.

ПЕСНЯ ОЖИДАНИЯ

Скоро снегом сменятся дожди,
Скоро забеснуются метели,

Ждут меня морозы впереди,
А в стенах моих зияют щели.

Приходи хотя б на час-другой,
И починим наш домишко хилый.
Он когда-то полон был тобой,
Ты жила в нем, ты его любила.

Глухо стекла мокрые звенят,
Протекает крыша, жмутся тени.
Без тебя здесь как-то все не в лад,
Наш домишко молит о спасенье.

Хоть на вечер в гости приходи,
Ты увидишь — болен дом серьезно!
Скоро снегом сменятся дожди...
Приходи!
Спаси, пока не поздно!

ПЕСНЯ ПРОЩАНИЯ

Роняют нежный звон колокола,
Ты плачешь — слезы чище серебра.
Сиротскую бездомную любовь
В вечерний час оплакивай, сестра!

Белеют смутно ангелы во тьме;
Продлится шорох крыльев до утра.
Утешь меня и звездный свет их глаз
В вечерний час мне принеси, сестра!

Тоску развеять с голубых морей
Подуют ли весенние ветра?
В вечерний час, когда склоняюсь в сон,
Как в сказке, убаюкивай, сестра!

Воспоминаний пальцы не согреть
Ни у какого жаркого костра!
Чтобы любовь хоть в памяти жила,
В вечерний час молись в тиши, сестра!

Вся жизнь, как песня дальняя, звучит;
Хмельного счастья кончилась пора!
Никто не знает в прошлое путей...
В вечерний час забудь меня, сестра!

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

Согретая огнем воспоминаний,
Тоска моя сиротски голодна.
Как долго вторит голосам далеким
Глухое дребезжание окна!
Стремясь взмахнуть своим крылом стеклянным,
Испуганное, мечется оно,
Чтоб полететь по свету за любовью,
Исчезнувшей в безвестности давно.

Переводы Юрия ДЕНИСОВА

АРМЕН ШЕКОЯН

Родился в 1953 году в Ереване. Окончил Ереванский педагогический институт имени Х. Абовяна и Высшие литературные курсы в Москве.

Автор поэтических сборников на родном языке «С вами вместе», «Дождик, перестань», «Качели», «Солнце-путешественник», «Судьба», на русском языке вышла книга «Вместе с птицей».

Член Союза писателей СССР.

ВОСПОМИНАНИЕ О СТАРОМ ЕРЕВАНЕ

И когда устремляю я в прошлое взгляд,
Пробуждается память — и в ней, в глубине,
Раскрывается, словно созревший гранат,
Город детства в полуденном ярком огне.

И все краски кричат мне оттуда: «Приди!»
И зовет меня мать возвратиться домой.
У порога стоит, прижимая к груди
Только что испеченный лаваш золотой.

И к порогу бегу я... Но нет никого.
И закрыта тяжелая дверь на запор.
И зову, и стучу в двери дома того —
Достучаться никак не могу до сих пор.

Слезы детства текут по лицу у меня,
И глаза закрываю, чтоб видеть ясней
Город детства в полуденных бликах огня,
Расцветающий в памяти жадной моей.

Город детства, куда возвращения нет,
Город детства, в котором я чист и любим...
Закрываю глаза — и полуденный свет,
Свет безгрешный плывет перед взором моим.

ДОЖДЬ

И не кончался дождь, и запускал
Под сердце когти мокрые и злые.
Средь слов пустых и мертвых я искал
И отыскать не мог слова живые.

Кому долги вернуть забыли мы?
Кому свой день мы уступили сами?
Дождь моросит... И среди мокрой тьмы
Растут тревоги черными грибами.

Он умер, тот, кто нас прощал всегда,
Он умер, он уже не отзовется.
Кто пробудится завтра? Льет вода...
Кто завтра вообще из нас проснется?

Дождь моросит, и город весь продрог:
Продрогли ветки, стены, души, крыши...
Он умер, тот, кто свет вернуть бы мог,
Он нас уже не видит и не слышит.

Переводы Нины ГАБРИЕЛЯН

НАШ ОКОЛОТОК

Наш околоток —
Шилачи —
ниже железной дороги,
у старого рынка.
В этом углу
я впервые глаза распахнул,
здесь я впервые увидел
корицу и хну,
а также иглу
от старой швейной машинки,
сито, гроб и волюнку.
Здесь я впервые глаза распахнул,
здесь я впервые увидел
поезд, свадьбу, поминки...
Если б вы знали,
как грустно было в тот день,
когда провожали
соседа по улице в небо!
Здесь я впервые глаза распахнул,
и заметил мой взгляд
воскресного утра пестрый наряд,

сотканый из зазываний и криков
торгового люда —
яркое, шумное чудо!
Если б вы знали,
как славно было в тот день,
когда сотрясался порог
от звонкого крика зурны!
Век бы тут жить!
Такого же мнения быть должны
сапожник Гуго и Геве-музыкант,
которые вот уже тысячу лет
живут здесь,
то возрождаясь, то умирая, —
под боком у рая.

МОЙ ДЕД

Дед мой был человеком
спокойным.
Он работал за всех,
но редко случалось видеть его
за столом...
А ходил он в лаптях и в шинели
притом.

Когда он выражался особенно
метко,
то добавлял, ни на кого не глядя:
«Это Шекспир сказал!»
И мы проникались почтеньем
к Шекспиру,
видя, какой это мудрый дядя.
Дед мой не терпел брани,
не любил и особенно громкий
смех;
за общим столом не пил ничего,
но пьянел за всех.
Иногда на него находила большая
печаль,
он становился хмур,
но даже в такие минуты
не забывал накормить наших кур.

Дед в памяти нес свой разоренный
край.
Он рисовал его всюду,
он видел его воочью...
Он всегда одной фразой начинал
свой рассказ:
«Турки напали ночью».
И такой же ночью умер мой дед.
На него натянули новые башмаки,
а меня увели из дому насильно,
и того, что было потом,
не пришлось мне увидеть, нет.
Поселилось сомнение в сердце
моем,
потому что не знаю я:
то ли в землю был опущен мой
дед,
то ли он улетел
в родные края.

УДИВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Я вздыхаю теперь осторожно,
Потому что проплыл я вперед,
Весь доверяясь течению вод...
Оглядеться мне с нежностью можно.
Задаю удивленный вопрос:
Кто сложил берега так красиво?
Где начало движенья, порыва?
Кто рассыпал вокруг столько грез?
Кто хранит этот трепетный свет?
Проплываю вперед удивленно.
Смех и слезы текут полусонно
Под большими глазами планет.
Может час так пройти, может — год...
Не наступит усталость от чуда.
Столько жемчуга и изумруда
Кто извлек из глубин этих вод?
Кто злой вестью меня потрясет?
Кто своей беспощадною силой
От поверхности берега милой
Так внезапно меня оторвет?

ФОКУС-ПОКУС

Мы учились в школе.
Его рука
превращала легко
ворону в голубка.
Потом мы выросли,
и в ресторанах снова
появился фокусник Сероб.
Дрожало его «алле-гоп!» —
дыханья ему уже не хватало,
и ворона в голубя
превращаться перестала.
Все убедились, что дело нечисто.
— Халтурщик! — кричали туристы.
— Разве это искусство? —
возмущались мещане и снобы.
Сходство с голубем
появилось у самого Сероба,
поседевшего, как подснежник.
Он краснел, озираясь на каждую скамью:
что поделаешь, надо кормить семью..
Жди, пока откроется волшебная дверца..
И одной рукой
он жонглировал огнем,
а другой —
держался за сердце.

Переводы Елены ПЕЧЕРСКОЙ

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ



ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Каждый вторник в небольшой парижской квартире на Римской улице, 89, собирались гости. Какие только знаменитости не побывали здесь за несколько лет: писатели Верлен, Верхарн, Эредиа, Валери, О. Уайльд, Клодель, Метерлинк; художники Ренуар, Мане, Дега, Гоген; композитор Дебюсси. Перечисляем только самых известных — на всех не хватило бы и страницы. В уютной, скромно обставленной гостиной почти не разговаривали: сюда приходили слушать, слушать долгий, завораживающий монолог хозяина дома — поэта, «учителя» Стефана Малларме.

В частной жизни он и вправду был самым обыкновенным (или самым необыкновенным?) учителем английского языка, «мучеником от педагогики», как назовут его позднее биографы. Ученикам своим он давал совершенно немислимые задания, скажем, разобрать и перевести неперевожимые фразеологические обороты, и они платили ему тем же. Рассказывают, что в 1866 году, когда номер «Современного Парнаса» со стихами Малларме прибыл в глухой, мещанский Турнон, лицеисты встретили своего молодого наставника дружным смехом: на классной доске красовалась столь знаменитая впоследствии строка

«Я обречен: Лазурь! Лазурь! Лазурь! Лазурь!»

Только в кругу единомышленников поэт забывал о скучной рутине. «Как далеки были от этой маленькой комнаты, — вспоминает современник, — бесплодная суматоха поглощенного делами города, политическая возня, козни, интриги. Вместе с Малларме мы погружались в сверхчувственный мир, где деньги, почести, аплодисменты не имели никакого значения... Из его уроков я сохранил отвращение к поверхностности, к самодовольству, ко всему, что обольщает и соблазняет как в литературе, так и в жизни»^{*}.

В 1896 году, в пятидесятичетырехлетнем возрасте, Малларме провозглашается собратями «королем поэтов», наследуя этот титул от ушедшего из жизни Верлена. За плечами внешне ничем не примечательная, с виду вполне заурядная судьба. Раннее сиротство, лицей, недолгое пребывание в Лондоне, как бы сейчас сказали, на стажировке, учительство в провинциальных городках, а с 1871 года — в Париже. Безденежье, обветшалые дома, «насквозь пропитанные запахом кухни», и ночи, бесконечные ночи изнурительного труда, настойчивые, мучительные поиски совершенно нового поэтического языка, когда на переработку одного сонета уходят не то что годы — десятилетия, а написание драматической поэмы — «Иродиады» — не хватает целой жизни. Среди образцов для

^{*} Цит. по кн.: Я р о ц и н ь с к и й С т е ф а н. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., «Прогресс», 1978. Пер. С. Попковой.

подражания — книги В. Гюго, Ш. Бодлера, Т. Готье, Э. По. Насыщенная, невидимая для посторонних духовная работа.

Слава? Да, разумеется, слава, но среди очень узкого круга ценителей, а за пределами этого круга чаще всего непонимание.

Зарождающийся символизм был в лице Малларме преобразователем формы. Разрушенный, искаженный синтаксис, заключенный в негибкие рамки канонического александрийского стиха, при полном отсутствии неологизмов, вызывал у обывателя ощущение кривого зеркала, или скорее зазеркальности — всё в этом чуждом, непривычном мире отражалось наоборот. Это была не меньшая «пощечина общественному вкусу», чем прекрасно-уродливые творения семнадцатилетнего Артюра Рембо или, скажем, первые выставки импрессионистов.

«Наоборот», именно так назывался нашумевший в свое время роман французского писателя Жориса-Карла Гюисменса, вложившего в уста главного героя, утонченного эстета Дез Эссента, поразительную по точности характеристику творчества Малларме:

«Дез Эссент любил эти стихи, как любил произведения этого поэта, который в век всеобщей подачи голосов и наживы жил в сфере литературы (...), усвершенствуя уже признанные мысли, прививая им византийские тонкости, увековечивая их в свободно набросанных дедукциях, едва связанных незаметной нитью... Это создало сжатую литературу, густой процеженный отвар искусства» *.

Малларме откликается на похвалу писателя одним из самых блистательных своих стихотворений, озаглавленным более чем скромно «Прозой для Дез Эссента»:

...Так знай же, племя казуистов,
Теснящихся по берегам:
Рост этих стеблей был неистов,
Не то, что монотонный гам

И сетованья (не твои ли,
Надменно-лживая толпа?):
«Вы щедрый остров утаили,
Или не пройдена тропа,

Где море, отступая, зыбит
За валом вал, гранит изъев?» —
На всех небесных картах выбит
Незабываемый рельеф!..

(Перевод мой.—Р. Д.)

Стефан Малларме умер в 1898 году, так и не дописав своей (с большой буквы) Книги, о которой мечтал всю жизнь. Он оставил после себя тоненькую книжку в 65 стихотворений, каждое из которых стóит многих громоздких томов. Недаром объем критической литературы о писателе в сотни раз превышает написанное самим автором, бесконечно варьируя темы «Малларме и философия», «Малларме и музыка», «Малларме и психология творчества». Сейчас, спустя почти столетие после смерти поэ-

* Г ю и с м а н с Ж.-К. Наоборот. М., 1906. Пер. М. А. Головкиной.

та, едва ли будет преувеличением утверждать, что дерзкое его новаторство было той почвой, на которой многое выросло в поэзии собственно XX века. Малларме можно не принимать, но невозможно игнорировать. От стилистики его неотделим ни «Петербург» Андрея Белого, ни самые смелые эксперименты русской прозы 20-х годов.

Проникновение Малларме в Россию, восходящее к концу прошлого столетия, было медленным и трудным. «Как и большинство символистов,— писал Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона,— Малларме совершенно непереводим; немногочисленные русские переводы (напр., стихотворение в прозе «Трубка» в сборнике «Русских символистов») не дают о нем никакого представления». С этим трудно не согласиться, хотя бы отчасти, и тем не менее попытки перевести непереводимое продолжают по сей день, чему свидетельница и настоящая публикация.

На заре века к стихам Малларме прикоснулись и совершенно забытые ныне Пл. Краснов, М. Эйзлер, Вл. Маккавейский, и знаменитые В. Брюсов, М. Волошин, И. Эренбург, и, конечно же, Иннокентий Анненский, чье творчество, по его собственному признанию, глубоко пронизано реминисценциями из французского поэта.

Переводы старых мастеров соседствуют в издаваемых у нас антологиях с переложениями последних лет. Большие подборки стихов Стефана Малларме читатель найдет в томе БВЛ «Европейская поэзия XIX века» (1978), в журнале «Иностранная литература» (1984, № 9), в книге «Поэзия Франции, век XIX» (1985). В настоящее время в издательстве «Наука», в серии «Литературные памятники», готовится к печати первая на русском языке книга его произведений — стихов и прозы.

Ближайший ученик и последователь поэта, не менее знаменитый Поль Валери заметил однажды, что Малларме «мыслил алгебраически там, где все остальные умели думать лишь частностями арифметики». Несколькo образцов этой «высшей математики» стихотворчества мы и хотим сегодня предложить любителям поэзии.

Роман ДУБРОВКИН

СТЕФАН МАЛЛАРМЕ

ОКНА

От запахов лекарств и жесткого матраца,
От неизбежного распятыя на стене
Осатанел больной,— ах, только бы добраться
До безучастных штор на розовом окне!
Встает, но не затем, чтоб старческие мощи
Согреть,— он жаждет свет увидеть на камнях,
Небритою щекой прижаться, грудью тощей
Приклеиться к стеклу в рыжеющих огнях.
Упитья синевою, дразнящей плоть гнилую,—
Так страсти аромат вдыхал он молодым,—
Теперь слюнявому подставлен поцелую
Взамен девичьих плеч закатный теплый дым.

Он жив! он поглощен не запахом елея,
Не кашлем — к дьяволу лекарственный настой
И мерный маятник! — там, вдалеке, алея
Над кровью черепиц, в лазури золотой,
Как стая лебедей, но тоньше и безмолвней,
Галеры стройные зарей озарены,
Плывут, баюкая изломы рыжих молний,—
Воспоминаньями навеянные сны!
Вот так и я бежал от грубых и бездушных
Калек, что в сытости успели закоснеть,
От жадных псов, чья страсть — копить в каморках
душных

Для оценившихся подруг гнилую снедь.
К рассветным окнам я взываю о защите,
От жизни оградясь прозрачной полосой,—
Благословения иного не ищите! —
В стекло, омытое безгрешною росой,
Войду я и умру, но ангелом Эдема
Воскресну — таинством, искусством станешь ты,
Окно! — мечты мои горят, как диадема
На дряхлой синеве бессмертной Красоты!
Увы, подлунный мир как прежде мой хозяин!
В прибежище былом нашел я западню:
Надменной тупости блевотиной измаян,
От светлой вышины лицо я заслону.
Всю горечь испытав, осмелюсь ли теперь я
Разбить облитую помоями слюду?
Надломлено крыло, бегу, роняя перья,
И страшно, что в провал звенящий упаду.

ЛЕТНЯЯ ПЕЧАЛЬ

Рыданья подмешав к любовному питью,
Отвесный луч скользнул по зыбкому приборю
Рассыпанных волос и сжег печаль твою,
Шуршит песок, ты спишь, измучена борьбою.

О робкий поцелуй! нагую горечь пью
И слышу: «Никогда под пальмой голубую
В счастливой древности, в полуденном краю
Единой мумией мы не уснем с тобою».

Но в теплой глубине волос твоих навек
Я душу утоплю и с молчаливых век,
В провал Небытия заглядывая, смою

Полуразмытую сурьму, мечтая в ней
Для сердца, что висит над бездною немой,
Найти бесчувственность лазури и камней.

В АЛЬБОМ

Хозяйке юной отказать
Не мог я в просьбе пустяковой:
С улыбкой начал я срезать
Стволы для флейты тростниковой.

Я пробежал десяток гамм
И верил, мой дебют удачен.
Играл я лесу и лугам,
Но был, признаться, озадачен,

Подняв глаза от тростника:
Не слишком ли я был отважен? —
Неловким пальцам старика
Нельзя касаться звонких скважин.

Заставил этих неумех
Подделывать девичий смех!

ПЕСНИ УЛИЦЫ

САПОЖНИК

Верность ваксе или вару! —
Говоря начистоту,
Я сапожному товару
Запах лилий предпочту.

Против страннической жажды
Мастер трудится в поту,
На башмак набьет он каждый
По свиному лоскуту.

Гвозди громкие в подошвы
Он вгоняет молотком, —
Пятки вольные, так что ж вы
Не уйдете босиком!

Он за цену дорогую
Пару вам сошьет другую.

РОМАНС

(полковой)

Тихо сяду у камина,
Из казарм придя домой:
Славно полосы кармина
На мундир ложатся мой.

Не безусым новобранцем
Встречу давнего врага:
Отливает шомпол гляncем,
Снежно-белы обшлага.

Не грозит теперь никто нам, —
Так чего же я боюсь?
Не с воинственным тевтоном,
С почитателями бьюсь!

Вновь они полезли рьяно,
Надоедливей бурьяна.

* * *

Героем рыцарской главы
Я в повести твоей не стану:
Подкравшись к вражескому стану,
Босой ногой коснусь травы

Твоих владений, но, увы,
Бороться с ледником устану,
Провидя гневную сутану:
«В своем грехе наивны вы!»

И все же нет меня счастливей,
Когда в рубиновом отливке
По-царски блещут небеса,

И в дерзком гуле тонут спицы
Пылающего колеса
Моей закатной колесницы.

Переводы с французского
Романа ДУБРОВКИНА

**ХУЛИО КОРТАСАР: «...ВО ИМЯ ПОЭЗИИ,
ЗВУЧАЩЕЙ НА УЛИЦАХ И В МИРОЗДАНИИ»**

Когда — 20 лет назад — был опубликован роман колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», почти тотчас возник настоящий «бум» латиноамериканской прозы. Читатели всего мира не просто узнали о том, что в Латинской Америке существует самобытная литература, они с изумлением узнали о том, что там существует литература, которая открывает новые горизонты в развитии прозы нашей планеты. Для объяснения этого феномена появился даже специальный литературоведческий термин — «новый латиноамериканский роман». Поначалу казалось: «новый латиноамериканский роман» возник, словно Афина Паллада из головы Зевса, — не было ничего, и вдруг: совершенное творение! Но прошло время — и стали вспоминать о «корнях и истоках» (сами латиноамериканские писатели признавались, например, в том, что многому научились они у великих русских романистов прошлого века). Одним из «истоков» современной латиноамериканской прозы является... поэзия континента. В начале нашего столетия в Латинской Америке уже была блестящая плеяда поэтов, получивших всемирную известность: Рубен Дарио, Габриэла Мистраль (Нобелевская премия 1945 г.), Сесар Вальехо, Николас Гильен, Пабло Неруда (Нобелевская премия 1971 г.). И даже оказалось: почти все прославленные романисты современной Латинской Америки начинали свой творческий путь как поэты. Поэтами были, например, гватемалец Мигель Анхель Астуриас (Нобелевская премия 1967 г.), парагваец Аугусто Роа Бастос, аргентинец Хорхе Луис Борхес.

Писал стихи и соотечественник Борхеса — один из крупнейших прозаиков современности — Хулио Кортасар (1914—1984).

Первой книгой Кортасара был сборник сонетов «Присутствие», вышедший в 1938 году. Тогда эта книга Хулио Кортасара не имела успеха, и молодой литератор решает: его призвание — проза. Он пишет короткие рассказы и повести. Но и в прозе он остается поэтом: рассказы Кортасара поражают необычайной свежестью языка, образностью, метафоричностью. Чрезвычайно важно и то, что в годы своей литературной учебы Кортасар (о чем он сам говорил) читает «больше поэтов, чем прозаиков».

Сильнейшее впечатление произвели на него стихи Федерико Гарсиа Лорки. Великий испанский поэт дважды приезжал в Латинскую Америку. В октябре 1933-го — марте 1934 года он жил в аргентинской столице, выступал с лекциями и чтением своих произведений. Гибель Гарсиа Лорки в 1936 году от рук испанских фашистов Кортасар воспринял как личную трагедию. Есть у Кортасара стихотворение в прозе — «Жесткая надежда» — на смерть испанского поэта. «...Газетное сообщение, догадка, бесчисленное количество догадок, и все они говорили об одном — о подлости его убийства. Поэтому многие из нас перестали верить славословиям, которые служат только для того, чтобы жить без угрызений совести, и решили, что только сама жизнь может и должна интересоваться нас: жизнь — упорная в борьбе против чувства рабства, против несправедливости, против травли со стороны мещанских свор. Во многих из нас смерть Федерико пробудила ту надежду, которую другой поэт — Аполлинер — назвал жестокой. Не будем утверждать задним числом, что мы открыли дверь в будущее; для того чтобы другие поэты не были убиты,



Хулио Кортасар

для того чтобы человек отыскал наконец свое подлинное лицо,— только для этого стоит сражаться во имя света, во имя поэзии, звучащей на улицах и в мироздании, во имя любви. Федерико сказал об этом лучше, чем кто-либо другой...»

В эти же — 30-е — годы Кортасар открывает для себя двух гениев латиноамериканской поэзии — перуанца Сесара Вальехо и чилийца Пабло Неруду. «С помощью Пабло Неруды и Вальехо я внезапно ощутил себя тем суверенным южноамериканцем, который перестал испытывать нужду в чужой опеке, чтобы исполнить свой долг... Сама революция была заключена в семенах неслыханного вызова, и сотворение нашего собственного слова было знамением тех великих дел, которые укрепили его во имя латиноамериканской целостности», — признавался позднее аргентинский писатель.

Знаменательное признание.

Это ощущение — ощущение себя человеком Латинской Америки —

красной нитью проходит через все творчество Хулио Кортасара (как, впрочем, и через произведения всех современных латиноамериканских прозаиков).

С середины 50-х годов Кортасар, долго писавший «в стол», начинает выпускать один за другим сборники рассказов («Конец игры», «Секретное оружие», «Истории о хронопах и фамах», «Все огни — огонь»), романы («Выигрыш», «Игра в классики», «62. Модель для сборки», «Книга Мауэля»), эссе.

И все эти годы продолжает писать стихи.

В 1983 году, в одном из интервью, Кортасар сказал: «Параллельно с работой над прозой я всегда писал и пишу стихи — в стол, для себя. Нет, я не стыжусь, что пишу их, просто считаю, что поэзия — это нечто сокровенное...» А размышляя о своей работе над стихами, писал в поэтическом дневнике: «Приходило и отчаянье и желание выбросить все в корзину, где уже скопилось великое множество невоплощенных замыслов, но иногда вдруг врывалась и радость — это когда, перечитав стихотворение, хотелось погладить его, словно кошку, чья шерсть — наэлектризована... Я не терплю бабочек, приколотых к картону; мне нужна поэтическая экология, нужно наблюдать за собой, а подчас, вернувшись из мира прозы, признаваться себе, что только стихи не предаются забвению, что они хранят меня и верны мне, словно старые фотографии».

Кортасар всегда был сам себе строгим критиком, и, по-видимому, считая поэтический дебют в 1938 году неудачей, он чрезвычайно редко отдавал в печать свои стихи и поэмы.

Хулио Кортасар умер накануне своего 70-летия — в феврале 1984 года. А в мае того же года была издана книга «Только сумерки» (названием сборника стала строка из хокку Мацуо Басё: «На дороге / нет уже никого — / только сумерки»; это трехстишие Кортасар перевел на испанский язык). В книгу «Только сумерки» вошли стихи, созданные писателем более чем за 30 лет — от начала 50-х годов до 1983 года. Таким образом, ей суждено было стать итоговой.

Невозможно разделить Кортасара-поэта и Кортасара-прозаика. Главнейшие темы его прозаических книг: культура и жизнь, культура и современный человек, духовное освобождение человека — это главные темы и его стихов. Заставить поверить читателя в реальность того, что создано воображением писателя, — это один из краеугольных камней эстетической программы творцов «нового латиноамериканского романа», в том числе и Хулио Кортасара. Аргентинский писатель высоко ценил причудливую игру воображения, игру слов и словами. Его мир — это мир, в котором царит вымысел. Но основа его — реальность. Игра Кортасара — это (по меткому слову И. А. Тертерян) «игра взаправду». Парадоксалист и новатор, Хулио Кортасар умел писать так, что читатель истово верит в реальность самых «нереальных» сцен и ситуаций. Стихи зачастую еще больше, чем проза, зависят от игры воображения автора. Кортасар и здесь, как всегда, верен себе — он ведет с читателем подчас хотя и жестокую, но честную «игру взаправду».

Невозможно разделить также Кортасара-писателя и Кортасара — общественного деятеля. Во всех книгах Хулио Кортасара звучит протест «против чувства рабства, против несправедливости». Он всегда знал, против чего он борется. Но долгие годы не знал, за что надо бороться, чтобы улучшить мир. Кубинская революция 1959 года помогла ему выбрать верный путь. Об этом он сам сказал с полной определенностью: «Победа кубинской революции, борьба кубинского народа с трудностями, против империалистической блокады изменили мою жизнь... Я понял, что социа-

листическое движение является единственным движением современности, исходящим из интересов, человеческих по самой своей сути...» Социалистической революции на Кубе и народной революции в Никарагуа Кортасар посвятил и стихи, и рассказы, и публицистические статьи. И всегда писал он искренне и страстно — в полную силу своих творческих возможностей.

Жизненный путь Хулио Кортасара завершен. Но он принадлежал к тем писателям, которые всегда — в развитии, в поисках, в пути. Всегда он был устремлен в будущее. «Практическое представление об этом будущем нам дает социализм, а духовный образ — поэзия», — это было сказано великим латиноамериканским писателем, как всегда, «взаправду».

ХУЛИО КОРТАСАР

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Нет, и поверить трудно, что двенадцать лет назад
мне исполнилось пятьдесят.

Как же могло случиться, что двенадцать лет назад
я уже стал таким старым?!

А скоро скажу: тринадцать лет назад
мне исполнилось пятьдесят. Нет,
нет, невозможно.

Небо — голубое, как никогда.

И ты прекрасна, как никогда.

А может быть, просто —
часы идут не так?

Табачный дым и запах виски
плывут по комнате — им хочется
побыть со мной... Но нет,

нельзя поверить, что двенадцать лет назад
исполнилось мне дважды по двадцать пять.

Твоя рука перебирает мои волосы,

я знаю: она пытается найти
седые волоски. Ну что ж, с десяток наберется, —
но попробуй: отыщи их!

Я снова стал читать классиков,

уже давно забытых мной. Надо торопиться,

нет, дело не в близкой смерти, просто скоро я скажу:
тринадцать лет назад

мне исполнилось пятьдесят...

А потом будет четырнадцать,

и я боюсь,

я боюсь этой цифры,

если сказать тебе правду,

я боюсь цифры — четырнадцать.

Найроби *, 1976

* Найроби — столица Кении, государства в Восточной Африке (здесь и далее — прим. пер.).

* * *

Этой ночью — руки мои черны, а сердце задыхается,
словно ему пришлось насмерть сражаться
с сороконожкой дыма.

Все оставлено там — бутылки и лодка,
и я не знаю: любят ли меня там и рады ли мне.

В газете, что брошена на постель: дипломатические
приемы,

кровавая классовая борьба, теннис.

Непроходимым лесом окружен мой дом в центре
города,

и я ощущаю: какой-то слепец умирает сейчас на его
окраине.

Жена, словно моряк, усомнившийся в звездах,
ходит по лестнице — вверх, вниз.

Итак, что мы имеем? — чашку молока, бумаги,
одиннадцать ночи.

И кажется мне: табуны коней подходят
к окну за моей спиной.

ЧИТАТЬ СЛЕДУЕТ С ВОПРОСИТЕЛЬНОЙ ИНТОНАЦИЕЙ

Ты видел

ты истинно видел

снег звезды шершавые руки вѣтра

Ты трогал

ты подлинно трогал

хлеб чашку волосы женщины которую ты любил

Ты жизнь ощущал

словно удар в лицо

словно мгновенье паденье бегство

Ты знал

каждой порой кожи ты знал

вот глаза твои руки твои сердце твое

необходимо от них отказаться

необходимо выплакать их

необходимо их снова придумать

БОГИ

Боги ступают по нашей земле, брезгливо

приподнимая края своих одеяний.

Среди гниющих кошачьих трупов, среди раздавленных
червей

они проходят в сандалиях,
сырых от плевков времени.

Низринутые на грешную землю страданием,
они уже не живут на небесах,
они шагают, измученные тяжелым сном и болотной
жижей,
останавливаются, считают своих мертвецов,
собак с высунутыми языками,
и осторожно и жадно заглядывают в бездну,
где крысы грызутся
из-за клочков знамен.

ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО

(современное стихотворение)

Все, что я бы в тебе любил,
это так немного по сути,

но по сути — это и есть все.

Бредущая мимо собака, холм, берег реки,
ежедневная суета, всякие пустышки,
волосы, отливающие пшеницею золотой,
тела твоего запах, что повсюду со мной,
все, что ты говоришь в течение дня —
в мою защиту и против меня.

Это все — так немного,
но ведь я и люблю все это, потому что люблю тебя.

Пусть ты будешь смотреть мимо меня,
пусть ты будешь любить меня ночью,
ненавидя меня по утрам,
пусть ты вскрикнешь, мне отдаваясь,
и крик твой услышат на улице,
и пусть наслаждения, которым мы предадимся,
станут знаком нашей свободы.

ПАЙ-МАЛЬЧИК

Ботинки у меня всегда крепко-накрепко зашнурованы,
и я не дам городу укусить меня за пятки,
не стану валяться пьяным под мостом, не допущу
стилистических ошибок.

Рубашки мои — выглажены,
иногда я хожу в кино, всегда уступаю место дамам.
Если чувства мои в смятенье — мне плохо,
я придирчиво выбираю салфетки, зубную пасту.
Прививки делаю — обязательно.
И влюбленный бедняга, я не решаюсь залезть в чашу
фонтана —
под гневными взглядами полицейских и нянек
выудить рыбешку для тебя.

МЕРТВАЯ ГОЛУБКА

Посвящается Эдуардо Кастаньино

Так тяжела земля, и так жесток
закон, тебя лишаящий движенья,
и превратилось в грохот притяженья,
расплющен мир, что прежде был высок.

Кораблик белый, маленький цветок
небес, по ним летящий легкой тенью!
Крушением закончено круженье,
крылатой крови остановлен ток.

Средь трав недвижных кажется нагим
лишенное полета птичье тело.
Хоть ты и стала пленницей земли

и крыльям не расправиться твоим,—
пусть суть твоя в просторы без предела
взлетит, растаяв в голубой дали.

ВОПРОШАЮ

Ни о славе, ни о снеге — не спрашиваю;
я хочу знать: где гнездятся мертвые ласточки,
куда уходят пустые спичечные коробки?
Пусть мир огромен —
но есть в нем ножнички для ногтей, есть пушинки,
усталые письма, выпадающие ресницы.
Куда уходят туман, кофейная гуща,
старые календари?

Я спрашиваю о милых и нелепых пустяках
и посреди кладбища начинаю догадываться:

наш страх все растет и растет,
птица Рухх * высиживает птенцов.

НАДГРОБИЯ

(Аппиева дорога)

Надгробия, деревья смерти, а над ними —
задумчивые кипарисы Рима; надгробия, фигуры,
застывшие во времени, но время все же уничтожает их;
крошатся барельефы,
орнамент осыпается — и только
могилы остаются,

и голуби летают
меж надгробий.

ВЕТЕР НА УГЛУ

Вечерний ветер, встречай меня здесь, на углу.
Что ты несешь мне? Ударяешь
медовой лапкой в колокола.
Пахнешь платаном, тихой рекой, мостом,
кошкой на крыше, воробьями, бумажным змеем.
Ты дуешь — потому что тебе самому так хочется,
потому что не можешь не дуть. Разматываешь мой
шарф,
похлопываешь по шляпе. Цветам
посвистал, пролетая; старикам нашептал:
подумайте-ка о пенсии... Ну, хорош.

НЕЖНОСТЬ

Эта нежность, и эти свободные руки,—
кому подать их? Столько винограда —
зеленого для лисы; и жадным призывом
дверь настезь раскрыта — для никого.

Мы напекли хлеба — белейшего хлеба
для уже мертвых ртов,

* Р у х х — огромная птица из арабских сказок «Тысяча и одна
ночь».

налили чаю — холодного
от рассветного ветра.
Взяв инструменты, стали играть для слепого гнева
теней и забытых шляп. Мы уселись
за бесполезно накрытый стол
и в полночь, стыдящуюся себя,
выпили пунша.
Но — кому это нужно,
кому?

АРГЕНТИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ, УР-РА!

Этот — живет на жалованье,
тот — жалуется на жизнь.
Французская булка, дешевая болонская колбаса,
залив Ла-Плата.

Идет, идет пароход.
Сидите и ждите свое «когда»
среди сотен тысяч других «когда».
«Где» — это мы знаем:
(кафе,
ипподром),
дешевый курорт в горах,
и временная работа
в конторе с бесшумными вентиляторами,
и начальников — только пять.

Когда, моя жизнь, когда.

МАМА

Встав впереди тебя, я гляжу на себя в зеркало — и оно не отражает происшедших со мной перемен, галстука моего нового и прически. Я вижу себя таким, каким ты видишь меня, — частью тебя, от тебя отторгнутой.

О, мама, вот твой сын, это он потупил твой взор — пусть зеркало замолчит, и мы сможем найти общий язык. И пусть о разном, по разные стороны бытия, будем мы говорить одинаковыми словами. Ты — это урна с прахом (я сжигал тебя), но все так же висит мое детское полотенце, и сероглазый огромный сыч все еще ожидает моих речей о справедливости, честности и радиотелефонной морали. Мама, я не могу воссоединиться с самим собой, не могу стать тем, кого ты все

еще видишь. Не могу освободиться от себя, нынешнего, а в зеркале нежной улыбки твоей — все еще отражается тот, кто мною раздавлен — славный пингвинчик, уходящий и возвращающийся, и до последней минуты бесстрашный, тот, каким ты хотела видеть меня: честный, счастливый, ласковый и образованный.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

Я еще сплю на ходу,
натыкаюсь на вещи, сейчас такие непривычные,
слышу музыку, такую необычную.

Сейчас-сейчас я проснусь,— но еще
живо во мне воспоминание сна. А уже
по другую сторону часов
свой нос рассматриваешь, брови,
и с наслаждением
лишний раз заходишь в комнату перед уходом.
Как хорошо, как-на-пле-вать-на-вче-ра,
как хорошо мне! (И еще жив во мне предутренний сон,
еще жив, не забывается,

ведь это действительно — я, но вскоре я исчезну,
меня заменят: рабочий день, и кофе, и имя мое,
и известия, приходящие из внешнего мира внешнего
мира.)

Переводы с испанского В. АНДРЕЕВА

БОЛЬШАЯ ОРБИТА МАЛЕНЬКОГО ПАСКВИНО

Итальянская эпиграмма восходит к двум мощным истокам: к сатирической поэзии Древнего Рима, где блистал несравненный гений Марциала, и к народной мудрости. Народная мудрость ярче всего проявилась в беспощадном смехе портного Пасквино, который жил в XV веке и в доме которого собирались его заказчики, римские ремесленники, сочинявшие едкие остроты на властей предержавших. Остроты молниеносно распространялись по городу, бичуя мошенничество, смиряя самоуправство. Слава остролова Пасквино была столь велика, что, когда около его бывшей портняжной мастерской в самом начале XVI столетия установили вновь найденную античную скульптуру, ее окрестили Маленьким Пасквино и к ней стали прикреплять злободневные куплеты в духе легендарного портного и его друзей. С этой плебейски настроенной статуей полизировала другая, облюбованная более привилегированными слоями общества и прозванная Марфорлио по месту ее нахождения на Марсовом форуме. На нее также наклеивались сатирические стихи и эпиграммы. Поскольку в римскую курию самые острые стрелы посылал Малень-

кий Пасквино, то сначала папа Адриан VI, а позднее папа Климент VIII делали попытки сбросить его в Тибр.

Из политических дуэлей между Пасквино и Марфорлио сложился особый вид эпиграммы — пасквиада. В ней часто Марфорлио задает вопрос, а Пасквино отвечает. Впрочем, такая диалогическая форма необязательна. При отсутствии диалога на принадлежность эпиграммы к пасквиаде указывают только ее традиционное злободневное содержание и подпись «Пасквино» или заглавие «Пасквиада». Этот живучий Пасквино творит уже пять веков.

Пасквино и Марфорлио являлись в Риме не единственными глашатаями справедливости, против которых цензура была бессильна. Бой мракобесию давали также мраморные Бабуин, Факкино перед дворцом Пьомбино, аббат Луиджи, донна Лукреция и другие.

Народным духом пронизаны двести два тосканского поэта Гарцо, жившего еще в XIII веке. В них ощущается связь с пословицами:

Кто помолчать умеет, тот
По праву умным прослывет.

И даже сказочные элементы:

Лисице изворотливость мила.
А женщине что мило? Похвала.

Для развития итальянской эпиграммы не менее полезной оказалась аттическая соль античности. Родоначалник литературы Возрождения Джованни Боккаччо первый обратил внимание на этот полузабытый в средние века жанр и как бы снова ввел его в моду. Гуманисты начали активно собирать уцелевшие памятники остроумия, а тогдашние поэты охотно создавали собственные сочинения сначала преимущественно на латыни и подражая античным образцам, в частности Марциалу.

В XVI веке ученые разных европейских стран выступили за внедрение родных языков в отечественные литературы, считая, что на народных (тогда употребляли такой термин) языках можно писать несколько не хуже, чем на латинском, а стихи даже лучше, потому что новообретенная рифма придает им дополнительную гармонию.

До этого времени эпиграммы, сочинявшиеся по-итальянски, следует отнести к случайным явлениям. Кроме упомянутого Гарцо, сюда относятся эпиграмматические сонеты и экспромты цирюльника Доменико ди Джованни (1404—1449), больше известного под прозвищем Буркьялло, образованным от итальянского выражения *alla burchia* (наспех) и характеризующим Доменико как импровизатора, поэта, пишущего на случай; две дошедшие до нас эпиграммы Макьявелли (1469—1527) и еще весьма многое.

Вот почему отцом итальянской эпиграммы признан поэт первой половины XVI века Луиджи Аламани, сочинивший большое количество сатирических миниатюр. Несмотря на то, что он тоже отдал дань античным канонам, несмотря на то, что его стиль иногда тяжеловат, что фабула иногда чрезмерно груба, что часть его стихотворений по условиям того времени носит сугубо куртуазный и даже подобострастный характер (Аламани некогда пребывал в Париже при дворе Франсиска I и преподносил королю комплиментарные послания), тем не менее в лучших его

стихах проявилось настоящее остроумие, а обилие им написанного определило типологические приметы эпиграммы как жанра.

С появлением нового жанра последовало и его теоретическое осмысление. В своем трактате «Поэтическое искусство» (1563) Антонио Минтурно, определяя эпиграмму, указывает, что она «острит, терзает, колет, высмеивает, порицает, бранит, предостерегает, ободряет, восхваляет, оболъщает». Последние три глагола показывают, что жанр эпиграммы от мадригала еще не отмежевался.

Тяготение эпиграммы к юмору и сатире активизировалось во второй половине XVI века, когда стройная картина Вселенной, какой она виделась представителям итальянского Возрождения, постепенно под влиянием Реформации, а в семнадцатом столетии и контрреформации, нарушилась. То, что раньше казалось ясным, затуманилось; то, что предполагалось прямым, давало кривизну. Экономический спад, усиление феодальной и католической реакции привели страну к порабощению ее испанцами. Острые классовые противоречия вызвали брожение в обществе. Это брожение породило иронию и сарказм, которые проникали в прозу и в поэзию, а в поэзии питали прежде всего эпиграмму.

В начале XVII века критическое отношение к действительности из итальянцев наиболее полно выразили зачинатель нового литературного направления Д. Б. Марино, его последователи, прозванные маринистами, А. Абати, А. Д. Бриньоле Сале и другие. Хотя не все они были причастны к жанру эпиграммы, но общей своей сатирической направленностью на этот жанр, несомненно, влияли.

В 1645 году Д. Ф. Лоредано и Пьетро Микьеле выпустили в свет первую сотню совместно ими сочиненных забавных эпитафий, число которых они потом довели до четырехсот. Сатирические эпитафии в Италии были популярны еще с XVI века. Так, по традиции считается, что едкие надписи для надгробия составили друг другу, хотя оба находились в полном здравии, писатель и историк П. Джовио и знаменитый «бич государей» П. Аретино. К сатирическим эпитафиям близка и надпись великого скульптора и поэта Микеланджело к своей аллегорической фигуре «Ночь», известная у нас в переводе Тютчева («Молчи, прошу, не смей меня будить...»). Эту надпись Микеланджело сочинил в ответ на мадригал Д. Б. Строщи, посвященный этой же «Ночи». Удивляют смелостью анонимные выпады по случаю смерти папы Александра VII (1667) и папы Климента IX (1669). По политическому накалу их можно сравнить с пасквиадами П. Аретино и его единомышленников, ополчавшихся на выборы очередного папы римского после смерти Льва X (1521).

Классицизм, пришедший на смену барокко, создал благоприятные условия для дальнейшей эволюции эпиграммы, так как, включенная в жанровую иерархию классицистов, она была признана не только де-факто, но теперь как бы и де-юре. Крупный эпиграмматист Джироламо Фриджимеллика (1653—1732) первый освободил отечественные жанры малых форм от слепого подражательства античным образцам и создал множество оригинальных по замыслу эпиграмм. Другой не менее крупный эпиграмматист и теоретик Саверио Беттинелли (1718—1808) в «Письмах к Лесбии Чидонии об эпиграммах» (впервые опубликованы в 1792 году) набросал историю эпиграммы и продолжал размышлять над ее теорией.

Эпиграмма, как видим, стала фактом итальянской литературы. Однако нельзя не признать, что, хотя в XVII и XVIII веках было создано немало шедевров общественно-политического звучания, в большом количест-

ве появились и такие эпиграммы, на которых лежит клеймо салонной галантности и безобидного юмора. Вот образец бытовой сценки, впрочем, не такой уж безобидный, созданный поэтом, писавшим на миланском диалекте, Доменико Балестриери (1714—1780):

В штанах, заношенных до блеска,
Не унывал певец Франческо:
«Мой голос — чудо красоты!
Все мог бы сделать из него я».
Тут молвил комик, рядом стоя:
«Что ж из него штанов не сделал ты?»

Это стихотворение любопытно тем, что с ним по содержанию совершенно сходен изложенный прозой анекдот, который в 1771 году попал во французский «Альманах каламбуров», составленный маркизом Бьевром, а Пушкин взял его для эпиграфа к первой главе «Египетских ночей».

Подлинное дыхание эпиграмма обрела в период Рисорджименто, когда Италия девятнадцатого столетия, раздробленная на ряд отдельных самоуправляемых или подчиненных другим государствам территорий, поднялась на борьбу за свое объединение. Разоблачать и клеймить врагов правого дела почла своим первейшим долгом целая когорта поэтов, прежде всего скончавшийся на пороге великих событий В. Альфьери, Д. Г. де Росси, У. Фосколо, Д. Джусти, Д. Жиро, Д. Ре и, пожалуй, самый талантливый среди них как эпиграмматист Ф. Пананти. Путь последнего на Парнас лежал через страны Западной Европы, где он, доктор права, введения и человек большой культуры, существенно пополнил свои знания. Во Франции, революционные идеи которой он горячо поддерживал, поэт приобщился также к лучшим творениям первых острословов мира и, сам обладая незаурядным чувством юмора, подарил Италии не менее 450 эпиграмм, если условно отнести к ним мадригалы и шуточные миниатюры и учесть переводы с французского.

В XX веке с появлением средств массовой информации эпиграмму начали оттеснять памфлет и фельетон. Чтобы не сдать передовых позиций литературного фронта, эпиграмматисты стараются разнообразить композиционную структуру своих творений. По мнению самого видного теоретика эпиграммы, немецкого писателя и критика XVIII века Лессинга, эпиграмме, как и басне, в абстракции свойственно двухчастное построение. Разница между этими жанрами заключается лишь в том, что в басне вторая часть логически вытекает из первой (вспомним хотя бы эзоповский сюжет вороны и лисицы), а в эпиграмме логический ход событий должен быть нарушен. Для того чтобы эпиграмма выстрелила, сатирик сначала ведет слушателя в ложном направлении, искусно маскируя истинный путь следования. И вот в заключительной фразе или даже в последнем слове внезапно (это и есть пуант) поворачивается вспять то, что развивалось естественно и, казалось бы, благоприятно для адресата эпиграммы. Классическим примером такого рода эпиграммы является так называемая эпиграмматическая сказка, иначе говоря, стихотворный анекдот. Она обязательно имеет сюжет и вполне может быть сопоставима с басней. Но для подготовки пуанта эпиграмматической сказке часто требуется восемь и более строк. Возможно, в силу последнего обстоятельства в наше время во всех странах, и Италия не исключение, отдается предпочтение бессюжетным коротким эпиграммам, где доминирует острота, комический эффект которой мгновенен. Он достигается пара-

доксом (таковы английские эпиграмматические лимерики), игрой слов и другими хитроумными приемами. Подобным образом построена эпиграмма на главу итальянских футуристов Маринетти, принадлежащая перу Лучано Фольгоре:

Что порох в голове у Маринетти,
Я думаю, известно всем на свете:
Когда бы вы к нему ни заглянули —
Одним он занят: отливает пули.

Фольгоре выпустил в свет два эпиграмматических сборника — явление довольно редкое в любой литературе любого времени. Кроме него, в Италии талантливо заявили о себе как эпиграмматисты и К. Паволини, М. Маккари, А. Гатто, М. Маркези, 27 лет ведшая хронику культурной жизни в газете «Паэзе сера» журналистка и писательница Берениче, П. П. Пазолини, видный представитель римской диалектальной поэзии Трилусса, а также многие и многие другие поэты-сатирики.

В Италии долгожительница эпиграмма продолжает здравствовать и бороться со злом, которого на свете еще так много, но которому она решительно преграждает дорогу.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЭПИГРАММЫ

ГАРЦО XIII ВЕК

* * *

Когда война пришла в твой край,
Лоз виноградных не сажай.

* * *

Добряк стремится сделать мир добрей,
Стремится злее сделать мир злодей.

ПЬЕТРО БЕМБО 1470—1547

* * *

Кто хитростей любви не раскусил,
Тот в море без руля и без ветрил.

* * *

Какая ни была бы мзда,
Не продавай свободу никогда.

РАФФАЭЛЕ ПЕТРА **1798—1873**

НА ДРУГА ФРАНЧЕСКО Б...

Кекко кредиторами суровыми
Был в конце концов к стене прижат
И решил отправиться в Америку,
Чтобы раздобыть себе денег.

А его жена была беременна
И безумно в Кекко влюблена.
«Я с тобой расстаться даже временно
Не хочу!» — расплакалась она.

Муж ответил: «Стоит ли печалиться?
Я молиться буду, ангел мой,
Чтобы небеса тебя, страдальцу,
Мне вернули в точности такой».

Кекко был услышан. Из Америки
В край родной на пятую весну
Хоть и прибыл он беднее прежнего,
Но застал беременной жену.

ФРАНЧЕСКО ПРОТО **1815—1892**

* * *

Повздорили две женщины бедовые:
— Коль вновь ко мне пристанет твой мужик,
Рога ему я обломаю вмиг!
— Подумаешь! А я наставлю новые.

БЕРНАРДИНО КАТЕЛАНИ **2-я пол. XIX ВЕКА**

* * *

Зачем ты на лицо кладешь румяна,
Усердно маскируя сеть морщин?
Ведь не лицо, а сердце, Марианна,
Отталкивает от тебя мужчин.

ДЖУЗЕППЕ ПУЧЧАНТИ

1831—1913

* * *

Сибилла, недержаньем слов страдая,
Болтала дни и ночи напролет.
Но паралич разбил ее, и вот
Три месяца лежит она немая
И умирает. «Скверные дела! —
Воскликнул муж.— Любезная Сибилла,
Ты только-только вылечилась было,
Да как назло взяла и умерла».

РЕНАТО ФУЧИНИ

1843—1912

ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ?

«А что такое жизнь?» — раскрыв свой веер,
С ним поболтать не прочь архимандрит.
И веер еле слышно шелестит:
«Жизнь — это только ветер, ветер, ветер...»

МАНФРЕДО ВАННИ

1860—1937

НА КАРЬЕРИСТА

Чудно не то, что Габриеле
Мильон препятствий превозмог,
А то, что он, хоть и двуног,
Ползком достиг желанной цели.

ТРИЛУССА

1871—1950

В ВЕЧНОМ ГОРОДЕ

По Риму как-то миссис Хит,
Прогулку с мужем совершавшая,
Вдруг видит: кошка отощавшая *

* В Риме много кошек.

Под аркой Тита сладко спит.
И миссис Хит сказала: «Милая,
Ты голодна. Вставай скорей.
Тебя, смотри, чем угостила я!» —
И бросила полкекса ей.
Та промяукала презрительно:
«Благодарю за дар такой.
Но я питаюсь исключительно
Отечественной требухой».

* * *

Достаточно столба, листка и клею,
Чтоб породить любую ахинею.

КАМИЛЛО СБАРБАРО

1888—1967

* * *

К родным пенатам возвратясь и ларам,
Мир приносящим, по понятиям старым,
Солдат такую там нашел жену,
Что предпочел вернуться на войну.

ЛУЧАНО ФОЛЬГОРЕ

1888—1966

* * *

Спешащий за мечтою человек
Брюшка не отрастит себе вовек.

* * *

Красавицы алхимикам сродни:
Из слез брильянты делают они.

Переводы с итальянского
Владимира ВАСИЛЬЕВА

ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

— Переводить иностранный фольклор?! Вздор, нелепость... — Высказывания в этом духе слышала я не раз и не от профанов.

— Это бесплодно! — разводил руками уважаемый редактор на радио, — в смысле эстрады (!!) это совершенно бесполезно, понимаете?

— Спойте на языке, это всегда привлекает... — снисходительно убеждал меня уважаемый дирижер. — Песню надо исполнять в оригинале, это же истина!

Истина, истина... Когда-то, для давней теперь уже телепередачи, мне предложили спеть французские народные песни: Учебная редакция сняла романтическую сказку. Мне принесли ноты, диски известных исполнителей — и на меня обрушился мир французской народной песенной поэзии...

Закончилась телесказка, время бежало, — но песни не отпускали: я пела их на случайных концертах, на зачетах по вокалу в своем театральном институте и была счастлива, что другим это нравится тоже. Перед исполнением каждой новой песни перевод я рассказывала, как маленькое стихотворение в прозе, но всякий раз выходило чуть иначе: мне все хотелось отыскать такие русские слова, которые передали бы исконные французские народные поэтические образы — в русском стихе. От репетиции к репетиции, от исполнения к исполнению мне будто приоткрывалось нечто, что волновало и — приближало, приближало меня к мудрости чужого народа. И стихи откликались на мое волнение — мне точно протягивали ключ от запретной шкатулки — не взять его я была не в силах. И странно: ведь многие из песен этих были на слуху — классически чистые обработки братьев Жак, изящные эстрадные варианты Ги Беара — и все казалось в них разгаданным, но едва я попыталась напеть по-русски из «V'là l'bon vent»: «...Убил ты утку белую... Да что ж злодею сделаю!..» — пронзило родным, щемлящим, — будто был это давно уже слышанный русский плач по загубленной девичьей судьбе. Человек, дитя природы, в природе же ищет соответствий всему, что с ним происходит: взывая к природным стихиям, одухотворяя братьев меньших, ищет образ, чтоб излить через него в песне порыв души человеческой. На разных языках поет душа — но к одним силам обращается.

Французские народные песни — это пленительная игра слов, бесконечность подтекстов... И стихи, которые вырастали у меня из этих песен, оказывались часто неожиданными для меня самой. Я понимала только, что пою эти далекие песни СЕГОДНЯ и — НЕ ПРО ВЧЕРА.

Когда героиня песни «Auprès de ma blonde», потеряв надежду дождаться с войны мужа, восклицает в отчаянии: «Оспаривать не стала б Я никакой цены! Любимого спасала б — Пусть жертвам нет цены... Я б отдала Версаль им, Париж и Сен-Дени...» — совершенно ясно, что это не кощунство и не предание Родины в угоду своей «маленькой» любви, — но чистота души, которая знает, что нет ничего дороже человека. И святость понятий Родины, Чести, Преданности, Любви до тех пор неприкосновенна, пока в них верует и пока воплощает их в жизнь — человек.

И в фейерверке комических, нелепых подчас, обстоятельств шуточных французских народных песен дышит та же не защищенная лукавством душа. А под узорами особенностей национального юмора всегда таится замечательное общечеловеческое свойство: на дне неудачи — посмеяться над собою и — не унывать! Народные песни живут неистощимостью человеческого духа: жизнь разрушает воздушные замки, но всег-

да остается человек, способный строить их снова и снова — только так создаются в итоге чудеса рукотворные...

Во всем мире всегда переводили поэзию: поэты слышали поэтов и несли своему народу полюбившиеся строки. Во все времена в поэзии жили переводы и случались из переводов оригинальные произведения, Фольклор непереволим как фольклор, но как вечный источник поэзии он напоит всякого, кто прильнет к роднику.

Язык каждого народа отражает способ его мышления. Сколько способов мышления — столько культур, далеких ли, близких, — и одна культура всегда будет жадно изучать другую, чтобы постичь это таинство «чужой» жизни, «чужой» мысли, — потому что человек всегда интересен человеку.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСЕНКА

— Лунный свет так ярок, милый мой Пьеро!
Одолжи, дружок, свое перо:
Написать словечко надо мне скорей!
Гаснет моя свечка у твоих дверей...

На луну зевая, отвечал Пьеро:
— Сплю я и не знаю, где мое перо...
Может, у соседки сыщется оно...
Видишь, в ее кухне светится окно...

И уснул беспечно в лунной тишине.
Месяц ему снился в синей вышине:
Рассыпался месяц серебром в ночи,—
И слетали к детям с неба калачи...

V' LÁ L' BON VENT

(Ветер)

Лежит за домом старый пруд,
Три утки в том пруду живут...
Ветер, вей, вей веселей,
Милый друг зовет, я слышу!
Ветер, вей, вей веселей,
Милый ждет меня скорей.

Король охотиться пошел
Да со серебряным ружьем...

Припев.

Прицелил черную утку,
Да подстрелил подружку!

Припев.

Убил ты утку белую!
Да что ж злодею сделаю...
Ветер, вей, вей веселей,
Милый друг зовет, я слышу!
Ветер, вей, вей веселей,
Милый ждет меня скорей...

И из-под белого крыла
Стекает кровь, густа, ала...

ПЕСНЯ У РОДНИКА

Звонкой водой играет в чаще лесной родник...
Я в той воде купалась — холод мне в грудь проник...

Давно люблю тебя, милый,
Любви мне не позабыть.

Косы свои сушила в теплой тени ветвей,
А на дубу высоком звонко пел соловей...

Давно люблю тебя, милый,
Любви мне не позабыть.

Пой, соловейко, пой мне, радости посули!
Сердце твое ликует — а у меня болит...

Давно люблю тебя, милый,
Любви мне не позабыть.

Друга я потеряла, счастья не сберегла,
И не любовь — разлука на сердце мне легла.

Давно люблю тебя, милый,
Любви мне не позабыть.

Как я хочу, чтоб снова розовый куст зацвел
И чтобы мой желанный снова ко мне пришел!

Давно люблю тебя, милый,
Любви мне не позабыть!

VIVE LA ROSE

(Песня розе)

Как бросил меня милый —
Пойди, пойми причину!
Уж я ли не любила,
Да бросил меня милый:
Другую отыскал —
Ей любовь, а мне тоска...
Он другую отыскал.
Ей — блаженство, мне — тоска...

По лестницам из сплетен
Ходить его невесте!
Здесь каждый шаг известен,

Хоть ты сидишь на месте!
Она меня милей...
Все при ней — и он при ней!
Она меня милей —
И богаче, и умней...

Молва меня морочит:
Невеста, дескать, с порчей,
И от ужасной хвори

Умрет, как видно, вскоре!
Все знают наперед —
Моя соперница умрет...
Ну, все все знают наперед! —
Моя соперница... умрет!

Но... Если ненароком
К ней смерть придет до срока
И ей не встать с постели,
Ну, скажем, утром в воскресенье,
То в понедельник днем
Ее останки погребем...
Да. В понедельник днем
Ее останки погребем.

Все к счастью обернется! —
Во вторник он вернется!
Конечно, он вернется.
Опять — ко мне — вернется!
Но, как итог всему,
Его я не приму...
Я не прощу ему,
Его я больше не приму!

Переводы Татьяны ШАГАЛОВОЙ

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС ...



ОЛЕГ ДМИТРИЕВ

БОГ ПОЭЗИИ

Бог поэзии представляется мне хитрецом.
И на вид — человеком с довольно простецким лицом,
Склонным к пище обильной и к плотской, простите,
любви.

И идут к нему толпы, и люди взывают:
— Яви! —

Он дает им игрушки, побрякушки и сласти дает,
И иконку старушке в иссохшую руку сует,
А поклонников бокса кормит он кровяной колбасой,
Томных девушек поит из розы хрустальной росой.
В балаган приглашает тех, кто явно хотел балаган:
— Вам понравились клоуны? Правильно я полагаю! —
И любитель «клубнички» идет от него чуть дыша,
Завсегдатай кладбищ говорит: «Отдохнула душа...»
«К черту ветхость традиций!» — ликуя, уходит юнец,
А ревнитель традиций поет: «Модернизму — конец!»
Эта ярмарка слова! Входи и бесплатно бери
Леденцы и галеты, пирожные и сухари,
Мятый ситчик, силон, бумазею, шиншиллы меха
И билет на Цейлон в огнедышащем трюме стиха!
Свист, овации, вопли...

Бог неслышно уходит во тьму,
И спокойные люди приближаются молча к нему.
Отмыкает ларец и среди манускриптов и книг
Бог сидит. Не хитрец, а премудрый и гордый старик.
Открывается взорам поэзии истинный свет.
Суета за забором затихает и сходит на нет:
Гаснет шар балагана и паноптикум уж на замке...
Только стук барабана раздается еще вдалеке:
Заперевшись в уборной, все дубасит по коже свиной
Кто-то очень упорный, но и он укрощен тишиной.
Бог поэзии счастлив. Он слышит, как дышит листва.
Ах, великою властью они обладают, слова,—
Только надобно верить не всяким, приятель, словам!
Завтра бог улыбнется: — Что дать Вам, читатель?
А Вам?

Блеснет, как сабля, Передреев,
Тотчас в руины превратив
Все то, что создал светлый

гений —

От соколовских сочинений
До балашовских инвектив.

(Так поздно вспомнив
Балашова —

Такого Ментора Большого,
Я промах совершил прямой.
Ну ладно, Эдик, не ворчите,
Коль Соколова Вы учитель,
То, значит, Вы учитель мой...)

Какой восторг в глубинах взора
Горит у Самченко Егора!
(Хотя районный психиатр
В салоне выглядит, пожалуй,
Почти как деревенский малый,
Пришедший в оперный театр.)

Над минеральной водой,
Тряся ученой бородою,
Безмолвствует Портнягин Эрнст.
Случайный баловень удачи,
Он размышляет чуть не плача:
«Сижу средь них один, как перст!»

Но, чтобы парень не сломался,
Звучит старинного ромansa
Очаровательный куплет,
И все уходят из салона
По лестнице — чуть-чуть
наклонно —
В предчувствии Больших Побед.

И наступает перемена:
Посуду убирает Лена,
Вадим улегся на тахте...
Когда за окнами светает,
Вадим учеников считает
И горько думает:
«Не те».

Апрель—октябрь 1973 г.

264

ПАВЕЛ ХМАРА

КООПЕРАТОРАМ

Привет, друзья-кооператоры!
А где-то даже и салют!
Вы быть полезными и рады бы,
да вам не очень-то дают!
Идете сложными дорогами,
чтоб все пошло у нас на лад,
но прижимают вас налогами,
и фининспектор хмурит взгляд.
Другой бы с вашими заботами
пропал бы, сгинул ни за грош,
но ропщет: — Много
заработали! —
И смотрит, как солдат на вошь.
Вас притесняют власти местные,
забыв намеренно о том,
что если деньги ваши честные,—
пусть будет много! Все путем!
Но я — вам брат! Пусть тупо
хмурится,
вас осуждая, примитив!..
Писатель — тоже, если
вдуматься,—
духовный кооператив!
В одном кругу мы с вами
крутимся,
и не к лицу нам быть лапшой!
Мы так еще самоокупимся!
Материально и душой.

НИКОЛАЙ КАРПОВ

ОЧЕРЕДЬ

Я не актер, не лицедей,
Я чувствами влеком:
Люблю я мир очередей,
Он с детства мне знаком.

На перекрестке виден край,
Взад и вперед снуют.
Скорее в очередь вставай —
Неважно, что дают!

Готов я снова повторять
Для нытиков ликбез:

Прийти, без очереди взять —
Какой в том интерес?!

Презрев насыщенный уют,
Утром буржуям нос:
У нас на все, что ни дают,
Неистребимый спрос!

В морозом схваченные дни
Все купим для весны,
И потому-то нам они
Завидовать должны!

Когда прилавок вдалеке,
И нет товару впрок,
Мы пишем пастой на руке
Заветный номерок.

В очередях мы много лет
Не покидаем пост.
И, если очереди нет,—
Так это на погост!

* * *

Взбодрился чашкой кофейку,—
Избавился от сна я.
Куда я мыслью потеку,
Пока и сам не знаю.
Исчезли скованность и грусть,

Наверно, от сугреву.
Скорей всего я растекусь
Той мыслью по дереву...

* * *

Оставить чтоб в словесности следы,
Таланта и напористости мало:
Писатель должен жить вблизи воды,
Чтоб под рукой хватало матерьяла...

* * *

События судьбы живой,
Спрессованы жестоко,
В душе моей, как в кладовой,
Покоятся до срока.

Порой смотрю средь бела дня —
Меня досада мучит:
Моя история меня
Все ничему не учит.

Не так уж плох такой удел —
Я мысленно пирую:
Поскольку я не преуспел,
Мне жизнь дадут вторую!

ВЛАДИМИР КОСТРОВ

В ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА

Пока по этажам Зоил громил Зоила,
Над кухонным котлом витал невкусный пар,
На голубую гладь балтийского залива
Весь в пенных парусах скользнул прекрасный барк.

Он по сердцу прошел приемом тихой сапы,
Его родил Эол, его хранил Борей,
Он, как сиамский кот, бесшумно стал на лапы,
Тугих, как каучук, трехпалых якорей.
Он легкостью своей не оскорбил эфира

Туманного, вдали. И общий и ничей.
Но нас не оторвать от строчки и гарнира
Чтоб на морском песке творить себе кумира
Из стройных мачт, воды и солнечных лучей.

О, рыцари пера, судачьте и маячьте,
Скрывайтесь от дождя под юбкой у жены.
Но горек вывод мой, что паруса и мачты
Практической мечте отныне не нужны.

Освободим залив от звонкого балласта.
И развенчаем в прах туманные миры.
Для творческих домов «Летучие голландцы»
Должны перевозить голландские сыры.

Напрасно вдалеке струится тонкий вымпел
Дразнящий язычок упругий и живой.
Я отряхнул песок, потом поел и выпил
И как в болото, в фильм ныряю с головой.

ВЛАДИМИР КАРПЕКО

* * *

Под нашим русским небом синим, Так подивитесь же России —
где жили деды и отцы, пройди Москвой во все концы:
не вызревали апельсины, здесь два целковых — апельсины,
росли — навалом! — огурцы. и три с полтиной — огурцы!

* * *

Велик наш век! Открытий полон он.
Каких еще открытий ждать, казалось?
Но... только взял я в руки телефон —
и сердце вдруг интуитивно сжалось.
Мне время ехать на вокзал пришло,
и вот — встречаюсь с первым из открытий!
Я в телефон кричу: — Такси! Алло!.. —
А мне из трубки: — Ждите...

Ждите...

Ждите...

Я опоздал. Колесами звеня,
ушел мой поезд с полкою свободной.
И, чтоб друзья не ждали там меня,
по линии звоню междугородной.
Диск телефонный — палец аж светло! —

верчу, верчу...

— Тьфу, черт возьми!..

(Простите!)

Алло, междугородная! Алло!.. —

А мне из трубки: — Ждите...

Ждите...

Ждите...

До вечера я слушал те слова

и, кажется, дошел уже до точки!

Но в трубке что-то щелкнуло едва,

и: — Ту-ту-ту... — короткие гудочки.

Женою мне постелена кровать,

заслуженного отдыха обитель:

— Ты ляжешь спать? — спросила. — Долго ждать?.. —

И я ответил: — Ждите...

Ждите...

Ждите...

ПИСЬМО ИЗ РАЙЦЕНТРА

Тут близко все и все знакомо:

РАЙбиколлектор, РАЙоно...

Ты спросишь, как житье-бытье,
мол?

Так это ж ясно — рай оно!

Такое может лишь присниться:

РАЙком, РАЙфо и РАЙбольница,

РАЙисполком...

Коль разобраться,

здесь никаких сомнений нет:

РАЙисполком — так это ж, братцы,
конечно,

РАЙСКИЙ КОМИТЕТ.

Согласно табели о рангах

(у нас в раю порядок строг!)

сидит за каждой дверью — ангел,

а за двойною дверью — бог!

Но вот пришлось мне раз по делу

(какому — в памяти уж нет!)

шагать, немного оробело,

в тот самый РАЙСКИЙ КОМИТЕТ.

Не привыкать к ходьбе солдатам.

Но чтобы так уж? Верь не верь —

гоняли ангелы меня там

из двери в дверь, из двери

в дверь!

Когда почти что по-пластунски

к последней двери подползал,

озясь я пару слов по-русски

(конечно, шепотом) сказал.

Но тут один мужик суровый,

как я же, меченный войной,

мне, сжалась, дал совет толковый:

— Да ты валяй-ка к той,

двойной! —

И вот уже к ее порогу

направил робкие шагки.

Видать, не зря нам «все от бога!»

твердили вечно старики...

Был я старательно речистым

и убеждал как только мог.

Но бог не только не помог,

а указал мне на порог...

Вот так и стал я атеистом.

АЛЕКСАНДР БОБРОВ

ОТКРОВЕННОЕ

Я люблю года застоя,

Не пушу их на распыл.

Объяснение простое:

Я тогда моложе был.

И друзья моложе были,

* * *

Друзья мои! Чтобы халтуре
Надежно перекрыть пути,
Пора уже в литературе
Подряд семейный завести.

Скажу без лишнего смущенья,
Что в этом деле я мастак.
Семейные стихотворенья
Слагаю так.

Детишкам поручаю ритмы —
Тут непосредственность важна.
Сам ведаю мужскою рифмой,
А женской ведает жена.

Насчет эмоций теща мастер,
У ней они в избытке есть.
А правильность идейной части
Мне обеспечивает теща.

Два положительных момента:
Во-первых, занятость сполна,
А во-вторых, по компонентам
Ответственность разделена.

И если кто завалит дело
(Будь это даже хоть сам я),
За это дело бракодела
Костит остатняя семья.

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ

СОН ДВОРНИКА

Дворнику ужасный сон приснился:
Что метет он в обе стороны,
Что успеха громкого добился,
Стал законной гордостью страны.
Но, с рекордом неостывшим споря,
Вновь скребет, метет, как никогда,
И ему присваивают вскоре
Звание Героя Соцтруда.

А потом за доблесть трудовую
Под оваций — громкий треск и
хруст
Выдают ему Звезду вторую,
В сквере устанавливают бюст.

Утром, как всегда, легко и споро
Двор выходит убирать старик,
Но холодным взглядом Командора
Смотрит на него его двойник.

И кричит: «Ты красный, словно
вымпел,
Ты намедни часом не кутил?
Признавайся, сколько рюмок

выпил,
Почему профвзносы не платил!

Почему над вверенным участком
Ты суконкой не натер луну?!»
...Только сны не вечно длятся,
к счастью.

И промолвил дворник: «Ну и ну!»

ПИСЬМО НАДЕЖНОМУ ДРУГУ ИЗ ДАЛЬНЕЙ КОМАНДИРОВКИ

Поехал я в свою командировку,
Решил я деньги не пускать
в распыл,
Но вдруг купил, забывшись,
поллитровку,
И как-то так рассеянно распыл.

И тут же потерял носки и паспорт,
Но все-таки (ликуй, моя семья!)
Осталась у меня зубная паста
И щетка полысевшая моя.

Жена пусть вышлет деньги
телеграфом
Для их свиданья с портмоне
пустым,
Чтоб в ресторан вошел я пусть не
графом,
Но все ж и не солдатом отпускным!
Жена моя, конечно, примет муку,
И, чтобы доказать, что я не гад,

* * *

Как все живу,
А может, не как все,
Качаюсь в лодке,
Еду по шоссе.
Мне мир открыт
От кухонь до корыт:
Предъявит счет,
Унизит,
Укорит,
Собьет с катушек
И согнет в дугу —
Могу согнуться...
Нет, я не могу!
Могу склониться,
Чтоб поцеловать
С любовью — сына
И с любовью — мать.
А гнуться — нет!
Я гнуться не могу —
Пусть гнется тот,
Кто гнет меня
В дугу!

ВЛАДИМИР ТРЕПЕТЦОВ

МОТЫЛЕК

Мотылек дремал на одуванчике
На пушистом желтеньком
диванчике.

Видя пчел нагруженных полет,
Думал сонно: «Жизнь у вас — не
мед.

Суета: присели — полетели.
То ли дело в солнечной постели
Полежать. В заботах не жужжать...
И себя красивым окружать...»
Млел. Но вдруг — стремительно-
легка

Птичья тень накрыла мотылька.
Вот и все. Так прозаично ясно.
Не всегда безделье безопасно.

В МЕТРО

Постоянство копеечной платы:
Опустил пяточок — и входи!
Как уютно урчит эскалатор...
Как заметно теплеет в груди.

Как милиция вежлива в зале.
(Есть же сервис у нас на Руси!)
Вот спать меня под руки взяли
И сказали: «Езжай... на такси!..»

В ЛЕТНЕМ САДУ

Преимственность традиций —
не игрушки.
Традиции я чту и закрепляю.
Когда-то здесь прогуливался
Пушкин,
Теперь здесь я задумчиво гуляю...

БОРИС БОБЫЛЕВ

ЗАПОВЕДЬ

Пришедшую издалека,
В пределах жизненного круга,
Храните заповедь века:
Борьба — экзамен храбреца,
Гнев — испытанье мудреца,
Нужда — проверка друга.

ТРАГЕДИИ

Жизнь питает книги повсеместно,
Книга в жизни с каждым днем
нужней,

Издавать трагедии полезно,
Избежать трагедии важней.

ГИППОПОТАМ И БЕГЕМОТ

Гиппопотама бегемот
Однажды повстречал:
— Вы кто? — спросил.
— Я бегемот,— гиппопотам сказал.
Тут возмущился бегемот:
— Кто ж я тогда такой?!

— А вы,— ему ответил тот,—

Гиппопотам простой.—
Гиппопотаму бегемот
Сказал: — Вы просто лжец! —
С гиппопотамом бегемот
Рассорились вконец.
Они уже который год
И здесь шумят, и там —
Все не решат,
Кто бегемот,
А кто гиппопотам.

ГЛУХИЕ

Один глухой сказал: — Роса..
Пора траву косить.—
Второй ответил: — Ты не прав,
Налим жирней плотвы.

Один глухой вздохнул: — Жара,
Стога уже гребут.—
Второй воскликнул: — Что ты,
друг?!

Лещей там просто тьма!

Один глухой сказал: — Ну вот,
Без нас уже сгребли,
Пошли домой кваску попьем.—
Второй сказал: — Пошли.

МАША И КАША

— Не буду я есть эту кашу! —
Кричала за ужином Маша.
«И правильно,— думала каша,—
Хорошая девочка Маша».

ЯХТСМЕНЫ

Отважные яхтсмены
Несли на парусах.
Светило ярко солнце
В прозрачных небесах.

Но вдруг туман сгустился
И шквал забушевал,
И тот, что у штурвала,
Приятелю сказал:

— Дай компас мне скорее,
Снесет, неровен час.—
Но друг его поправил:
— Не ко́мпас,
а компáс.

— Нет, компас! — крикнул
первый,

Побагровев, как рак.—
Куда тебе, приятель,
Учить морских бродяг.

Они бы очень долго
Свой спор решали, но...
На риф наткнулась яхта
И булькнула на дно.

На узеньком утесе
Друзья утихли враз —
Теперь им все едино,
Что ко́мпас,
что компáс.

БОРИС ЗАМЯТИН

ПЛОХОЕ ОТНОШЕНИЕ К КОРОВАМ

Меж трех гостиниц возле сквера,
одета жестью, как в гранит,
как памятник железной эры,
корова ржавая стоит.
Одна, некрашена, безрога.
Такую не полюбит бык,
ей вымычать бы душу богу,
да проржавел давно язык.
А рядом люди, люди, люди

бегут, бегут, бегут, бегут...
Кто о корове думать будет,
когда не до коровы тут?!
Бегут на службу и к любимым,
но даже и за молоком
не к ней, а мимо, мимо, мимо,
как в Мекку, в ближний гастроном.
Все ж обижаться ей не стоит:
почетно на виду стоять.
Не холят, правда, но не доят,
не дергают — чего желать?
А может быть, права корова?
Быть на виду у всех — тоска,
если в тебе ни дара слова,
ни красоты, ни молока.

ПЕРЕВОД, КОТОРЫЙ НИКУДА НЕ ГОДИЛСЯ

(Как бы перепев с переводов с английского)

Вот это страница газеты,
а вот перевод,
который поэт, покопавшись, как крот,
пристроить решил вот на этой странице,
поскольку ему чем-то надо кормиться,
хотя перевод никуда не годится.

А этот редактор еще молодой,
который за эту страницу гордой,
и, многим рискуя, не взял перевод,
который поэт, потрудившись, как крот,
решил, что пристроит на этой странице,
поскольку ему чем-то надо кормиться...

А вот мудрый, славный и главный редактор,
весомый, порою тяжелый, как трактор,
который, вздохнув, покачал головой,
узнав, что редактор совсем молодой
вернул перевод, и не просто поэту,
а давнему автору этой газеты,
который принес вот для этой страницы
то, чем непременно он должен кормиться,
хотя это «то» никуда не годится.

А вот и ни в чем не повинный читатель,
который не только прочтет, но оплатит
неважный, ненужный ему перевод,
который, увы, но в газете пойдет,
причем занимая почти полстраницы,
и это «увы» никуда не годится.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

В завоеванном затишье
Я трудом одним живу
И роняю восьмистишья,
Словно дерево — листву.

Николай Карпов

Сколько лет скриплю и маюсь,
Как осенний клен горю.

Скорбным делом занимаюсь —
Восьмистишьями сорю.

Дворник в кучи их сметает,
А потом глядишь — сожгли...
Благодарная вздыхает.
Что ж поделаешь... Пили!

ЗРЕЛОСТЬ ПОЭТА

В каждом возрасте
есть свои странности.
Умудряется только поэт
так испытывать
приступы старости
чуть ли не с восемнадцати лет.

Кирилл Ковальджи

Жизнь поэта —
загадки и странности:
в ранней юности — хвори и жуть.
Ведь поэт
с угасания в старости
начинает свой творческий путь.

Молодеть
постепенно приходится,
жизнь крутые дает виражи:
плачем
в люльке промокшей заходится
впавший в детство поэт Ковальджи.

ЛЮБОВЬ И ВИТАМИНЫ

Ты востренький глаз положил
на кого-то.
Тебе не любви — витаминов охота.
И слаще любого любовного вздора
Прозрачный апрельский кружок
помидора.

Лариса Тараканова

Я тщетно пыталась понять,
в чем причина,
Но как измельчал в наше время мужчина!

Какое он жалкое нынче создание!
Он ходит на рынок, а не на свиданье...
Он губ не кусает в истоме любовной,
Грызет с наслаждением хвостик морковный.
Дороже и слаще любовного бреда
Сопенья блаженное после обеда...
Скажи мне, мужчина,
ответь, современник,
Зачем ты любовному делу изменник?
И он отвечает — не скажешь яснее:
— Намного дешевле, полезней, вкуснее...

УМЫВАЯ РУКИ

Я по разбойникам спец, по шпане.
Белая бурка с кровавым подбоем...

Все-таки нужно трудиться и днем.
Вдруг ухмыльнусь над пустой сковородкой —
как я под вечер
пойду за конем
шаркающей кавалерийской походкой.

В л а д и м и р У р у с о в

Плащ белоснежный, кровавый подбой,
шаркающей кавалерийской походкой
вышел,
с отвисшею нижней губой,
римский наместник в тунике короткой.

Вмиг воцарилась вокруг тишина
и задрожали поджилки у трусов.
Страшно Пилат закричал:
«Эй, шпана!
Кто тут из вас стихотворец Урусов?»

Все промолчали. Он крикнул раз пять,
тут как всегда отыскался иуда:
«Вот он! Как бог сочиняет...
Распять!
Спасу уж нет от словесного блуда!»

Я, если правду сказать, приуныл.
Так и распнут ведь с убийцами вместе...
Понтий, как водится, руки умыл
и, уходя, обронил:
«Много чести!..»

ВИКТОР ЗАВАДСКИЙ

НЕ ТАКОЙ УЖ Я...

А рос я неказистым, тощим, маленьким...
и все меня беззлобно звали «шкаликом»...

...И дьявольски быть хочется усатым,
высоким и красивым.

...Моя татарская бородка,
глаза чалдонские мои...

Нет, не такой уж я дремучий олух,
что с веком и прогрессом не в ладу.

Андрей Лядов

Ну до того плюгавеньким и маленьким
явился я на этот белый свет,
что звали «шкетом» все меня и «шкаликом»
от самых юных дней до зрелых лет.

Нашел я, как мне стать неотразимым,
не тратя денег, времени и сил —
высоким, стройным, умным и красивым —
чалдонские усы я отрастил.

А следом и татарскую бородку,
чем зайцев двух или трех убил;
и на деревне первую красотку
в себя со взгляда первого влюбил!

Не чудеса ль — я тот же самый вроде,
а женщины вокруг меня кишат!
Все дело в том, что я оброс по моде,
а женщины от моды — ни на шаг!

Я то учел, что в городах и селах
усы и борода опять в ходу:
нет, не такой уж я дремучий олух,
что с веком и прогрессом не в ладу!

СЕКРЕТ ПОЮНЕНИЯ

Ошибок не боюсь, ребята,
В ошибках молодость видна.

Сверши все прежние ошибки
И юность обретешь опять!

Алексей Марков

В ошибках, каюсь, я не каюсь.
Ошибки — свойство юных дней.

И я все чаще ошибаюсь,
Чтоб стать моложе и юней!

В ПОТЕМКАХ МОЗГА

...Бегу, аукаю, кричу —
вдоль полушарий.
Хватаю мысли — нечет? чет? —
в потемках мозга.

А все ж чего-то из меня
уже не вышло.

Марк Сергеев

По времени недели две,
не так уж много,
в своей блуждал я голове,
в потемках мозга.
Во мраке собственных мозгов
я заблудился
(Все это происки врагов,
я убедился).
Кто я и что я? Нечет? Чет?
Ничто иль нечто?
Поэт? Прозаик? Ангел? Черт?

О чем и речь-то...

Я был, в стихах и так, хмырем,
рекой, чалдоном,
березой, кедром, глухарем
и телефоном!
Сыграв ролей примерно сто,
едва не вою:
вдруг потому я то и то,
что «не того» я...
Из колеи и роли я,
поймите, выбит
тем, что чего-то из меня
уже не выйдет.
В потемках мозга моего
оно застрянет,
и быть ничем ни для кого
меня заставит.
И пусть простят меня мозги,
я их обижу:
в мозгах не вижу я ни зги
и не увижу!

ЧЕРТ НАДОУМИЛ

Она жила, меня не замечая,
А я носился рядом, кур пугая...

Куда же это я забрел,
Такой начитанный и умный?

Да, я влюблен в свою же ученицу
И даже хоть сейчас готов жениться...

Владимир Соколов

Не потому ль так ровно я учился —
На твердые колы,— что был влюблен?
За ней, за ней на велике носился,
Собак пугая, кошек и ворон!

Но ничего от ученицы юной
Я не добился, не хочу скрывать:
На то, что я начитанный и умный,
Ей было почему-то наплевать.

Прошли года, и некрасивым, старым,
Неумным, неначитанным я стал,
Безбабьим, безлошадным и отсталым
(От ученицы, в частности, отстал).

Вот тут мои друзья и настояли,
Чтоб собственных завел я учениц.
Они, друзья, видать, не представляли,
Что ученицы могут учинить!

Черт надоумил? Ум зашел за разум? —
Увлекся злостной двоеницей я!
Теперь жениться я на ней обязан:
Ведь ученица, черт возьми, моя!

Ну что ж, и мною вписана страница
В большую педагогику, считай:
Учитель! Ученицу воспитай,
Чтоб было и тебе на ком жениться!

ПОБОЛЬШЕ СТРАШНОТЫ!

*...Сидят на ветках черные коты,
Скорее звезды влихивая в рты...*

*Луна едва видна, полуобъедена...
Дерутся разлохмаченные ведьмы
Над трупом золотого трубача.*

Вышел месяц из туч топиться...

Л е о н и д Ч е р в и ч н и к

Весь ужас в том, что у поэтов мало
Кошмарного! Читателей моих
Всегда холодным потом прошибало,
И шевелились волосы у них.
Секрет искусства знаете вы? Вот он:
Побольше страшноты и черноты!
Кричит в ночи зловещий черный ворон,
Вопят истошно черные коты!
Хоть выколи глаза — все звезды съедены,
Коты во рты пихают их, урча!
Танцуют разлохмаченные ведьмы
Над трупами скелетов ча-ча-ча!
Упырь успел в луну клыками впиться,
Она рванулась и упала в гать.
Луна решила: лучше утопиться,
Чем съеденным лицом чертей пугать!
Мне страшно самому, но мы, мужчины,
Снять ужас перед страхами должны!
...Стихи без трупов, ведьм и чертовщины
Советскому народу не нужны!

ФЕЛИКС ЕФИМОВ

Из цикла «Курица или яйцо?»

ВОПРОС-ГОРА

(Владимир Маяковский)

Ко мне из Горсправки
вопрос-гора
ворвался протуберанцем.
Товарищ поэт!

Разъяснить пора:

курица
или
яйца?

Мудреет глубинка,
и житель сел
вопросом бомбит столицу.
А мы отвечаем ни то ни се,
мол, речка Курá —

не птица.

Осточертел
конъюнктурный мусс

и
компромисса паста.
Прорвись, как в Зимний,
и рывки: «Пусть
курица будет!
Баста!..»
Или яйцо!..
Разберись! Взвесь!
Гляди провидицы пристальной.
Не жди — не будет! —
манны с небес.
Даешь — на-гора —
истину.
Трусливый в кусты уползет,
смердя
лирически-нежным кредо.
Поэт! Ты вырвешь
всезнанья стяг
из рук литкритиков, литсутяг
и разных
прочих
«ведов».

ДРЕВНИЕ ЛАДЫ

(Виктор Гончаров)

Недавно в метро
Неодолимое любопытство вдруг обуяло меня —
Захотелось проникнуть в тайну курицы и яйца.
Доверюсь воображению,
Я устремился к истокам жизни
И вскоре достиг их мысленным взором.
Жизненный эмбрион,
Напоминавший и яйцо и котлету по-киевски,
Располагался в заурядной,
Похожей на блюдце,
Летающей тарелке.
Я попытался увидеть то единственное,
Что скрыто от праздного наблюдателя
И является только мастеру
В редкие минуты вдохновения и удачи.
Я пригляделся... и обомлел.
В поверхность тарелки была впечатана лада.
«Самовольная без надобности
Остановка поезда стоп-краном
Карается штрафом,

Если это действие по своему характеру
Не влечет более тяжкого наказания».

Лада нашла меня!

Меня! — стойкого ревнителя

Древней забытой формы стихов.

Вот неоспоримый факт переклички цивилизаций!

Дивное чувство испытал я.

Словно во сне выбрался из вагона метро,

Потрясенный опустился на какие-то ступени.

И вновь

Сознание озарили слова старинной лады:

«Стойте справа, проходите слева.

Тростей, зонтов, чемоданов не ставить.

На ступени не садиться...»

А что, если это поэзия,

Да и гениальная?..

ЗАГАДКА

(Юрий Кузнецов)

То клубится не смерч, не химера,
Не змея достигает до звезд —
То бредет по стопам Агасфера
Колдовской ядовитый вопрос.

Препожаловал сфинкс вековечный,
Нужный меньше, чем дырка в боку,
Смерть — живому, оглохшему —
речи

И шестая нога — ишаку.

Вопрошает — мерещатся яйца
И предтеча-петух. А с небес
— Агасфера отдайте данайцам! —
Наставляет пророк или бес.

— Мне какая, — вопрос
возмutilся, —

Указания сволочь дает? —
Только сверху изрек — и свалился
Потрясенный с небесных высот.

Участковый с дружинником взяли
Тут под белые руки его
И в коляскино лоно втолкали.
С той поры не слышать ничего.

ПОЗНАЮТСЯ В ЕДЕ

(Григорий Поженян)

С тайной курицы и яйца
надо, братва, кончать.
Бурям преданные сердца
знают с чего начать.

Истый друг начнет с языка,
ящик гранат найдет,
танкер с грузом КВВК
на абордаж возьмет.

Будем плавать мы круглый год —
это нам нипочем.
И не страшен второй живот
или третье плечо.

А, случись, пригрозит бедой
двухпудовый лосось —
смело ринемся в ближний бой...
чтобы мирно спалось.

Куриц видели мы в рагу.
В яйцах секрета нет.
Главное: не отдать врагу
ужин или обед.

Поэтому сядем поближе.
Устал я тебе повторять,
Что только любовь нами движет,
И время нельзя нам терять.

Колени в колени, и губы
Легко припадают к губам.
Как мы ненасытны и грубы
В любви, и как радостно нам.

Ко мне забежав ненадолго,
Лишила покоя и сна.
Не надо, не надо о долге!
Ты все заплатила сполна.

Как жаль, что пора расставаться.
Однако же время не ждет —
Наверно, минут через двадцать
Другая должница придет.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

А старушки ждали стужи дикой,
Но сейчас приметы —

пустяки!

Может, в феврале за земляникой
Мы пойдем, доставши кузовки!

Дина Злобина

СТАРУШКИ ТРОНУЛИСЬ

Пензенские шустрые старушки
Валенки достали и носки,
Ведра приготовили и кружки,
Кузовки, совки и туюски.
Собирались,
В мелочи вникали,
О февральском помнили снежке,
Повязались толстыми платками
И тулупы взяли в драмкружке.
Подвернули теплые портянки,
Сели —

благодравны и тихи,

А путеводителем к полянке
Взяли Дины Злобиной стихи.
И пошли они за земляникой
По сугробам, к лесу напрямик,
А метель плясала в пляске дикой
И снега мели за воротник.

Шли они

И в снег втыкали вешки,
Вспоминая солнечные дни.
«Тронулись?» — спросил старик с усмешкой.
«Тронулись», — ответили они.

АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ

ЛОВУШКА

Где-то здесь. На полслова правей,
На полстрочки левее и выше.
Должен быть этот выход. Я слышу
Холодок меж камней и ветвей.

Понимаю, никто никогда
В этот лаз не пролез ниоткуда,
Сквозь него не проник никуда
И назад не вернулся оттуда.

Александр Аронов

Значит, так. Наклонился, пролез,
Боком-боком добрался до стенки.
Зацепились за что-то коленки...
Шею сломишь среди этих словес...

А потом на полслова правей,
На полстрочки к началу поближе,
И наверх, если это хорей,
Если ямб, то налево и ниже.

Остается совсем ерунда:
Оттолкнувшись примерно отсюда,
Разбежаться куда-то туда
И оттуда допрыгнуть дотуда.

Путь, конечно, чертовски тернист,
Но надежда на то остается,
Что сюда заползет пародист
И обратно уже не вернется.

ЕФИМ САМОВАРЩИКОВ

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

Вода течет к воде,
еда идет к беде.
Вино идет к еде.
Кино идет везде.

Часы идут к часам.
Усы идут к носам.
А кто и сам с усам
идет в универсам.

И все по мере сил
куда-то держат путь.
Тогда и я решил
пойти куда-нибудь...

ПЕРИФРАЗЫ

ПОНИМАЯ БУКВАЛЬНО

Глагольных рифм апологеты
стоят за рифму без затей,
поняв буквально суть завета —
«Глаголом жги сердца людей».

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!

В печать послали опус шалопая.—
Отговорила роща золотая.

ДО И ПОСЛЕ

Азартно жил маэстро голосистый.
Недуг унял задор певца-солиста.
Теперь не пьет, не курит... Есть суждение —
болящий дух врачует песнопенье.

ФУТБОЛИСТУ, СЫГРАВШЕМУ ГОЛОВОЙ

В ногах нет правды, Гриша.
Но правды нет и выше.

* * *

Ряд ученых считает, что вода — главный канал информации в природе.
...Запасы пресной воды истощаются.
...В стихах поэта С. много воды.

Из газет

Что в стихах моих много воды,—
Мой успех — не пропали труды.
Да, я лирик новейшей формации.
Всех прозрачней пишу, всех нежней.
Ведь вода — это мать информации,
И вода с каждым годом нужней!

РАЗМЫШЛЕНИЕ НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ

Как бы мне скорей попасть домой!..
Вот идет автобус, вроде — мой.
Если мне немного подвезет,
Он меня до дома подвезет...

ИЗ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ

Однажды в чаще, под небесной высью,
В твоих глазах нашел я что-то рысье.
Ты это оценила в тот момент
Как высший, но звериный комплимент.

ЕЩЕ ИЗ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ

От моей любезной дроли
Получал я бандероли:
То — с журналами пакет,
То — с печеньем «Крикет»,
То в них — вяленая рыба...
Я ответил ей: «Спасибо!
Но когда — узнать позволь —
Ждать с тобою бандероль?!»

ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ ЖЕНЕ

1. С борта самолета

Хлеб, котлеты и яйцо
В самолете уплетая,
Вспомнил я твое лицо,
О, подруга золотая.

Ты заботлива была —
Все в дорогу собрала!

Мой прекрасный аппетит
Не испортит за граница:
Я все время буду сыт,
И валюта сохранится!

2. Из Франции

Взбираюсь на Монблан,
Но, пробиваясь к высям,
Тоскую без твоих
Московских писем!

3. Из Норвегии

Все рестораны Осло обошел,
Но выходил из них всегда

печальный:

В них слабый сервис и неважный
стол, —
Пожалуй, послабей, чем в нашей
чайной.

4. Отбывая из Осло

Хотел тебе купить
Зубную пасту в Осле.
Но только не успел.
Куплю, наверно, после.

5. Заканчивая поездку

Я посетил Стокгольм
И Осло, и Париж,
А ты меня
Невежеством коришь!..

ЭК, ХВАТИЛ!

Ведущий на пышном вечере

одного одаренного

человека

Назвал величайшим поэтом XX века.

Смело и громко,

А все-таки горько:

Кто же тогда Блок или Гарсиа Лорка?

Да и Жан Кокто

Кто?

ГОРЕЧЬ ЖИЗНИ

Не страшусь бессонниц предрассветных,

Но с годами стало мне ясней:

Даже клей на покупных конвертах

В юности был слаще и вкусней...

* * *

Так пошло из века в век,
И сейчас так водится.
Дорогой нам человек
Дорого обходится.

В КУЛУАРАХ ПИСАТЕЛЬСКОГО СЪЕЗДА

Для общенья, видно, я не годен!
С кем поговорить? Душа горит!
Но повсюду орден ищет орден
И звезда — с звездой говорит...

ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ

Влажно играет апрель на трубе,
ржавой немножко.
Важно гуляет сама по себе
рыжая кошка.

Как ее хвост изумительно сух
в этой мокрели!
Друг мой бесценный, единственный друг,
с Первым апреля!

* * *

Я не вошел в учебник, что же,
Но сам собою в чащу влез,—
Ведь это же одно и то же —
Он, как учебник, темный лес.
Тропинок нет.
Дорог не видно.
Между хваленых елок — пни...
Конечно, было бы обидно
В таком лесу закончить дни.
Деревья тут одной породы —
Они сгодятся и на гроб.
Но я спасу молодые годы
И кровь густую, как сироп.
Да, я спасу и честь, и шкуру,
Проверю сердце по стыду,
И не войду в литературу,
Пока в учебник не войду!

Поэзия: Альманах. Вып. 51.— М.: Мол. гвардия,
П 67 1988.— 287 [1] с.

Номер открывают стихи известных советских поэтов Я Козловского, Т Кузовлевой, Н Пайченко, С Кузнецовой, Е Рэйна, М. Квливидзе, М Анчарова. Раздел «Наши публикации» представляют яркие имена Л Мартынова, Н Андиферова, А. Передрева, Ф Сологуба, А. Ахматовой, В Нарбута, М Волошина, Е Венского. В разделе «У нас в гостях» представлено творчество поэтов Армении. Стихи С Малларме, известного аргентинского прозаика Хулио Кортасара, итальянские эпиграммы представлены в разделе «Из зарубежной поэзии». В номере также рассказывается о творчестве В. Бенедиктова. С разбором стихов и со стихами выступают А. Цветаева, В Костров, А Жигулин. Значительно расширен юмористический раздел «Парнас, Пегас и кое-что про нас», в котором публикуются иронические стихи и пародии А. Иванова, П Хмары, О Дмитриева, В Туровского, В Завадского, А Мурая и других. Номер иллюстрируется ранее не публиковавшимися фотографиями советских поэтов.

П 470100000—279
078(02)—88 202—88

ББК 84(0)6

ИБ № 5536

ПОЭЗИЯ. Вып. 51

Зав. редакцией Г. Зайцев

Редакторы Н. Старшинов, Ген. Красников

Художественный редактор Т. Погудина

Технический редактор Е. Брауде

Корректоры Е. Дмитриева, В. Назарова, М. Пензякова, И. Ларина

Сдано в набор 24.05.88. Подписано в печать 31.10.88. А13560. Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Журнальная рубленая». Печать офсетная. Усл.
печ. л. 18,0. Усл. кр.-отт. 36,5. Уч.-изд. л. 20,1. Тираж 50 000 экз. Цена 1 р. 70 коп. За-
каз 1420.

Типографии ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического
объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва,
К-30, Сушевская, 21.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отзывы об альманахе присы-
лайте по адресу: 103030, Москва, К-30, Сушевская, 21. ИПО ЦК ВЛКСМ «Мо-
лодая гвардия», альманах «Поэзия».



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Поэзия. Н. Матвеева, Ю. Кузнецов, А. Чиков, П. Вегин, Н. Злотников, О. Ермолаева, Евг. Блажеевский и др.

Публикации. М. Кузмин, И. Северянин, О. Высотский («О моем отце — Николае Гумилеве»), А. Галич, А. Балин.

Мастерская. Рок-поэзия. А. Макаревич, К. Кинчев, Б. Гребенщиков, Ю. Лоза, А. Дидуров, В. Цой, Ю. Шевчук — (группы «Машина времени», «Алиса», «Аквариум», «Кино», «Зодчие», «Примус», «Крематорий» и др.).

Зарубежная поэзия. И. Гёте, И. Г. Фосс, П. Валери, Герман Гессе и др.

А также статьи, юмор, пародии, ироническая поэзия, эпиграммы.



молодая
гвардия